



ЧЕТВЕРТЫЕ
ТЫНЯНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК ЛАТВИЙСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА

**ЧЕТВЕРТЫЕ
ТЫНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ**
**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ**



РИГА „ЗИНАТНЕ” 1988

83.3К7
Ч-524

Редколлегия: *В. А. Марков (зам. отв. ред.), Е. А. Тоддес, Ю. Г. Циньян,
М. О. Чудакова (отв. ред.)*

Рецензенты: *д-р филол. наук В. И. Борщук, д-р филол. наук Л. С. Сидяков*

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Академии наук Латвийской ССР от 10 марта 1988 года.

**Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для
Ч-524 обсуждения/ Отв. ред. М.О. Чудакова. — Рига: Зинатне, 1988. — 212 с.**

ISBN 5-7966-0137-7

Предлагаемое издание является естественным продолжением работы, проводимой редколлекцией Тыняновских сборников. В нем помещены тезисы докладов, которые будут прочитаны на Четвертых Тыняновских чтениях, а также не публиковавшиеся ранее архивные документы: воспоминания Г.П. Георгиевского о Н.Ф. Федорове и Л.Н. Толстом, воспоминания В.С. Баевского о профессоре Б.Я. Бухштабе, письма выдающегося историка литературы Ю.Г. Оксмана, исследование М.Б. Вернго о Братском клубе в Риге и другие материалы.

Для специалистов — историков, теоретиков литературы, а также всех интересующихся проблемами современного литературоведения.

4402000000-078
Ч М 811 (11)-88 без объявл.

83.3К7

ЧЕТВЕРТЫЕ ТЫНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:

Тезисы докладов и материалы для обсуждения

Редактор *И. Боже*

Подписано в печать 01.04.88. А 13001. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 13,25 физ. печ. л.; 12,32 усл. печ. л.; 12,55 усл. кр.-отт.; 13,12 уч.-изд. л. Тираж 500 экз. Заказ № 370. Цена 90 к. Заказное. Издательство „Зинатне“, 226530 Рига ГСП, ул. Тургенева, 19. Отпечатано в цехе оперативной полиграфии издательства „Зинатне“, 226050 Рига, ул. Мейстару, 10.

ISBN 5-7966-0137-7

© Академия наук Латвийской ССР,
Институт философии и права, 1988

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Настоящий сборник содержит тезисы большей части докладов, представленных на Четвертые Тыняновские чтения. Как и на трех предыдущих конференциях, ряд докладов посвящен научному и художественному творчеству Ю.Н. Тынянова, в других затрагивается широкий круг вопросов теории и истории литературы, а также некоторые общие проблемы культурологии и науковедения.

„Материалы для обсуждения” относятся преимущественно к истории литературы и культуры XX века. Тем самым находит непосредственное продолжение и активизируется один из основных аспектов работы Чтений, определившийся на прошлых конференциях и отраженный в „Тыняновских сборниках”. При этом редколлегия исходит из остро ощущаемой в гуманитарных науках необходимости поставить интенсивные изучения культуры XX века, которые, как известно, получили новый стимул за последние два года, на объективную и прочную источниковедческую базу. Создание такой базы является сегодня решающим условием прогресса в исследовании социальных процессов и духовной жизни нашего столетия.

При этом, в частности, должно происходить постоянное наращивание корпуса мемуарных и эпистолярных источников. Проблеме мемуарной информации посвящен доклад А.П. Чудакова, а в „Материалах” читатель найдет несколько мемуарных текстов разных типов и разной хронологической приуроченности — от воспоминаний видного археографа первой половины века Г.П. Георгиевского о Л.Н. Толстом и Н.Ф. Федорове до заметок В.С. Баевского об известном литературоведе, ученике Тынянова и Эйхенбаума Б.Я. Бухштабе. В продолжение темы, начатой в первом „Тыняновском сборнике”, печатаются письма Ю.Г. Оксмана. Он и его жена, пройдя через тяжелые испытания 30—40-х годов, оставили нам достоверные и впечатляющие свидетельства своей эпохи — настает время введения этих свидетельств в общественную память, использования в качестве исторического источника. Материалы Т.Л. Никольской о Вагинове, суммируя

результаты многолетних „первичных” разысканий, дают сводку библиографических сведений и таким образом продвигают изучение наследия этого своеобразного поэта и прозаика. Наконец, печатаются материалы поэтессы и художницы М.Б. Вериги. Предоставляя их для публикации, она, начиная свою работу в искусстве в 1910-е годы, подтверждает тем самым живую культурную связь между нашими днями и началом века. Для издания, выходящего в Латвии, эти материалы представляют особый интерес, поскольку часть их посвящена творчеству Карлиса Зале.

Условные сокращения

- ПИЛК — Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- ПСЯ — Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка (Л., 1924, М., 1965).
- ПТЧ — Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984.
- ВТЧ — Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986.

М.Л. Гаспаров

НАУЧНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ТЫНЯНОВА

1. В традиционном научно-популярном упрощении образ Тынянова часто рисуется счастливым случаем совмещения двух талантов, научного и художественного, которые помогали друг другу. Но они не только помогали, а и мешали друг другу; и борьба их во многом определила путь писателя.

2. Склонность к художественным средствам в научной работе проявляется у Тынянова в способе аргументации. Он заботится не о доказательности, а об убедительности: главное его средство — подборки примеров, образующие самое выразительное место статьи, а иногда („Достоевский и Гоголь“) заполняющие ее почти целиком. Невозможно представить у Тынянова, например, исчерпывающей статистики (как у московских формалистов). Что на всякий пример возможен контрпример, как бы забывается.

3. Склонность к научной отвлеченности в работе над художественным материалом проявляется в том, что, по существу, все статьи Тынянова не историко-литературные (история всегда занимала место где-то на пороге науки и искусства), а теоретико-литературные. Цель их — прояснить основные понятия создаваемой теоретико-литературной концепции: конструкция, доминанта, деформация подчиненных элементов (ПСЯ), установка как функция приема в системе вещи, вещи в литературе и литературы в словесности („Ода...“), разъединение идеологического и языкового рядов („Архаисты и Пушкин“), пародическое отталкивание как двигатель литературного процесса („Достоевский и Гоголь“) и т.д. Что исторический материал в этих работах не исчерпывается, как бы подразумевается.

4. Отработанный в статьях исторический материал сохраняет, однако, для Тынянова чисто художественный, эстетический интерес (воспоминания Чуковского о тыняновской скучной лекции и затем интересном разговоре про Кюхельбекера). Поэтому с самого легкого толчка он переходит сперва параллельно, а потом почти исключительно на беллетристическую работу.

5. Первый роман Тынянова — это беллетристика, сосуществующая с наукой; второй — беллетристика, подменяющая науку (экспериментальная деформация материала источников, показанная Г.А. Левинтоном); третий — беллетристика, дополняющая науку (реконструкция психологической подосновы пушкинского творчества — область, где заведомо возможна не доказательность, а лишь убедительность). Но традиционная форма романа всюду остается неизменной, и это не дает удовлетворения Тынянову. Статьи этих лет — второстепенны.

6. После такого расхождения Тынянова-ученого и Тынянова-писателя вновь намечается их схождение: он ищет (согласно своим теоретическим взглядам) периферийную словесную форму для продвижения в „большую литературу” и находит ее в малых рассказах, анекдотах, „смеси” и т.д., которые получают вес, пропитавшись автобиографическим режисским и послережисским материалом с его аналогами (как показано Е.А. Тоддесом), — он как бы сам ощущает себя историей. Но эти замыслы остаются неосуществленными.

В.В. Эйдинова

ИДЕЯ КОНСТРУКТИВНОСТИ В РАБОТАХ ТЫНЯНОВА 20-х ГОДОВ

Теоретические идеи Тынянова должны изучаться с учетом специфики его научного мышления, которому свойственен необычайно тесный сплав теоретического и аналитического подходов к материалу. Чрезвычайно важны в этой связи его собственные представления о литературной теории, которая не может существовать в „чистом виде”. „В теории литературы определения не только не основа, но все время изменяющееся литературным фактом следствие”; и, соответственно, „не потерять основы учения” (например, А. Потебни), не дать их „слишком общо”, можно лишь в случае рассмотрения конкретных исследований автора (ПИЛК, с. 167).

Тыняновское теоретическое сознание органично живет в самих принципах анализа художественного текста¹. Его идеи, рождаясь, тут же, одновременно, проверяются, испытываются

¹ Опора современных исследователей лишь на собственно теоретические работы Тынянова делает их выводы излишне абстрактными и потому не всегда адекватными по отношению к идеям ученого (см.: Марков В.А. Тынянов и современная системология // ВТЧ).

исследователем. Или — наоборот: сам ход работы над текстом открывает накапливающуюся в них теорию. В этой конкретной, аналогической теоретичности сказывается особая конституция Тынянова-ученого, чуждающегося отвлеченного и „монументального стиля во всем”² и видящего в теории способ изучения литературы, а не „схоластический формализм, подменяющий анализ терминологией и каталогизацией явлений...” (ПИЛК, с. 282). „Теоретическое время”³ для Тынянова начинается поэтому с первых его работ („Достоевский и Гоголь”, „Стиховые формы Некрасова”), где складываются его идеи и магистральная среди них — идея конструктивности, отвечающая пересоздающей, творящей природе искусства (его „строевому моменту”)⁴. Концепция конструктивной сущности произведений искусства проходит через все работы Тынянова, совершая своеобразную экспансию в его научном творчестве, — подобно тому как конструктивное начало осуществляет экспансию („империализм” конструктивного принципа”) в произведениях искусства. Так сама сосредоточенность на принципиальной для художественных творений закономерности ведет ученого к созданию теории, максимально приближенной к своему сложному объекту.

Конструктивную природу искусства Тынянов рассматривает, во-первых, в универсальном плане — как сущностную сторону формирования, свойственного художественному (литературному) творчеству. Так возникает понятие конструктивного фактора, означающего организованность, выстроенность словесного материала, его подчиненность „форме плана” (данное понятие соотносимо с понятием „внутренней формы”, разрабатывавшимся классической немецкой эстетикой).

И в обобщающих историко-литературных и теоретических трудах („Архаисты и Пушкин”, „Ода как ораторский жанр”), и в портретных очерках („Блок”, „Валерий Брюсов”, „О Хлебникове”), и в обзорных критических статьях („Литературное сегодня”, „Промежуток”, „Записки о западной литературе”) — Тынянов постоянно обнажает, вскрывает конструктивную обуслов-

² Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 200.

³ Там же.

⁴ См. ряд наших работ, где тыняновская идея конструктивности рассматривается в связи с категорией стиля: Вопросы стиля в критических статьях Ю. Тынянова 20-х годов // Проблемы стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1974; Ю. Тынянов о „литературной личности” // Филологические науки. 1980, № 3; Стиль писателя и литературная критика. Красноярск, 1983.

ленность словесного материала в литературе, его „повернутость” в сторону конструктивного задания, и, отсюда, — функциональность элементов словесной формы, складывающихся в определенную речевую конструкцию (систему).

Во-вторых, Тынянов подходит к явлению художественной конструктивности дифференцированно, намечая разные ее проявления и обозначая каждое из них понятием „конструктивный (структурный) принцип” — жанровый, стилевой, прозаический, поэтический, свойственный определенной эпохе и т.д. В связи с выделением в художественном произведении (в творчестве писателя, в литературе) многих конструктивных принципов, оно предстает как „сложный комплекс специфически-структурных законов”, или принципов. Причем „каждый принцип конструкции устанавливает те или иные конкретные связи внутри тех или иных конструктивных рядов” (ИЛК, с. 261). Так, например, в статье „Тютчев и Гейне” произведения двух поэтов рассматриваются под разными углами зрения: выделяются и законы творчества каждого из них; и обусловленные этими законами („ви-тийственным” строем тютчевского стиха и прозаическим — гейневского) особое речевое строение их лирики; и законы национальных художественных литератур, „строй” которых обуславливает облик „двух разных искусств” — Гейне и Тютчева.

Тынянов исследует и вопрос о соотношении различных конструктивных принципов, организующих произведение, показывая, как на разных этапах движения литературы те или иные из этих „строящих” принципов приобретают наибольшую активность. Он рассматривает взаимодействие прозаического и поэтического законов („Промежуток”); большой и малой жанровых форм („Литературное сегодня”) и т.д. Особо интенсивную роль он отводит стилевым закономерностям, ибо стилевой конструктивный принцип („метод”, „способ” оформления, специфичный для того или другого художника) поворачивает в нужном ему направлении — и жанры (баллады Тихонова и Сельвинского, оды Ломоносова и Державина), и словесные „стихии” — стиховую и нестиховую, и облик литературы времени.

Если понятия „конструктивный фактор” и „материал” выступают в толковании Тынянова как понятия постоянные для искусства, то понятие „конструктивный принцип” оказывается меняющимся, эволюционирующим. Подвижными предстают стилевые принципы, свойственные большим художникам; так, при всей устойчивости и узнаваемости пушкинского — свободного, многопланового — „бездна пространства” — стиля, он получает

разные воплощения, разные варианты в ходе творческой эволюции поэта. Множество превращений („сдвигов”, „сломов”) наблюдает Тынянов в жизни жанра, показывая, например, эволюционную переориентацию принципов оды или романа. Исследует он и обновляющееся — на разных этапах существования литературы — строение поэтического и прозаического ее рядов („Промежуток”, „О литературной эволюции”).

Идея конструктивности поворачивается и целым рядом других, чрезвычайно существенных аспектов рассмотрения художественного произведения, открывающихся более всего в конкретно-аналитических работах ученого. Это и „механизм” перехода конструктивного принципа — в материал; и соотношение строения творчества художника — и его смысла; и контакты стилевых и жанровых принципов — с традицией; и диалог конструкций — литературных и внелитературных; и, наконец, взаимодействие конструктивного и исторически-эволюционного подходов к художественному творчеству.

З.Н. Поляк

НА ПУТИ ОТ ИСТОЧНИКА К ТЕКСТУ (по материалам архива Тынянова)

Анализ копий и выписок из источников с пометами Тынянова, его планов, программ, картотек, черновых набросков позволяет в определенной мере реконструировать последовательность работы писателя и ее методику.

Один из неосуществленных замыслов — рассказ „Пастушок Сифилус” — о русских живописцах первой трети XIX века; среди персонажей — Брюллов, Кипренский, Кукольник (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1, ед. хр. 169, л. 6). Автор наметил направления поисков необходимого материала: живопись, медицина, эпистолярные источники. Творческая программа этого рассказа (там же, л. 15—16) совмещает наброски чернового типа, диалоги персонажей, планы и заметки автокоммуникативного характера, композиционные наброски, конспект будущего произведения, нуждающийся в расшифровке. Сочиненную итальянским врачом Фракасторо (1478—1553) поэму о сифилисе Тынянов хотел использовать как своеобразный „параллельный текст”, включая цитаты из нее в свой рассказ.

План романа „Смерть Вазир-Мухтара” построен иначе. Каждый его пункт представляет собой законченный эпизод, ограниченный

рамками определенного пространства. План наглядно демонстрирует развитие композиции как смену и монтаж эпизодов. Уже на этом этапе писатель не только намечает повороты сюжета и последовательность эпизодов („общий план”), но и ясно видит каждого из своих персонажей („крупный план”) (там же, л. 7—11).

Другой применяемый Тыняновым способ организации материала — составление разнообразных картотек: библиографических, биографических, цитатных (ед. кр. 163, 132). По пометам на карточках видно, что работа над освоением фактического материала включала художественное его осмысление. Это подтверждают и черновые наброски, встречающиеся в бумагах нетворческого характера.

Особый интерес представляет „Картотека важнейших дат жизни и творчества Кюхельбекера”, в частности конверт IV под заглавием „14 декабря”. Нами установлено, что записи на карточках — это выписки из брошюры Н.А. Гастфрейнда „Кюхельбекер и Пущин в день 14 декабря 1825 года. По письменным показаниям В.К. Кюхельбекера, данным следственной комиссии Верховного уголовного суда” (СПб., 1901), ценной для Ю. Тынянова включением т.н. „внутренних” источников. Анализ использования этого материала в романе „Кюхля” позволяет сделать выводы о специфических чертах творческой работы писателя на пути от документа к роману.

С.Т. Золян

„ЕДИНСТВО И ТЕСНОТА СТИХОВОГО РЯДА” (ЕТС) И ПОЭТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС

Известное положение Тынянова о ЕТС получило интенсивное развитие в лексической семантике. Его приложения к синтаксису куда малочисленнее и сосредоточены вокруг обсуждавшейся в ПСЯ проблемы переносов. Но принцип ЕТС объясняет и значительно более фундаментальное для поэтического синтаксиса явление двойного синтаксического структурирования и множественности синтаксических значений.

На возможность множественного структурирования стиха обратил внимание А. Холодович (1930), но счел это фактом, опровергающим принцип ЕТС. Но так может быть опровергнут не тыняновский, а абсолютизированный принцип ЕТС — тынянов-

ский предполагает не полную автономию стихового ряда от языкового, а взаимодействие этих двух рядов. Поэтому указанная множественность может быть объяснена тем, что вследствие ЕТС а) компоненты различных синтаксических структур в составе стиха могут образовывать одну новую структуру; б) занимающий отдельный стих компонент предложения может выступать и как предикативная (предложенческая) структура. В обоих случаях возникает „колебание” синтаксических значений.

В поэзии XX в. возможность такого „колебания” и „сдвига” синтаксических значений осознается не только теоретиками, но в первую очередь поэтами: ср. прочтение Маяковским пушкинского стиха как: „Довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться”; аналогично прочитывает стих Туманяна Чаренц. Двойное синтаксическое структурирование возникает благодаря осознаваемому как прием взаимодействию двух механизмов: собственно синтаксического и метрико-синтаксического. Этим взаимодействием объясняются некоторые особенности синтаксиса русской поэзии XX в.

Для Маяковского характерна тенденция к автономизации слова, освобождению его от внутрипредложенческих связей, переосмысляемых как внутритекстовые. Такая синтаксическая организация соответствует системе акцентного стиха, где минимальной единицей является фонетическое слово. Для Пастернака более характерен синтаксический сдвиг: слово, сохраняя ослабленные связи со словами из смежного стиха, образует также сочетание с „соседом” по стиху. Ср.:

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

В лингвистическом отношении особо интересен синтаксис Блока, где нет зримых отклонений, а используются приводящие к двойной предикативизации внутриязыковые ресурсы. Благодаря морфологической омонимичности различных синтаксических структур один и тот же стих прочитывается и как предикативная единица (предложение), и как компонент распределенного по нескольким стихам предложения:

А в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете,

где взаимодействуют четыре предложенческие структуры.

Дополнительное, метрико-синтаксическое структурирование стиха возможно тогда, когда морфологические характеристики

единиц стиха не препятствуют их включению в ту или иную синтаксическую структуру. Но необходимым предварительным условием должно быть наличие смысловой связи между этими единицами (ср. неверное прочтение „комкая корку рукой мандарина” при возможном „комкая корку мандарина рукой”). А это вновь возвращает нас к принципу ЕТС.

В.А. Марков

К АНАЛИЗУ АРХЕТИПОВ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Литературно-художественное сознание имеет свои архетипы, т.е. глубинные социокультурные корни, которые обнаруживаются в синкретических пластах мифомышления. Поэтика мифа — прообраз поэтики литературной. Артур Рембо говорил, что „с помощью метафоры можно изменить мир”. Это в равной мере, но с учетом *differentia specifica* относится и к мифологическому, и к литературно-художественному мышлению. Мифомышление конструирует особую символическую реальность, где каждая вещь может выступать *знаком* другой, где универсум задается всеобщей одушевленностью предметов и явлений. Поэтика литературная сохраняет этот принцип, который теперь выполняет *синтаксические функции* в структуре вторичных моделирующих систем. Таковы истоки конструктивного фактора (и его трансформ-манифестаций), получившего теоретическую разработку в рамках „формального” литературоведения. „Каждое художественное произведение ставит в иерархический ряд равные предметы, а разные предметы заключает в равный ряд; каждая конструкция перегруппировывает мир. Особенно это ясно на стихе” (ПИЛК, с. 187). Мифологистика знает свои метафоры, метонимии и другие тропы, аналогичные (если обернуть ситуацию) тропам литературным. В более широком смысле говорят о метафорической логике мифа. Согласно концепции К. Леви-Строса, мифология вырождаются, когда структура оппозиций (внутренняя логическая „напряженность” мифа) уступает место структуре редуPLICATION. Это режим самоповторения, итерации: возникает „серийный” миф — переход к „романическому” жанру. Аналогичные явления характерны для литературного процесса: автоматизация художественных систем, „износ” формы (стилевых особенностей). Как реакция на такие энтропийные явления (социальные детерминативы здесь не рассматриваются) „диалектически обри-

совыдается противоположный конструктивный принцип” (ПНЦК, с. 261). Возникает новая оппозиция, которая ведет к смене литературно-художественных парадигм. К. Леви-Строс разрабатывает глобальную концепцию, где все социокультурные реалии образуют полиморфный и в то же время структурно гомогенный метаязык, охватывающий миф, искусство, религию и т.п.¹ В современной литературе (XX век) заметны тенденции возврата к мифу, древним пластам культуры. Это соответствует возрастающему интересу исследователей к первобытным, архаическим структурам, которые исторически оказались на „периферии” развитых цивилизаций. Периферийные, маргинальные явления могут перемещаться в центр, обогащая исторический процесс и художественные ресурсы общества. Как известно, вопрос о динамике литературных явлений в интервале „центр—периферия” на основе эволюционных идей специально рассматривался Тыняновым. В работах В. Тэрнера дана картина лиминальных переходов на материале архаичных (а отчасти и современных) обществ. Речь идет о процессах реструктуризации систем, связанных с отказом от традиционных ценностей, нивелировкой статусов и т.п.² Такой подход может дать новые системы отсчета для более глубокого понимания сущности литературных революций („спуск в основания”, неопределенность ситуации, избыточность притязаний) и историко-литературного процесса в целом. Смена парадигм (стилей, направлений) не является линейным процессом. Развитие здесь, как и всюду, отвечает модели эволюционного древа, архетипы которой мы находим в мифологии. В процессе исторического отбора „выживают” те направления и школы, которые модифицируют, в соответствии с ритмами данной эпохи, „конструктивный фактор” („литература есть речевая конструкция, ощущаемая именно как конструкция”, говорил Тынянов), предлагая свои „конструктивные принципы”. Ситуация напоминает здесь, как и в мифологии К. Леви-Строса, установки трансформационной (поддерживающей) грамматики Н. Хомского. Литературное древо содержит в себе многообразные оппозиции (семиотические, стилистические), антимиры (инверсии), метафорические (в широком их понимании) когеренции, заложенные в структуре и поэтике языка, в структуре художественного мышления.

¹ См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

² См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.

ТЕКСТ И РЕАЛЬНОСТЬ: НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В КУЛЬТУРЕ

Текст есть осмысленное высказывание о прошлом, настоящем или будущем. Время, таким образом, — универсальное понятие и для реальности, и для текста. Важнейшее свойство физического времени — анизотропность (необратимое движение в направлении увеличения энтропии — 2-е начало термодинамики). Текст есть сигнал, передающий информацию и тем самым уменьшающий количество энтропии в мире. Следовательно, время текста направлено по отношению к энтропийному времени физической реальности в противоположную сторону. Текст — „реальность” в обратном временном движении. Если в реальности нельзя изменить прошлое и достоверно знать будущее, то в тексте прошлое возвращается простым перечтением, а будущее — „заглядыванием” вперед. Текст интенционален, сопричастен сознанию. Он сделан кем-то и для кого-то. Поэтому он телеологичен, в противоположность реальности, которая детерминистична. Телеологизм — функция информации; детерминизм — функция энтропии. Таким образом, начало и конец в тексте и реальности меняются местами. „Физиологическая” смерть текста — конец его написания — есть его семиотическое рождение. В „доэнтропийной” христианской культуре меняются местами сами „текст” и „реальность”. Время реальности здесь информативно и телеологично: история — драма с предопределенным концом (Августин). Время текста — „энтропийно” — тексту не уготована „жизнь бесконечная”. Особое дело — текст сакральный, который не миметирует реальности, а отождествляется с ней по законам мифологического мышления (в мифе нет разграничения текста и реальности и соответственно временной необратимости: все повторяется как цикл).

Энтропийная модель в культуре недолговечна и неуниверсальна. Культуре не свойственно думать, что ее Текст не будет никогда прочитан. В соответствии с этим с начала XX в. начинается пересмотр 2-го начала термодинамики, стремление либо повернуть „стрелу времени” на 180° (резсхатологизация: Н. Бердяев, М. Хайдеггер, П. Тейяр де Шарден), либо согнуть ее в круг (ре-мифологизация: О. Шпенглер, А. Циглер, А. Дж. Тойнби). Возникают и еще более радикальные попытки: либо „убрать” время вообще как чистую иллюзию (Ф. Брэдли, Дж. МакТаггарт), либо,

Работа автора на тему данных тезисов опубл.: Wiener slawistischer Almanach. Bd. 17.1986. С. 195—217.

наоборот, построить многомерную модель времени (Ч. Хинтон, Дж.У. Данн). Так, Данн говорит о серийном универсуме, где время наблюдателя является пространственноподобным (по нему можно двигаться туда и обратно) и перпендикулярно направленным по отношению к тому времени, которое он наблюдает, причем каждый наблюдатель является и наблюдаемым, и наоборот. Такая модель довольно адекватно коррелирует со сложной картиной соотношения текста и реальности как зеркала в зеркале (Х.Л. Борхес и его творчество, в первую очередь).

В естественнонаучной картине мира время представляется движущимся в энтропийном направлении потому, что отрицательно заряженных частиц в целом больше, чем положительно заряженных. В микромире частица представляется движущейся по времени туда и обратно (Г. Рейхенбах). Не есть ли наше мышление, опирающееся на память, нечто аналогичное загадочному высвобождению элементарных частиц? Мы не можем возвратиться в прошлое, т.к. не можем всего „упомнить”. Тот, кто помнит все, — реально движется по времени, как это делал человек с большой памятью Шерешевский. Ибо, как писал Б.Л. Уорф, и прошлое, и настоящее, и будущее содержатся в нашем сознании одновременно.

А.Л. Осповат

ЖУКОВСКИЙ В БИОГРАФИИ ТЮТЧЕВА

1. 28 октября 1817 г., когда Тютчев впервые увидел Жуковского в доме своих родителей, последний записал в дневник: „Счастье не цель жизни. <...> Несчастье делает другого нам любезнее, почтеннее — он в наших глазах возвышается. <...> Мы знаем здесь одно потерянное счастье” (Дневники В.А. Жуковского. СПб., 1903, с. 56). Разумеется, лишь с крайней осторожностью можно предполагать, что тема, ассоциировавшаяся у Жуковского прежде всего с личной драмой (история Маши Протасовой), затрагивалась в беседе у Тютчевых; однако весьма примечательно, что, возобновляя — спустя два десятилетия — отношения с Жуковским¹, Тютчев апеллирует именно к этой стороне его душевного

¹ В юношеском возрасте Тютчев виделся с Жуковским еще один раз (см. стих. „17 апреля 1818”). Мимолетные свидания их могли произойти и до отъезда Тютчева в Германию (июль 1822 г.), и в последующий период (напр., летом 1827 г. в Париже, летом 1830 г. в Петербурге, когда Тютчев проводит здесь отпуск). Летом 1837 г. в Петербурге (во время очередного отпуска Тютчева) они не могли встретиться, так как Жуковский путешествовал по России с наследником. (См. в этой связи письмо Тютчева родителям из Турина от 1 (13) ноября 1837 г.)

опыта. 6 (18) октября 1838 г., вскоре после смерти первой жены, Тютчев писал Жуковскому: „Не зы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного и кроме счастья. В этом слове есть целая религия, целое откровение... Но ужасно, несказанно ужасно для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастья”. Приведенная формула варьировалась и в поэзии Жуковского сер. 1810-х гг. („Теон и Эсхин”, „Старцу Эверсу”: „Не унывать, хотя и счастья нет...”), и постоянно — в переписке (см., напр., в письме к А.П. Елагиной от 30 июля 1814 г.: „Много, много хорошего в жизни есть и без счастья” и, в особенности, в письме А.И. Тургеневу от 4 августа 1815 г.: „На свете много прекрасного и без счастья”). Учитывая наличие довольно тесных (и специфически окрашенных) контактов Тургенева и Тютчева в сер. 1830-х гг. (последний охарактеризован в тургеневском дневнике 1834 г. как „по ней <Эр.Ф. Дёрнберг, в будущем второй жене Тютчева> l'air fièvre” — РО ИРЛИ, ф. 309, № 311, л. 95), мы полагаем, что формула Жуковского вошла или закрепилась в сознании Тютчева благодаря этому посреднику².

2. Встретившись с Тютчевым в Италии, Жуковский записал в дневник: „Он горюет о жене <...> а говорят, что он влюблен в Минхене” (Дневники В.А. Жуковского, с. 430; 14 (26) октября 1838 г.). Вряд ли справедливо мнение о том, что Жуковский „не мог своей „голубиной” душой постичь” противоречивую натуру Тютчева; днем ранее он заметил по поводу Тютчева — „горе и воображение” (там же, с. 428). Обе эти записи (тождественные, на наш взгляд) наиболее адекватно описывают важнейшее свойство Тютчева, *воображение* которого (в данном случае чувство к Эр.Ф. Дёрнберг) всего сильнее развивалось именно на фоне переживаемого горя. В полном соответствии с установкой, сформулированной в день знакомства с Тютчевым, Жуковский „теперь полюбил” его. „Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова, — писал Жуковский Н.Н. Шереметевой из Италии. — Он человек необыкновенно гениальный и весьма добродушный, мне по сердцу”.

3. Обоюдное расположение Тютчева и Жуковского сохранилось до конца жизни последнего. Что же касается отношения Тютчева к памяти своего старшего собрата, то следует иметь в виду его знакомство с цитированным письмом Жуковского Н.Н. Шереметевой, опубликованным в 1858 г. (Библиографические записки, т. 1, № 22, стлб. 678).

²Ср. в письме Тургенева А.Я. Булгакову от 1 (13) октября 1840 г.: „Он <Жуковский> говаривал: «в жизни много прекрасного и без счастья», теперь узнает его лицом к лицу” (Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 238).

К ИСТОРИИ АРХИВА В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Имена Тынянова и Кюхельбекера оказались тесно связанными друг с другом в истории отечественной литературы, так же как и их архивы: часть рукописного наследия Кюхельбекера долгое время находилась в личном архиве Тынянова и разделила его судьбу в блокадном Ленинграде. Поиски рукописей Кюхельбекера, находившихся в архиве Тынянова, пока не дали обнадеживающих результатов.

Для реконструкции документального наследия Кюхельбекера оставался еще иной путь — учет многочисленных цитат, приведенных в опубликованных работах Тынянова (такой учет осуществлен в издании: *Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи*, Л., 1979), а также поиски сделанных им выписок из рукописей Кюхельбекера. Первые результаты этих поисков опубликованы одним из авторов настоящего сообщения в сб.: *Пушкин и русская литература*, Рига, 1986, с. 88—97.

Большая часть копий текстов Кюхельбекера, еще не введенная в научный оборот, находится в архиве Тынянова в ЦГАЛИ. Это 1) собственно копии документов архива Кюхельбекера и выписки из них (с соответствующим, как правило, кратким указанием на источник); 2) изложения самим Тыняновым основного содержания того или иного документа или отрывка из него; 3) записи „смешанного” типа, в которых сочетаются выписка из текста Кюхельбекера и изложение исследователя.

Подготавливаемые нами к печати копии дневниковых и эпистолярных текстов содержат немаловажную биографическую и историко-литературную информацию. Около 120 дневниковых записей (21 июля 1834 г. — 11 октября 1845 г.) дают либо неизвестный до сих пор текст, либо дополнения к печатному тексту. Особый интерес представляют некоторые письма 30—40-х годов с оценками творчества Пушкина и Лермонтова.

Б.Н. Равдин

К ПРОБЛЕМЕ „ГОРЬКИЙ И НИЦШЕ”

Связь имен Ф. Ницше и М. Горького была обоснована в 1898 г. Н.К. Михайловским в рецензии на первое издание „Очерков и рассказов”. Подчеркнув общность некоторых мотивов, характер-

ных для творчества как „базельского отшельника“, так и „нижегородского мещанина“, Михайловский не настаивал на знакомстве Горького с идеями Ницше, отнеся совпадение к „духу времени“. Сомнение критики было впоследствии отклонено самим Горьким: „Я познакомился с нею <философией Ницше> в 93 году от студентов ярославского лицей <...> Но еще раньше, зимою 89—90 года, мой друг Н.З. Васильев переводил на русский язык лучшую книгу Ницше „Так сказал Заратустра“ и рассказывал мне о Ницше...” (М. Горький. Собр. соч. М., 1953. Т. 25. С. 320; далее все неоговоренные цитаты по ук. тому). Студенты, вероятно, познакомили Горького с циклом статей, посвященных Ницше в „Вопросах философии и психологии” (1892—1893); продолжалось общение (в том числе и переписка, не вошедшая в 30-томник) с Н.З. Васильевым (ум. 1901), которого Горький называл своим учителем, — „человек, который ничего не внушал мне и только рассказывал и не стремился сделать меня похожим на него” (ср. позицию Ницше в системе „учитель—ученик”). Чем объяснить попытку Горького опубликовать в 1900 г. перевод Васильева: отношением к своему учителю? возражением на уже существующие переводы Ю.М. Антоновского и С.Н. Пани? намерением популяризировать идеи Ницше в России? Экземпляр рукописи Васильева хранился в нижегородской библиотеке Горького, позднее в ней отложились многие работы немецкого философа, литература о нем; пометы Горького ждут публикации и прочтения. Заслуживают внимания обстоятельства, вызвавшие в 1906 г. письмо Е. Ферстер-Ницше Горькому с предложением ознакомиться с архивом брата (Летопись жизни и творчества А.М. Горького. М., 1958. Т. 1. С. 588).

Неправомерно переносить отношение Горького конца 20—30-х гг. к автору „Заратустры”, отчасти вызванное использованием его имени в идеологии германского национал-социализма, на, скажем, первое десятилетие литературной работы писателя. Высказывания Горького разных лет по этому поводу находятся в достаточно сложном соотношении. 1931: „<...> Я был человеком „толпы”, и „герои” Лаврова — Михайловского и Карлейля не увлекали меня, так же как не увлекала меня и „мораль господ”, которую весьма красиво проповедовал Ницше”. 1898 (в письме А. Вольницкому): „<...> И Ницше, поскольку я его знаю, нравятся мне. А это — потому, что демократ по рождению и чувству, я очень хорошо вижу, как демократизм губит жизнь, и понимаю, что его победа будет победой не Христа, как думают иные, а брюха” (цит. по: *Ниню А. В борьбе за Горького*// Звезда. 1958.

№ 3. С. 191). 1931: „Проходимец” Промтов, философствующий шулер Сатин все еще живы, но одеты иначе и сотрудничают в эмигрантской прессе, проповедуя „мораль господ” и всячески оправдывая их бытие”. 1903 (интервью Горького): „В противовес ему <Луке> предполагалось дать тип положительный — Сатина, истинного героя пьесы, alter ego Горького” (С.-Петербургские ведомости, 1903, 14 апр.).

Упомянув Маякина, Промтова, Сатина, Горький не отрицал, что „снабдил их”, как и некоторых других ранних персонажей, „кое-чем от философии Ницше” („Но и не утверждаю, что ... действовал сознательно ...”). Следует выявить в сопоставлении с источником, в чем проявлялось „ницшеанство” этих героев, что объединяет их, продолжить ряд (учитывая, что „босяки” для Горького — модель „голого человека”). Современная Горькому критика рубежа столетий называла в этом ряду персонажей: „Макара Чудры”, „Емельяна Пиляя”, „Чижа”, „Старухи Изергиль”, „Ошибки”, „Челкаша”, „Песни о Соколе”, „Тоски”, „Коновалова”, „Вареньки Олесовой”, „Супругов Орловых”, „Мальвы”, „Артема и Каина”.

Если признать, что некоторые социальные идеи Ницше отразились так или иначе в героях Горького (вплоть до Климата Самгина), то: возможно ли учесть, в какой мере они являются носителями авторского сознания, как трансформировались, переосмысливались, сопоставлялись в системе мировоззрения Горького „максимы” создателя „Несвоевременных размышлений” (ср. заглавие Горького: „Несвоевременное”, 1914; „Несвоевременные мысли”, 1917—1918)? Выявление мотивов, тем, реминисценций — начальный этап разрешения этой проблемы, которая в современном отечественном горьковедении (в отличие от работ по символизму, Л. Андрееву) отставлена по определению (см., например, комментарии к первым томам ПСС; ср., впрочем: *Келдыш В.А. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 41: „Тема „Ницше в России” еще ждет своего исследователя”).*

Следует ли считать значимыми в системе отношения Горького к наследию Ницше свойственную ранним текстам писателя стилистику (афористичность, притчевость), бытовое поведение (в том числе и одежду; этап перехода к „цивильному наряду” и отмеченное современниками и фотографиями перманентное возвращение Горького к „наряду босяка” в рамках домашних карнавалов и фотографических съемок)? Сыграло ли роль в распространности мнения о близости Горького к Ницше определенное портретное сходство между ними, особенно бросающееся

в глаза в 20-е гг.? Мог ли этот факт отразиться на отношении самого Горького к Ницше?

Ближайшее направление исследования: вопросы о гуманизме, жизнестроительстве („Сверхчеловек” Ницше и „Человек” Горького), свободе, рефлексии, инстинкте, культуре, об аристократизме Ницше и демократизме („аристократизме” для всех) Горького. Отношение Горького к важнейшей для рубежа веков дилемме „Толстой или Ницше?” (в этой связи показательна близкочуждость Луки и Сатина); к поискам совместимости Ницше и Маркса (см., например, у А.В. Луначарского: „Когда я был молод, я стал наиболее положительные стороны ницшеанской философии связывать с марксизмом...”) (Собр. соч. М., 1964. Т. 2. С. 568).

Влч.Вс. Иванов

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА ГУМИЛЕВА В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 10-х ГОДОВ

1. Рубежом в „преодолении символизма” (по формулировке известной статьи В.М. Жирмунского, одобренной и Гумилевым) был 1913 г. К этому времени относится и статья-манифест акмеизма Гумилева, и доклад молодого Пастернака „Символизм и бессмертие”, где сформулировано кредо, развивавшееся потом автором на протяжении почти всей его творческой деятельности (с некогорыми перерывами, вызывавшимися увлечением отчасти другими задачами). Сходство текстов Пастернака и Гумилева (безусловно, совершенно друг от друга независимых) разительно.

2. Пересмотр символистских концепций в начале 10-х годов осуществлялся прежде всего в связи с новым пониманием философии (и психологии) искусства. При различии между отдельными положениями оба текста ставят проблему пересмотра соотношения субъекта и объекта, у Пастернака скорее всего (как и полагал Л. Флейшман) под воздействием феноменологического (гуссерлианского) понимания „чистой объективности” предметов и „чистой субъективности”, направленной на них. Идущее от Рильке и поддержанное кубизмом выдвижение на первый план вещи могло у Пастернака совместиться с феноменологическим взглядом. В то же время этой вещностью кубистическая феноменология Пастернака и молодого Романа Якобсона перекликалась с акмеистической установкой на предмет, особенно у Мандель-

штама (недаром, в свою очередь, столь сходны архитектурные стихи Мандельштама и Рильке, где предмет изображения — здание). С Гуссерлем согласуется и основополагающее для эстетики Пастернака разграничение личности поэта (символистами трактованной в мистериальном аспекте, но акмеистами десакрализованной) и „родовой субъективности“ (в смысле „интересубъективности“ у позднего Гуссерля). По отчасти сходным причинам Тыняновым позднее введено понятие „лирического героя“.

3. Особого внимания заслуживают многочисленные совпадения гумилевской „анатомии стиха“ и методов разбора у членов ОПОЯЗа. Термин „прием“ у Гумилева начинает использоваться еще до „присвоения“ его ОПОЯЗом (позднее он остается в словаре Ахматовой и ее круга). Перенятое от Белого понимание пиррихий и их сочетаний в это время объединяет практически все поэтические постсимволистские школы. При ретроспективном взгляде на них особые различия менее заметны, чем необычайно близкое сходство как самих приемов литературы (что видно и из их оценок в „Письмах о русской поэзии“ Гумилева), так и мета-литературных способов их описания в поэтике.

4. Из индивидуальных черт поэтики Гумилева для сопоставления с последующими структурными теориями особенно важна идея четырех каст в их соотношении с литературными жанрами. Сходство с последующими работами Дюмезиля о трех функциях и их использовании для анализа индоевропейской эпопеи удивительно, хотя в нумерологических выкладках есть и различия. Историкам гуманитарного знания предстоит еще выяснить, воспринял ли Гумилев в годы своего обучения в Париже идеи учителей Дюмезиля, позднее развитые этим последним, или же речь идет о параллельном считывании одного и того же явления попперовской „третьей вселенной“, т.е. о независимом открытии, подтверждающем необычайность интеллектуальных возможностей Гумилева.

Г.А. Левинтон

МАНДЕЛЬШТАМ И ТЫНЯНОВ

1. Проблема теоретического влияния Тынянова (и ОПОЯЗа в целом) на Мандельштама подробно рассмотрена Е.А. Тоддесом (ВТЧ). Опубликованные Э.Г. Герштейн материалы — воронежские письма С.Б. Рудакова (ученика ГИИИ и сотрудника Тынянова по изданию Кюхельбекера) вносят в эту проблему новые от-

тенки. В частности, приводимые в них „антиформалистические” замечания Мандельштама (вплоть до замысла доклада о формалистах в апреле 1935 г.), в той мере, в какой они не обусловлены только лично-poleмическими целями и простым раздражением на собеседника, заставляют предполагать, что влияние ОПОЯЗа носило характер более глубокий (и „глубинный”), нежели простое усвоение идей и терминов.

2. Несомненно, что Тынянов (и Кюхельбекер) были частыми темами бесед в Воронеже. При этом важную роль играла и беллетристика Тынянова: ср. записи о чтении „Пушкина” в „Лит. современнике” (первоначально негативная, затем более положительная реакция Мандельштама, ср. там же: „М.<...> любит его малые вещи — Кижэ и Витушишеникова”). Замысел доклада отражен в письме от 17 апреля, записи о чтении романа — в письмах от 10—15 апреля 1935 г. Этот контекст даст дополнительную мотивировку (кроме статьи „Промежуток”) для выбора Тынянова в качестве адресата принципиально важного письма Мандельштама, а также — важен для понимания собственно литературного отношения поэта к прозаику.

3. Письмо к Тынянову начинается словами: „Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень”, — которые перекликаются с мотивом тени в воронежских стихах: „Слышу, слышу ранний лед” и особенно „Еще не умер ты, еще ты не один” с тем же повтором слова „тень”: „Несчастлив тот, кого, как тень его, / Пугает лай и ветер косит, / И беден тот, кто сам полуживой / У тени милостыню просит”. Прямой смысл фразы из письма отчетливо перекликается с начальным стихом этого стихотворения (и с более ранним: „Держу пари, что я еще не умер”). В описанном контексте правомочно возводить эти слова к письму Кюхельбекера, процитированному в „Кюхле”: „... уведомишь тебя, что я еще не умер...”. В том же стихотворении появляются слова „спокоен и утешен”, — сказанные до того Дмитрием Карамазовым в тюрьме (наблюдение Ю.Л. Фрейдина). Но к словам Мити восходит и пересказ другого письма героя в „Кюхле”: „писал, что здоров и спокоен”.

4. Общую вероятность использования „Кюхли” подтверждает более ранняя и более откровенная цитата — в сохранившемся наброске киносценария Мандельштама (текст не опубликован, сообщен нам С.В. Василенко). Здесь прямо по роману пересказан весь эпизод с царем и медвежонком (без участия Пушкина). Видимо, показателен и жанр киносценария (ср. кинематографические интересы Тынянова и связь сценарных замыслов Мандельштама с Шкловским).

5. Наконец, данные писем Рудакова указывают, видимо, и на биографическую мотивировку интереса к „Кюхле”. Им записаны слова Маздепшгама: „Что я? — Катенин, Кюхля... Я не Хлебников... Я Кюхельбекер — комическая сейчас, а может быть, и всегда фигура. Оценку выковали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех и у других”. Отметим, что соседство имен Катенина и Кюхельбекера указывает на хорошее знание работ Гынянова 20-х гг.

6. Эти заметки должны показать и правомочность темы тыляновских подтекстов в русской поэзии (ср. любопытное совпадение — мотив стучащих зубов цари в стихах Цветаевой и в „Кюхле”).

В.Н. Сажин

„ЧИНАРИ” — ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 1920—1930-х ГОДОВ
(источники для изучения)

Персональный состав „Чинарей” почти идентичен известному „Обэриу”. Видимо, вследствие этой причины в историко-литературном описании творческих объединений 20—30-х годов „Чинари” отсутствуют. На самом деле „Обэриу” для „Чинарей” было одним из кратковременных промежуточных этапов существования, более широкого и хронологически, и со стороны литературно-философской проблематики.

Ныне представляется возможным достаточно глубоко, а главное, изнутри самого объединения документировать его историю и практику по материалам рукописного собрания „последнего чинаря” — Якова Семеновича Друскина (1902—1980); передано в 1976—1981 гг. в Гос. Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, частично хранится у Л.С. Друскиной. Собрание составляют творческие рукописи, дневниковые записи и переписка постоянных членов объединения — самого Я.С. Друскина, А.И. Введенского, Д.И. Хармса, Л.С. Липанского и — в очень незначительном объеме — И.М. Олейникова. Перипетии возникновения „Чинарей” и аналитический обзор их существования содержится в воспоминаниях Друскина. Из них следует, что термин „чинарь” придуман А.И. Введенским (от слова „чин” — не в иерархическом, а в духовном смысле) и введен им в 1925 г. К этому времени устойчивые дружеские связи объединили Вве-

денского, Липавского и Друскина (в 1917—1919 гг. соучеников гимназии им. Л.Д. Лентовской). В 1925 г. к ним присоединились Хармс и Олейников.

На этапе существования „Обэриу” среди „Чинарей” — Н.А. Заболоцкий, К.К. Вагинов, И.Г. Герентьев и др.

Собрание Друскина выявляет „роли” каждого из пятерых „чинарей”. Это следует понимать условно, т.к. практически разделение не было строго формальным и друг друга ограничивающим. Тем не менее, Липавский был теоретиком объединения (исследование „Теория слов”), Друскин — философом („Это и то”, „Разговоры вестников”). Философское рассмотрение проблем жизнеустройства и творчества находит отражение в рукописном наследии Хармса („Поднятие числа”, переписка с Друскиным), Липавского („Время”, „Исследование ужаса”). В последние годы жизни Друскин занимался исследованием творчества Введенского („Звезда бессмыслицы” и многочисленные комментарии к произведениям Введенского).

Как сказано выше, собрание Друскина включает рукописи литературных произведений Хармса и Введенского (стихотворных, прозаических, драматических), а также словарь языка Введенского (ок. 18 000 карт.), составленный Т.А. Липавской.

Собрание Я.С. Друскина побуждает к многостороннему комплексному исследованию литературно-философских позиций „Чинарей” как целостного явления культурной жизни 1920—1930-х гг.

М.Б. Ямпольский

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ „ПОДПОРУЧИКА КИЖЕ”

В феврале 1987 г. режиссер Б.А. Альтшулер передал в создающийся в Москве музей кино ряд сценариев, среди которых был и считавшийся утерянным первый вариант сценария „Подпоручик Кижэ” (1927). Тыняновым были написаны две первые части (до возвращения Кижэ из Сибири) и (как явствует из приложенной к сценарию записки С.И. Юткевича от 1 февраля 1927 г.) пока не обнаруженное полное либретто замысла.

Текст 1927 г. во многом совпадает с хранящимся в архиве В.А. Каверина более поздним вариантом, написанным в начале 30-х гг. для режиссера А. Файнциммера, однако в нем имеется ряд существенных отличий, как от рассказа, так и от более позднего сценария. Найденный текст обнаруживает очевидную генетичес-

кую связь с предыдущей работой Тынянова — экранизацией „Шинели” (1926) и, соответственно, с повестью Гоголя. Киже представлен в виде „пустой” шинели, которую избивают перед строем, а затем волокут в Сибирь. Конвойных в сибирской крепости обвиняют в убийстве Киже и краже шинели (ср. с первоначальным названием гоголевской повести — „Повесть о чиновнике, крадущем шинели”). Можно предположить, что связывание сюжета „Шинели” с мотивом персонифицирующегося „заумного” слова восходит к работе Эйхенбаума „Как сделана „Шинель”, содержащей целый ряд положений, созвучных ПСЯ. Эйхенбаум, в частности, привлекает в этом контексте внимание к следующему черновому варианту Гоголя, объясняющему происхождение имени Акакия Акакиевича: „Конечно, можно было, некоторым образом, избежать частого сближения буквы к, но обстоятельством были такого рода, что никак нельзя было это сделать” („О прозе”, Л., 1969, с. 313). В сценарии возникновение имени Киже задается как изложение этих „обстоятельств” — писарь замирает на букве „К” (кадр 85). Неудавшаяся попытка Башмачкина крикнуть „караул” отыгрывается в сценарии в сцене, где Павел повторяет жест грабителей, зажимая рот фрейлине, выкрикивающей то же слово, и т.д.

Последующая работа над „Киже” будет вестись по линии сокрытия генетической близости с „Шинелью” и включения в текст менее очевидных цитат из Гофмана и другой повести Гоголя — „Нос”. Сам Киже превращается в „пустое пространство”, позволяющее заполнить физически пробел напластованием разнородных подтекстов. В итоге установка на прямую образную цитатность заменяется конструированием зияния, способного вобрать в себя более сложный смысл. Лакуна Киже выступает как метафора интертекстуальной „воронки”, а отрицание прямой цитаты осмысливается как путь к более объемной, но менее зримой интертекстуальности, способной реализоваться лишь вне узкогенетических связей.

А.П. Чудаков

МЕМУАРНЫЕ ТЕКСТЫ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИСАТЕЛЯХ-КЛАССИКАХ КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. Мемуары и документальные источники (переписка, дневник). Разноуровневость мемуарной информации. Ее роль в воссоздании целостного духовного и физического облика того, о ком идет речь.

2. Существует ли „чистый” эмпирический факт? Угол зрения мемуариста. Материал мемуаров как источник для реконструкции исторических и биографических фактов.

3. Легендарные сведения (школьный, светский, редакционный фольклор) как биографический источник.

4. Мемуары и литература. Связь мемуаров с конкретными художественными формами эпохи.

5. Критика текста мемуаров как проблема исторической поэтики. Мемуары А.Я. Панаевой. Их „беллетристическая форма” (А.Н. Пыпин), „нечто вроде исторического романа” (А.М. Скабичевский). Отшелушивание элементов литературного жанра, на который ориентировался мемуарист. Воспоминания А. Седого (Ал.П. Чехова) о Чехове и жанр сценки в литературе 1870—1880-х годов. Давление жанра в мемуарных „сценах” А. Седого.

6. Моральная оценка как историческая категория. Проблема интеллектуального и духовного уровня мемуариста. Кружковость и партийность мемуаров.

7. Фактологические, исторические и литературные особенности мемуаров „с другого берега” (И. Бунин, Г. Иванов, Н. Берберова, Ю. Анненков, А. Ремизов, И. Одоевцева. Воспоминания В. Ходасевича о Горьком).

8. Мемуаристика наших дней. „Право” на мемуар. Нужно ли обнародование творческой лаборатории (писание „в клеенчатой общей тетради”, „блокноте за 14 коп.”) И. Ганабина, И. Завалия, А. Фатьянова?

9. „Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий” (И.С. Тургенев). „У нас есть дрянная привычка показывать ... только казовые концы жизни... Рассказать с большею или меньшею подробностью происшествия жизни известного лица, конечно, очень легко и возможно, но ведь для добросовестного биографа этого недостаточно. Он захочет увидеть своего героя лицом действующим, окруженным известною средою, а тут именно и предстоит ему со всех сторон различные непреодолимые преткновения. „Вот это неловко, вот это несвоевременно, а вот этого и совсем нельзя”, — будет слышать он на каждом шагу и поймет, что задуманное им дело не только трудно, но едва ли и удоисполнимо” (М.Е. Салтыков-Щедрин).

10. „Тенденциозные” воспоминания, их место в хоре и роль в формировании представления о многосторонней личности объекта воспоминаний.

А.С. Пушкин в мемуарах. „Похожие на клевету” (П.А. Вяземский) воспоминания М.А. Корфа.

Нападки биографов Лермонтова на мемуары Е.А. Сушковой, смущающая их „возможность снижения традиционно-героической личности поэта, откровенность обнажения его явно неблагоприятной позиции в рассказанных любовно-бытовых эпизодах” (Ю.Г. Оксман).

Воспоминания Ю.К. Арнольди, П.В. Григорьева, И.В. Успенского о Некрасове. Поэт — герой мемуаров — как „картежник и носитель шинели с бобровым воротником” (М. Горький). Мемуары А.С. Суворина о Некрасове. Poleмика по их поводу между Г.Э. Елисеевым и В.П. Бурениным. Правда и выдумка в воспоминаниях Н.М. Ежова о Чехове.

11. Современная отечественная издательская практика по отношению к „тенденциозным” мемуарам. „Разумеется, воспоминания клеветнического характера в расчет не принимались” (М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М., 1975. С. 6). „Особенной неприязнью и враждебностью по отношению к И.А. Гончарову проникнуты воспоминания племянника А.Н. Гончарова, намеренно не включенные нами в настоящий сборник” (И.А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 13).

12. Мемуары о Льве Толстом и их соотношение с многочисленными непосредственными подневными записями разных лиц. Отражение эволюции издательской практики в публикациях воспоминаний о Толстом. Исключение „отрицательных” и „очень субъективных” суждений. Личность Толстого в оценке И.Ф. Федорова по мемуарам Г.П. Георгиевского, публикуемым в настоящем издании.

Г.П. Георгиевский

Л.Н. ТОЛСТОЙ И И.Ф. ФЕДОРОВ. ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

*Вступительные статьи и примечания
Г.И. Довгалю и А.П. Чудакова*

В архиве Г.П. Георгиевского (1866—1948), профессора книговедения, археографа, хранителя Отделения рукописей Румянцевского музея (впоследствии библиотеки им. В.И. Ленина), прора-

ботавшего там 58 лет¹, сохранились воспоминания о Л.Н. Толстом и Н.Ф. Федорове².

Григорий Петрович Георгиевский родился в семье священника в селе Глинки Гжатского уезда Смоленской губернии. Он рано остался сиротой и, как сын священника, мог получить только духовное образование. Окончил духовную семинарию в Смоленске, а затем — Санктпетербургскую духовную академию. Уже в духовной академии он начал выступать в печати со статьями по отечественной истории и истории религии. Студентом 4-го курса академии Георгиевский участвовал в создании в родном селе, отделения Общества трезвости, возникшего в России в эти годы. Знакомство с организаторами этого общества, известной общественной деятельницей О.А. Новиковой и педагогом С.А. Рачинским, сыграло решающую роль в его дальнейшей судьбе. По окончании духовной академии Георгиевский не захотел служить по духовному ведомству и проявил необычайную энергию и настойчивость, чтобы найти место по министерству народного просвещения. Но без университетского диплома сделать это было нелегко. Только благодаря покровительству О.А. Новиковой он получил осенью 1890 г. место дежурного при читальном зале Румянцевского музея. Летом 1891 г. Георгиевский перешел в реальное училище помощником классного наставника, но в декабре директор Румянцевского музея В.А. Дашков предложил ему возвратиться.

С 1892 по 1903 г. Георгиевский был помощником хранителя Отделения рукописей и старопечатных книг. В 1898—1903 гг. временно служил и по отделению доисторических, христианских и русских древностей. С 1903 г. стал хранителем Отделения рукописей, в 1909 и 1910 гг. замещал директора музея, в 1911—1914 гг. был членом Хозяйственного комитета музея, в 1912 г. — также членом Строительной комиссии. Многие годы был членом Ученого Совета музея и библиотеки. В 1915 г. отмечалось 25-летие работы Георгиевского в Румянцевском музее. Свидетельством признания научной общественностью археографической деятельности Георгиевского явилось принятие его в члены Русского военно-исторического общества (1908), Общества истории и древностей российских (1912), Общества любителей древ-

¹Довгалю Г.И. Из истории Отдела рукописей. По материалам архива Г.П. Георгиевского // Записки Отдела рукописей. Вып. 45. М., 1986. С. 61—87.

²Воспоминания и дневники XVIII—XX вв.: Указ. рукописей. М., 1976. С. 124—125.

неи письменности (1914), Московского археологического общества (1916) и др.

В 1918—1922 гг. Георгиевский был эмиссаром Румянцевского музея, участвовавшим в спасении рукописных материалов и вывозе их из национализированных имений, закрывшихся монастырей и учреждений. Хранителем отделения он оставался до 1933 года, когда подал в дирекцию библиотеки заявление с просьбой освободить его от этой должности по возрасту и состоянию здоровья и остался в Отделе рукописей научным консультантом. В 1938 г. ученым советом библиотеки ему было присвоено звание профессора по книговедению³.

Описание рукописей, публикация их, статьи и заметки о них занимали основное место в жизни и деятельности Георгиевского. Библиография его работ насчитывает более ста номеров⁴. Им были опубликованы описания собраний рукописных книг И.С. Тихонравова (1913), Т.Ф. Большакова (1915), сделаны, но не опубликованы описания собрания В.М. Ундольского, музейного собрания. В 1937—39 гг. Георгиевским были описаны рукописи Гоголя, Пушкина, Л. Толстого. Составлял он и сведения о новых поступлениях для отчетов Румянцевского музея с 1903 по 1922 г., а в 1938—41 гг. для Записок Отдела рукописей. Им были предприняты публикации рукописей Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.И. Гнедича, А.И. Герцена, Н.П. Огарева и др.

Георгиевский оставил несколько мемуарных произведений. Одна его статья, содержащая воспоминания о работе в Отделе рукописей, была опубликована в 1940 г.⁵ Остальные мемуары не опубликованы. Среди них воспоминания о Л.Н. Толстом и Н.Ф. Федорове.

Георгиевский знал Толстого как читателя библиотеки, присутствовал во время его встреч с Н.Ф. Федоровым. Об этом он написал в своих письмах С.А. Толстой в 1911 г., которые были опубликованы в связи с выступлением Георгиевского в защиту ее прав на творческое наследие писателя во время известного спора о толстовском наследии⁶.

Толстой был знаком с работой Георгиевского о рукописях Герцена и Огарева, о чем сохранились записи в дневниках Д.Г. Ма-

³ГБЛ, ф. 217.1.12.

⁴Там же, 1.43.

⁵Георгиевский Г.П. Среди рукописей // Известия. 1940, № 223.

⁶Новое время. 1911, № 12531. 30 лив.

ковницкого⁷. Впоследствии, создавая в Румянцевском музее кабинет Толстого, Георгиевский неоднократно бывал в Ясной Поляне. О занятиях Толстого в Румянцевском музее хорошо известно. В статье сотрудницы библиотеки им. В.И. Ленина Е.В. Козловой собраны все упоминания о посещении писателем библиотеки музея⁸.

И.Ф. Федорова Георгиевский знал довольно близко (хотя и недолгое время). Когда Георгиевский поступил на службу в Румянцевский музей, он был определен вторым дежурным при читальном зале, а первым был „идеальный библиотекарь” И.Ф. Федоров. Интересно, что в архиве О.А. Новиковой сохранились письма Георгиевского 1890 г., написанные под впечатлением первого знакомства с Федоровым. В письме от 19 сентября 1890 г. Григорий Петрович писал: „Из служащих, всех вообще любезных и благодарных, выделяется один, личность известнейшая в Москве и действительно замечательная — Николай Федорович Федоров. Он у нас занимается в каталожной подысканием книг для читающих, получает 50 р. Живет единственно только своею философией и пользуется буквально общим уважением... Сегодня я с ним вел оживленный и долгий разговор... и, признаюсь, преклонился перед его положительностью и образованностью. Нет книги, даже статьи в журнале, которая бы была ему неизвестна. Между прочим, к его характеристике. Ему Дашков предложил место помощника библиотекаря с 1000 р. жалования в год, и он отказался. Обиженный Дашков спросил: „Чего же Вы хотите? Моего места?” — „Ни за что!” — „Так чего же?” — „Если Вы хотите знать мое желание, — ответил Ник<олай> Фед<орович>, — так извольте! Определите на мое место, т.е. на то, которое вы предлагаете мне, бедного И.И. Зоборыкина, человека, не получившего образования, семейного и крайне нуждающегося”. Зоборыкин и был определен и теперь служит у нас, постоянно благодаря Ник<ола> Фед<оровича>”⁹.

И в декабре того же года Георгиевский писал: „Мой ближайший сослуживец Николай Федорович, тот старичок, которого Вы видели в Музее, к сожалению заболел, и я езжу навещать его. Он мне много рассказывает про Толстого, с которым был когда-то

⁷Маковицкий Д.П. У Толстого. 1904—1910: Яснополяские записки Д.П. Маковицкого: Кн. 3 // Лит. наследство. Т. 90. М., 1979. С. 84, 468.

⁸Козлова Е. [В] Виднейшие читатели Библиотеки на протяжении ее истории // 80 лет на службе науки и культуры нашей Родины. М., 1943. С. 110—115.

⁹ЦГАЛИ, ф. 343.1.188.

дружен..."¹⁰. В архиве Георгиевского хранится письма читателей и поклонников Федорова с воспоминаниями о нем: письмо В.Н. Перетца — о работе Федорова в каталожной, В.А. Кожевникова о написании статьи по желанию Федорова, А. Филиппова о встречах в музее, Л.О. Пастернака о получении денег за портрет Федорова¹¹.

В 1903 г. Георгиевский написал о Федорове большую статью, опубликованную под псевдонимом¹².

В 1911 г. редактор газеты „Утро России“ С.С. Раецкий обратился к Георгиевскому со следующей просьбой: „...публицист Пругавин на днях выступил в печати со своими воспоминаниями о Толстом, уделив там несколько строк Н.Ф. Федорову, бывшему библиотекарю Румянцевского музея. Желая почтить память этого удивительного человека, которого Вы, без сомнения, знали лучше, чем кто бы то ни было, мы просим Вас поделиться теми фактическими сведениями, какие имеются у Вас о жизни и деятельности покойного Н.Ф. и об отношениях с Л.Н. Толстым...“¹³.

Возможно, публикуемые воспоминания были написаны Георгиевским в ответ на эту просьбу. Они состоят из трех частей, первоначально имевших заглавия: „Н.Ф. Федоров и его образ жизни“, „Служба его и отношение к нему современников“, „Дружба и разрыв с Л.Н. Толстым“. Эти части предполагалось печатать как самостоятельные, о чем свидетельствуют названия частей и подпись в конце каждой из них. Первая и третья части написаны на одной бумаге, вторая — писалась значительно раньше. Машинопись (в которой заглавия частей сняты) относится к более позднему времени и не содержит правки¹⁴.

Г.И. Довгалло

¹⁰ Там же.

¹¹ ГБЛ, ф. 217.13.52; 12.2; 15.18; 13.50.

¹² Покровский П.Я. Из воспоминаний о Николае Федоровиче (к 40 днюины) // Моск. ведомости. 1904. № 23. С. 3—4.

¹³ ГБЛ, ф. 217.14.2.

¹⁴ ГБЛ, ф. 217.1.47.

Л. Толстой услышал о Н.Ф. Федорове в 1878 г. от его ученика Н.П. Петерсона. Знакомство же произошло, по свидетельству самого Федорова, в конце сентября 1881 г.¹, после переезда семьи Толстых в Москву. Это было тяжелое время в жизни Толстого („месяц — самый мучительный в моей жизни”. — „Дневник”, 5 октября)². Он „впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам à la lettre плакал иногда” (С.А. Толстая — Т.А. Кузминской 14 октября 1881 г.)³. Как и прежде, городская, столичная жизнь с ее „роскошью и нищетой”, „ра. зратом”, „оргиями” всколыхнула в нем мысли о жизни по правде, всеобщей фальши и „болтовне”, желание „ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять свои силы и в чем видеть цель и радость жизни <...>. Жизнь, пища, одежда — все самое простое. Все лишнее: фортепиано, мебель, экипажи — продать, раздать”⁴.

В эти дни Толстой побывал у Федорова дома и воочию увидел тот образ жизни, к которому сам он так тщетно стремился; после посещения он и сделал ту запись в дневнике о святости Федорова, которую приводит Г.П. Георгиевский (см. наст. публ.). „Он живет, как настоящий аскет, — рассказывал Толстой позже А.С. Пругавину, — во всем себе отказывает и все свои потребности сводит к самому крайнему минимуму. Я прямо был поражен его обстановкой — бедной и нищенской до последней степени. Кровать у него без белья, без простынь... Питается бог знает как...”⁵.

Облик и личность философа, его предельно и естественно опрошенная жизнь, „само собою разумеющееся” исполнение христианских заветов произвели на Толстого впечатление едва ли не более сильное, чем его учение — к любым теориям он всегда относился без особого пиетета. Во всяком случае, почти во всех зафиксированных мемуаристами позднейших вы казываниях Толстого о Федорове отмечается прежде всего именно черты его личности и его образ жизни⁶.

¹ См.: Смирнова С. Об одном идейно-философском диалоге (Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров) // Север. 1980. № 2. С. 116.

² Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбил. изд. М., 1928—1958. Т. 49. С. 84.

³ Толстой С.Л. Очерки былого. Изд. 4-е. Тула, 1975. С. 129.

⁴ Полн. собр. соч. Т. 49. С. 85.

⁵ Пругавин А.С. О парадоксах Л.Н. Толстого // Сборник воспоминаний о Л.Н. Толстом. М., 1911. С. 11.

⁶ См., напр.: Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 128; Мак. вицкий Д.П. Яснополяские записки. Кн. 1. М., 1979. С. 381; Там же. Кн. 2. С. 474 и др.

Возможно, именно этим объясняется мало свойственное Толстому почтительное, не без некоторой робости отношение к Федорову. „...Отец, — вспоминал И.Л. Толстой, — всегда пылкий и несдержанный в разговорах, выслушивал Николая Федоровича с особенным вниманием и никогда с ним не горячился”⁷. Федоров, напротив, обращался с Толстым без всякой почтительности. К. Алтайский записал в 30-е годы слова К.Э. Циолковского: „Большинство россиян, да и зарубежных гостей, преклонялись перед Толстым — великим писателем и философом, а Федоров <...> не чинясь, высказывал свои суждения. <...> Иные, благоговейя перед писателем, если и не соглашались, то помалкивали, а Федоров говорил о несогласии прямо в лицо”⁸. Свидетелем одного подобного разговора с Толстым в молодости был проф. И.А. Линниченко: „Когда Толстой стал ссылаться на то, что уже раньше писал о вопросах, бывших предметом спора, Г.Ф. ответил ему: „Да ведь вы, Л.Н., тогда были не только знаменитым писателем, но и неглупым человеком”⁹.

Высказывания, содержащие негативные оценки личности Толстого, зафиксированы и в воспоминаниях Георгиевского, написанных с позиции человека, отнюдь не пытающегося скрыть несогласованность и несоответствия между проповедью и жизнью Толстого. В этом ценность его мемуаров. Такого рода материал в последние десятилетия редко попадал в печать и охотно вычеркивался из воспоминаний и дневников. Так, при публикации дневника И.М. Ивакина в „Литературном наследстве”¹⁰ и сборнике „Толстой в воспоминаниях современников”¹¹ все „отри-

⁷ Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 190. С. 189—190.

⁸ Алтайский К. Московская юность Циолковского // Москва, 1966. № 9. С. 181.

⁹ Линниченко И.А. Речи и поминки: Сб. статей по теории русской литературы и биографических воспоминаний. Одесса, 1914. С. 317.

¹⁰ Литературное наследство. Т. 69, кн. 2. М., 1961.

¹¹ Г.Н. Толстой в воспоминаниях современников: Т. 1. М., 1978.

цательные, порой очень субъективные суждения Н.Ф. Федорова¹² были исключены¹³.

Публикуемые воспоминания Георгиевского также были сочтены «неподходящими» к толстовскому юбилею 1978 г. и потому не попали в 39-й том «Записок Отдела рукописей» ГБЛ (вопреки мнению ответственного редактора тома).

Общение мыслителей продолжалось десять лет. Их многое сближало. Одной из главных точек схождения была активность натур обоих, стремление к действию, отвращение к чистой умозрительности, к „страдательному созерцанию“¹⁴. Именно в этом пафос публицистическо-моралистической и общественной деятельности Толстого.

Философия Федорова — философия активного преобразования мира и космоса. Именно так он понимал богословие, которое „есть не знание только, но и действие“, оно, как „слово о Боге, должно прежде всех наук стать делом, не может оставаться одним знанием“ (Соч., с. 153). Здесь корни его оппозиции ко всей предшествующей философии — конфуцианству, гегельянству, критицизму, позитивизму; „логику“ Гегеля он считал созданием представителя „сословия мыслящего, но не действующего“, позитивизм обзывал „негативизмом“ за беспомощность и неспособность к действию¹⁵. Всему этому он противопоставлял прин-

¹² Там же. С. 587.

¹³ В примечаниях к дневнику два таких высказывания Федорова (о „Сказке об Иване Дураке“) были воспроизведены: „Новая сказка мне ничего не дала — тут только все его взгляды, все, о чем он писал и пишет в сказке, — колоссальная ложь“. В другом суждении Федоров, человек единства жизни и теории, подчеркивал противоречия между тем и другим у Толстого: „...все отришая так, что дела — он сам? <...> Я помню, что он как-то пришел к нам в библиотеку и пожалел, что не случилось в ней пожара, а сам берет из нее книги!“ (Там же). Ср. передачу слов Федорова у Н.П. Петерсона: „Толстой только других приглашает следовать своим прямолинейным решениям, сам же он ими не руководствуется“ (Петерсон Н.П. Н.Ф. Федоров и его книга „Философия общего дела“ в противоположность учению Л.Н. Толстого о „непротивлении“ и другим идеям нашего времени. Верный, 1912. С. 24).

¹⁴ Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 361. Далее — в тексте в скобках: Соч., с указ. страницы

¹⁵ Некоторые авторы, однако, сближают Федорова с О. Контом. Г. Флоровский не без основания находил у первого „тот же дух притязаемой „научности“, такой же натурализм или физицизм“ (Флоровский Г. Проект мнимого дела. О Н.Ф. Федорова и его продолжателях // Современные записки. Париж. Т. 59. 1935. С. 407—408).

тип „подлинно позитивистический” — позитивизм деятельности. Федоров пошел здесь куда дальше Толстого и дошел до пределов крайних, противопоставив дело и веру: „Вера сама по себе не может быть спасительна: только дело, захватывающее всю душу, может произвести нравственный переворот” (Соч., с. 271). В прагматизме Федорова сильно чувствуется шестидесятник, отрицающий и философию, и искусство и желающий „дело делать”. Деятельность в системе Федорова — категория абсолютная, и в этом смысле для него равны деятельность божественная и человеческая. Проблема познания тоже лишь другая сторона действия, от знания неотделимого. Тут Федоров парадоксальным образом сближается с К. Марксом¹⁶ — не случайно позднейшее соединение их имен в доктрине левых евразийцев¹⁷. Это не единственное парадоксальное сближение Федорова с идеями, которые он прямо не разделял. Антилиберализм, антисоциализм и отрицательное отношение к революциям (в частности, к французской) уживались у него с идеями полного переустройства общества (именно общества — только-личное спасение он отвергал) на всех его уровнях, идеями, наталкивавшими на мысли о преобразованиях революционных. В значительной части эмиграции в конце 1920-х — начале 1930-х гг. федоровские концепции связывались не только с революцией как положительной стихией, но и с ее результатом. Они, замечал Н.В. Устрялов, „своими практическими установками созвучны прежде всего советским умонастроениям в их предметном существе. Недаром федоровцы не скрывают своих советских симпатий и вносят на этот счет разъясняющие поправки в антисоциалистические, старомодные суждения своего учителя”¹⁸.

Как для Толстого, так и для Федорова характерен рационализм, глубокая вера в то, что зло мира происходит от отсутствия всем понятных объяснений его причины; будучи даны, они станут фундаментом братства и мира. В этом они оба ближе к XVIII ве-

¹⁶Ср. его знаменитый афоризм о том, что философы лишь объясняли мир, тогда как нужно изменить его. С.Н. Булгаков федоровский регулятивный проективизм считал гораздо более решительным, чем экономический материализм Маркса (*Булгаков С.Н.* Свет невечерний. Созерцания и умоастроения. Сергиев Посад, 1917. С. 367). Близость Федорова к Марксу и Янгельсу, провозгласившим „конец философии и начало дела”, отмечал И.А. Бердяев (Религия воскресения // Рус. мысль. 1915. № 7. С. 83).

¹⁷См.: *Коновал Д.С.* Евразийство и пореволюционные // Вселенское дело. Сб. 2. Рига. 1934. С. 36—40.

¹⁸*Устрялов Н.В.* Из письма // Вселенское дело. Сб. 2. С. 165.

ку, чем к XIX-му¹⁹. Общей для обоих была вера в возможность устройства целесообразного, построенного на подчинении некоей одной идее мира. Толстой, как известно, скептически относился к научному прогрессу и современной науке, — главным образом потому, что считал ничтожными ее применение и роль в практической жизни крестьянина-земледельца. Расходясь с Толстым в общей оценке научного знания, Федоров, однако, также считал, что наука должна прежде всего служить непосредственным, коренным нуждам человечества. Именно с этих позиций он критикует „нынешнюю сословную науку, знание, не переходящее все в дело” (Соч., с. 615). „Пока в знании не будут участвовать все, до тех пор чистая наука останется равнодушной к борьбе, к истреблению, и прикладная не перестанет помогать истреблению...” (Соч., с. 61). Разбирая федоровскую мысль о воздействии на движение туч и облаков, Толстой писал: „Думаю, что это не невозможно ... Это именно одно из приложений мирозозерцания Николая Федоровича, которому я всегда сочувствовал и сочувствую, т.е. дело, стоящее труда и дело общее всего человечества”²⁰. Как и Толстой, Федоров включал в свое учение область повседневного быта народа. Здесь он был несомненным предшественником главных деятелей русского религиозного возрождения рубежа веков — таких, как С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк (все — бывшие марксисты), обнимавших в сферах своих религиозных медитаций самый широкий спектр — от хозяйственно-практической деятельности человека, „философии хозяйства”, до искусства и социологии.

Сходными у Толстого и Федорова было отношение к общине, образу жизни и строю мысли патриархального крестьянина, обличение эксплуатации деревни городом. „Городской ничего не производит, он дает лишь утонченную форму всему добываемому вне города” (Соч., с. 352). „Деревня была бы даже радикальным средством всеобщего оздоровления, если бы город своим знанием помог ей в этом, вместо того чтобы вынуждать ее обратить земледелие в способ извлечения наибольшего дохода...” (Соч., с. 380). Необходимо „обращение города в деревню” (Соч., с. 403), ибо жизнь в деревне нравственнее, здоровее, чище. Все это очень

¹⁹Близость Федорова к „счастливому оптимизму Просвещения” отмечал Г. Флоровский (см. его кн.: Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 322). О связях с XVIII в. Толстого глубокие соображения находим у Б.М. Эйхенбаума в кн. „Молодой Толстой” (см.: *Эйхенбаум Б.М. О литературе*. М., 1987).

²⁰Полн. собр. соч. Т. 66. С. 85.

близко к мыслям Толстого, не раз высказывавшимся в его публицистических и художественных сочинениях, к его критике новейших общественно-хозяйственных отношений. Федоров, в свою очередь, как считает исследователь данной проблемы, дал такую резкую философскую критику капиталистической хозяйственной организации, какой не найти ни у одного мыслителя XIX в.²¹

Сближало и отношение к искусству. Как записывал Толстой в дневнике, Федоров „одобрил“²² его идеи, вошедшие потом в работу „Что такое искусство?“. А в статье „Фауст“ Гете и народная легенда о Фаусте“ Федоров „высказывает мысли, буквально повторяющиеся позднее в знаменитом трактате Толстого. Тут и противопоставление „господского“ искусства народному творчеству, и взгляд на „секуляризацию“ искусства в эпоху Возрождения как на пагубный процесс отъединения от всенародного искусства“²³ и др. Но, конечно, размышления и над этой проблемой приводят Федорова к его центральной идее: искусство возникло на почве скорби первобытного человека по умершим (плачи, отпевания, надгробные памятники). Точно так же, выступал, как и Толстой, за полное целомудрие, отвергая эрос, Федоров, однако, подводит и эту идею к своей центральной мысли — половую энергию, сублимируя, тоже обратить на „родотворение“, т.е. на воссоздание предыдущих поколений рода людей.

Однако многое Толстого и Федорова разделяло. Федорову был чужд культурный „нигилизм“ Толстого, выражавшийся в разное время то в отрицании цивилизации в целом, то искусства, то науки. Почти все писавшие о Федорове приводят чрезвычайно возмущивший его эпизод, когда Толстой после осмотра промышленно-художественной выставки в Москве сказал Федорову: „Динамитцу бы!“

С общим толстовским нигилистским отношением к науке связывалась в понимании Федорова идея Толстого о превращении всех в земледельцев. При всех симпатиях к общинно-патриархальному образу жизни Федоров резко критиковал эту идею. Такое

²¹ См.: *Сетницкий Н.А.* Капиталистический строй в изображении И.Ф. Федорова // Отд. оттиск из „Известий Юридического ф-та“. Харбин, 1926. Т. 3.

²² Запись от 12 апреля 1889 г. // Полн. собр. соч. Т. 50. С. 65.

²³ *Семенова С.Г.* Об одном идейно-философском диалоге (Л.Н. Толстой и И.Ф. Федоров) // Север. 1980. № 2. С. 125. Ср.: Федоров И.Ф. „Фауст“ Гете и народная легенда о Фаусте // Контекст. 1975. М., 1977. Публикация С.Г. Семеновой.

отношение, по Федорову, губительно и для сельского хозяйства и для самой науки: „И если бы все не-земледельцы, бросив науку, науку о земле, воде и обо всем, от чего зависит урожай ... сделались пахарями ... то от этого неурожай, градобития, падежи и болезни ... не только не прекратятся, но даже не уменьшатся <...>. Обличение порока ученых составляет великую заслугу гр. Толстого, но эти обличения не должны переходить в обличение самой науки“²⁴. И борьба с „небратским состоянием мира“ возможна только на путях глубокого знания законов природы и ее регуляции в пределах всего земного шара, на путях проникновения в тайны жизни и морфологии вещества, приводящих к делу воскрешения отцов.

Наука, всеобщее обязательное образование, всеобщее учительство интеллигенции возможны только в государстве. В отличие от Толстого, Федоров — сторонник самодержавия. Правда, как тонко заметил Н. Бердяев, русское самодержавие он понимает „не национально-исторически <...> Фантастика самодержавия достигает у него колоссальных размеров. <...> Самодержец — заместитель всех отцов, представитель всего рода“²⁵. Под руководством самодержца синклит ученых управляет государством: „Нужен не парламент, не собор выборных от народа, которые по своему невежеству совершенно беспомощны, а собор ученых всех отраслей знания, распадающихся, во-первых, на собор *археологов-историков*, понимая под археологию-историю совокупность знаний, преподаваемых в археологических институтах и тому подобных учреждениях, на историко-филологических и юридических факультетах, т.е. совокупность знаний о человеке, и, во-вторых, на собор натуралистов-астрономов“²⁶.

Под руководством разумно устроенного государства такой столь категорически осуждаемый Толстым институт, как армия, превращается в „естественноиспытательную силу“, поставленную на службу обществу. „Что лучше, — спрашивал Федоров в письме к Н.Н. Петерсону 16 октября 1891 г., — не воевать только и бросить оружие или употребить его на спасение от неурожая?... И.М. Ивакин хочет предложить этот вопрос Л.Н. Толстому“²⁷. Ивакин

²⁴ Федорова Н.Ф. Философия общего дела: Т. 2. М., 1913. С. 366.

²⁵ Бердяев Н. Религия воскрешения. С. 95.

²⁶ Федорова Н.Ф. Философия общего дела: Т. 1. Верный, 1906. С. 393.

²⁷ Веселенское дело. Сб. 2. Рига. 1934. С. 150—151. Ср.: Евразия. Париж, 1927, 4 вып. С. 7—8.

текстуально близко использовал эти слова в своем письме к Толстому от 17 октября 1891 г.²⁸

Один из главных пунктов расхождения между двумя философами — в вопросе о смерти. Над этой проблемой Толстой напряженно размышлял в течение всей жизни; она многообразно отразилась в его философских трактатах и художественных произведениях; неоднократно говорил Толстой о „благодетельности плотской смерти“. Называя Толстого „панегиристом смерти“ (Соч., с. 641)²⁹, Федоров писал: „Сколько лет употребил Толстой, чтобы убедить себя, что смерть — хорошая вещь, но убедил ли он себя и кого убедил? Интеллигентная Европа четыре века старалась, все усилия употребляла на то, чтобы уверить себя, как и Толстой, что смерть — хорошая вещь, но, очевидно, не имела в том успеха, если понадобилось учение Мечникова <...> Смерть и сознание — два непримиримых врага, ибо смерть есть слепота“ (Соч., с. 637).

Это расхождение было тесно связано с другим главным, на котором здесь необходимо остановиться особо. Оно определило охлаждение в отношениях и последующий разрыв.

Общая черта Федорова и Толстого (присущая, видимо, вообще мыслителям русского склада) — резкость, отчетливость постановки вопросов и попытка бескомпромиссного их решения, стремление идти до конца, отвергая авторитеты, традицию, не останавливаясь перед самыми крайними выводами, не обращая внимания на реальность предлагаемых социальных, научных, религиозно-этических рекомендаций. В наибольшей мере эта черта, естественно, воплотилась в обосновании центрального положения философии Федорова — идеи воскрешения умерших поколений. К ней, как центру, сходятся и сводятся все частные представления мыслителя о должной и будущей общественной, научной, хозяйственной деятельности человека, об этике, истории, философии, лингвистике, биологии — любой частной отрасли знания. (Например, даже принципы библиографии, каталогизации и расстановки книг в библиотеке должны, по Федорову, подчиняться задаче „поминования, т.е. восстановления самого автора по его произведениям“³⁰.) Вопросы войны, мира, мнимого и

²⁸ Вселенское дело. Сб. 2. С. 159.

²⁹ По сообщению одного из „федоровцев“, в бумагах Федорова сохранилась неопубликованная статья с Толстым под заглавием: „Панегиристу смерти, величайшему лицемеру нашего времени“ (*Горюстасв А.К.* Перед лицом смерти. Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров <Харбин>, 1928. С. 8).

³⁰ Статья „Библиография“. — „Философия общего дела“: Т. 1. С. 681—684.

действительного знания, регулирования атмосферных явлений и движения самой Земли в космическом пространстве — все входит в один вопрос о восстановлении предков.

Но, связанная с центральной метафизической идеей христианства, идея воскрешения у Федорова не могла быть обсуждаема вне вопроса о его христианстве в целом. Этот вопрос, как не раз было замечено, „встречает наиболее затрудненное понимание как в среде людей, претендующих на привычку и вкус к религиозному мышлению, так равно и в кругах, от всякой религии отчужденных. Тех и других смущает, даже ошеломляет крайне простая постановка основного вопроса о сотрудничестве, неразделимом сочетании божественной и человеческой энергии в деле космического преобразования и всеобщего воскрешения”³¹.

На том, что Федоров „прежде всего христианин, а не философ”, и „христианин православный”, постоянно настаивал последователь и ученик Федорова Н. Петерсон — наиболее резко в полемике с А.А. Голованенко, выступившим с серией статей о Федорове в „Богословском вестнике” (1914, № 4—5, 7—8)³². Достаточно определенно об этом еще в начале 1880-х гг. высказался В.С. Соловьев. „Со времен появления христианства Ваш „проект”, — писал он Федорову, — есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову”³³. Однако и у Соловьева и у других авторов вызывали сомнение пути и понимание Федоровым самой идеи воскрешения”³⁴.

Эту метафизическую идею христианства Федоров принимал в своеобразном позитивистском, если не материалистическом, виде — не как божественное Воскресение, а реальное *воскрешение*³⁵ умерших в их телесном воплощении. Проблема материаль-

³¹ *Остромиров А.* Николай Федорович Федоров и современность: Вып. 2. Харбин, 1928. С. 16.

³² *Петерсон Н.* О религиозном характере учения Н.Ф. Федорова. М., 1916.

³³ *Соловьев В.С.* Письма: Т. 2. СПб., 1909. С. 345.

³⁴ Полемiku об отношении Соловьева к „проекту” Федорова см.: *Трубецкой Е.* Жизненная задача Соловьева и всемирный кризис непонимания // Вопросы философии и психологии. 1912. № 9—10; *Петерсон Н.* Заметка по поводу статьи кн. Е. Трубецкого. <...> // Вопросы философии и психологии. 1913. № 5—6. Ср. также: *Булгаков С.И.* Загадочный мыслитель // Два града. Т. 2. М., 1911. С. 272—274.

³⁵ „При воскрешении, — объяснил разницу Н. Петерсон, — человек является действующим, орудием Божиим, он сам воскрешает умерших во исполнение воли Божией и действует при этом способами естественными, доступными его разумению... при *воскрешении* же человек остается пассивным, есть только предмет действия” (*Петерсон Н.* Заметка по поводу статьи кн. Е. Трубецкого. С. 407).

ной воплощаемости сильно занимает философа — он постоянно размышляет о могилах, сохранении праха, задаче „возвратить гнойной материи прежнюю жизнь” (Соч., с. 363), о „собирании” и „сложении” рассеянных частиц трупов (Соч., с. 419), о „возвращении разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали” (Соч., с. 351), и т.п. Для него воскрешение — акт не мистический, чудесный, а вполне конкретный результат познания слепых сил природы. Характерно, что при своих рассуждениях в полемическом задоре он использует известную вульгарно-материалистическую формулу: „Приходится, однако, напомнить кому следует, что гниение — не сверхъестественное явление и самое рассеяние частиц не может выступить за пределы конечного пространства; что организм — машина и что сознание относится к нему, как желчь к печени; соберите машину — и сознание возвратится к ней!” (Соч., с. 366).

Один из самых серьезных критиков Федорова — Н. Бердяев — считал, что Федоров „механически сочетает натурализм с христианством”³⁶; „он — верующий православный христианин — философствует как чистый материалист”³⁷. Еще более резко говорил об этом С. Булгаков: „Федоров все время думает о воскрешении Лазаря, а не о воскрешении Христа, об оживлении трупа ... а не о воскрешении тела духовного <...> Поэтому воскрешение отцов ... далеко еще отстоит от воскрешения мертвых, чаемого христианской верой”³⁸. Это, впрочем, не мешало обоим авторам высоко оценить сам дух активного спасения человечества, пронизывающий федоровскую философию.

Идеи Федорова получили распространение в начале века (А. Белый, В. Брюсов, В.В. Бородаевский)³⁹. Вне собственно христианской проблематики они обращались и в послереволюционной культуре (М. Горький, В.В. Маяковский, В.Н. Чекрыгин, В.Н. Муравьев, М.Н. Покровский; о влиянии идей Федорова на Б. Пастернака писал Н. Зернов⁴⁰). Один из авторов сборника

³⁶ Бердяев Н. Религия воскрешения, с. 88.

³⁷ Там же, с. 117. Бердяев также справедливо указывал на „не моральные, а проективные истолкования у Федорова догмата Троичности” (там же. С. 90).

³⁸ Булгаков С. Свет невечерний. С. 363.

³⁹ См.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. Андрей Белый и Н.Ф. Федоров // Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сб. III. Тарту. 1979.

⁴⁰ Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1974. С. 314.

„Вселенское дело” считал, что „если не сознательно, то бессознательно анастатические (воскресительные. — А.Ч.) тенденции ... проявляются в самых неожиданных формах. Только мыслью о необходимости и неизбежности воскрешения можно объяснить такой факт, как бальзамирование и сохранение тела В.И. Ленина”⁴¹. Несомненное влияние формулировки Федорова оказали на лозунги 1930-40-х гг. о „покорении природы”.

В эмиграции (прежде всего в евразийских кругах) в 1930-е годы учение Федорова воспринималось как развитие христианства в новых условиях. Оно „подводит итог всему двухтысячелетнему опыту христианства и тысячелетним исканиям православия. <...> С развиваемой им точки зрения и наука и техника не только не являются фактами внерелигиозными и безрелигиозными, но наоборот, они вводятся, должны быть введены в самое сердце религии, в внехрамовую литургию (общее дело)”⁴². Н.В. Устрялов считал философию Федорова героической попыткой „оживить христианскую идею в истории, непосредственно связав ее с лейтмотивом современной цивилизации. Христианизировать технический прогресс и, можно сказать, технизировать и тем самым модернизировать историческое христианство”⁴³. (В связи с этим Устрялов опасался превращения федоровских идей в безрелигиозные концепции „бездушно-машинной эпохи”⁴⁴.) В.Н. Ильин также полагал, что Федоров соединил в себе „пафос организационно-технической коллективной идеи и верующего христианства”⁴⁵.

С позиций ортодоксально-нормативного православия христианство Федорова выглядело сомнительным и в это время. Известный патролог Г. Флоровский находил в его учении лишь „элементы” христианства. В большинстве же своих положений оно „не было христианством вовсе и с христианским опытом резко разногосит. <...> У Федорова остается одно прикладное христи-

⁴¹ Вселенское дело. Сб. 2. С. 145.

⁴² Мановский Р. Мессиянство и Русская Идея // Там же. С. 94.

⁴³ Устрялов Н.В. Из письма // Там же. С. 163—164.

⁴⁴ В.Н. Ильин в качестве примера „еретического соблазна” приводил кн. В. Муравьева „Овладение временем” (М., 1924), где федоровские идеи превратились в „безбожный утопизм с коммунистическим привкусом” (Ильин В.И. О религиозном и философском мировоззрении Н.Ф. Федорова // Евразийский сборник. Кн. 6. Прага, 1929. С. 20). Об „опасности истолковать религиозную идею Н.Ф. в духе современных научных позитивистов а la Мечников” еще в статье 1908 г. (с. 268) писал С.Н. Булгаков (см. прим. 34).

⁴⁵ Ильин В.И. Профанация трагедии (Утопия перед лицом любви и смерти) // Путь. Париж, 1933. № 40. С. 63.

анство, без основного"⁴⁶. „У Федорова нет никакой христологии вовсе. <...> Загадку смерти он почти что исчерпывает в пределах морали и евгеники. <...> Интересует Федорова собственно только судьба человеческого тела"⁴⁷.

При всех своих расхождениях с каноническим православием, в идее воскрешения Толстой был с ним вполне солидарен. Он всегда говорил только о духовном воскрешении: „не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в боге"⁴⁸.

Федоров видел близость некоторых взглядов Толстого к своим; тем сильнее его раздражало, что тот не делает из этого естественных, по Федорову, выводов: „Опорошение, хождение в народ, возвращение в село, — к чему призывает и Толстой, — во всем этом заключается тот же призыв к праху отцов, только не приведенный в сознание ни Толстым, ни его последователями"⁴⁹. Учение о непротивлении Федоров называл „самой злой насмешкой над христианством и над здравым смыслом"⁵⁰, ибо оно мешает „проекту" воскрешения. Таких категорий, как „добро" и „братство", Федоров также не признавал вне основной цели. Именно в этом он видел порок учения Толстого: „... Толстой видит добро... в осуществлении братского единения людей, и это без всякого отношения к умершим отцам, по которым только мы и братья. А между тем ... только во исполнение долга воскрешения может осуществиться братское единение людей..." (Соч., с. 609).

Сам Толстой так формулировал в 1885 г. их разногласия: „Николай Федорович говорит, что между людьми братства потому нет, что нет общего дела; будь оно, было бы и братство; делом этим он считает воскрешение. Я же говорю, что братство может

⁴⁶ Флоровский Г. Проект мнимого дела, с. 407—408.

⁴⁷ Флоровский Г. Пути русского богословия. Изд. 3-е. Париж, 1983. С. 323—324.

⁴⁸ Полн. собр. соч. Т. 23, С. 392. Ср. в письме Н.Н. Гусева Н.П. Петерсону от 29 июня 1908 г., написанном по поручению Толстого: „Идея воскрешения не встречает в нем сочувствия, и его вполне устраивает учение о том, что тело наше и может быть бессмертно, а дух не может быть смертен" (*Петерсон Н.П. Моя переписка с гр. Л.Н. Толстым, Верный, 1909. С. 6*) Ср. у единомышленника и последователя Толстого И.И. Горбунова-Посадова: „Все силы надо направлять на сейчасное проявление нашей божественной сущности. <...> Мечта о воскрешении в моем теле <...> для чего сосредоточиваться на этой мечте?" (Вселенское дело. Вып. I. Одесса, 1914. С. 46).

⁴⁹ Федоров Н. Д. Философия общего дела. Т. 1. С. 434.

⁵⁰ Там же.

быть и без общего дела, пожалуй, просто вследствие того ужаса нашего положения, который есть прямой результат отсутствия братства. Он этого не хочет понять. У него есть пункт помешательства, которого у меня, должно быть, нет. Я ему говорил: поставьте вы общее дело целью, не определяя его точно... Но с философской точки зрения его построение правильно, он прав, ставя человечеству такую задачу, если только отодвигать ее в бесконечность времени"⁵¹.

Федоров сильно уповал на авторитет Толстого в поддержке своих идей и не раз об этом говорил и писал. Как вспоминал С.Л. Толстой, Федоров „при каждой встрече с моим отцом требовал, чтобы отец распространял эти идеи. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, обижался и не мог ему этого простить"⁵².

Федоров обвинял Толстого в приписывании „себе безусловно авторитета” (Соч., с. 608), Толстой же считал „слишком авторитарным поведением Федорова: „Интонации уверенности удивительные. Всегда эти интонации в обратном отношении с истиною” (запись в Дневнике 14 января 1889 г.)⁵³. Отношения были неровными, их перепады Толстой не раз отмечал в Дневнике (записи от 26 марта и 3 мая 1884 г.⁵⁴ — ср. цит. запись — и др.)

После смерти Федорова Толстой не раз упоминал о нем в своих разговорах и переписке. Отзывы его всегда были в высшей степени благожелательны.

Автор специальной работы о Толстом и Федорове утверждал, что „близкое знакомство с мировоззрением Федорова сыграло огромную и роковую роль в истории мысли и проповеди Толстого. Это знакомство, можно сказать, раз и навсегда отравило для него вкус к мировоззрениям примиренческого типа"⁵⁵. У Толстого такого вкуса не было и раньше. Но несомненно, что в лице Федорова он впервые встретил человека и мыслителя, доходившего в своих построениях и самой жизни до еще более крайних пределов, чем он, Лев Толстой. И как бы ни подходить

⁵¹Ивакин И.М. Воспоминания о Толстом // ЛН. Т. 69. Кн. 2. М., 1961. С. 51—52. То же в кн.: Толстой в воспоминаниях..., с. 333.

⁵²Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 132.

⁵³Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 23.

⁵⁴Там же. Т. 49. С. 73, 89.

⁵⁵Горюстаса А.К. Перед лицом смерти. Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров. <Харбин>, 1928. С. 16.

к сложной и лишь начатой изучением проблеме их взаимоотношений, очевидно, что без рассмотрения всех оттенков федоровской полемики с Толстым нельзя уяснить полную картину идей философа; надобно также согласиться, что „без сопоставления с „Философией общего дела” мы никогда не поймем странного пафоса, не заметим скрытых пружин всей мыслительной работы Толстого с начала 80-х годов”⁵⁶.

А.П. Чудаков

⁵⁶ Там же. С. 14.

Г.П. Георгиевский

Л.Н. ТОЛСТОЙ И И.Ф. ФЕДОРОВ
ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

В многочисленных статьях и воспоминаниях о графе Л.Н. Толстом до сих пор не приходилось встретить почти никаких сообщений о взаимоотношениях двух замечательных москвичей, именно, великого писателя и не получившего широкой известности, но тоже весьма замечательного человека и философа Николая Федоровича Федорова. Среди друзей Толстого почти до конца XIX века Федоров пользовался авторитетом и уважением едва ли не меньшим, чем Толстой, а во многих отношениях и случаях перед ним преклонялся и сам Лев Николаевич. Я, как живой свидетель их сначала дружбы, а потом размолвки, считаю любопытным постыльно осветить этот уголок биографии графа Л.Н. Толстого. Поневоле мне приходится начинать с И.Ф. Федорова, которого немногие знали, а все знавшие безусловно уважали. Личность его и взгляды заслуживают полного внимания и необходимо сохранить его в памяти потомства, так как он был крупной величиной в истории Москвы второй половины XIX века.

Николая Федоровича я стал знать уже в то время, когда он был преклонным старцем. Ему, по-видимому, был на исходе уже седьмой десяток лет¹.

Мне, совсем зеленому юноше², еще не сошедшему со школьной скамьи, его возраст или вернее, его старость, казались более глубокими. И в то же время меня с первого же раза поразила какой-то избыток жизни в этом, казалось, уже изжившем, изнуренном и изможденном старике: подвижной, живой, даже гибкий организм, звучный голос, быстрый и оживленная речь, богатство, разнообразие и острота мыслей — все это говорило

скорее не о старости, а о времени полного расцвета сил в этом необыкновенном человеке.

Впрочем, и возраст Николая Федоровича точно и не был известен никому. Те люди, которые раньше меня и давно уже знали его, говорили, что они все время знают его вот таким, каким он был в данный момент, что другим, более молодым человеком, они не помнят, и что годы, прошедшие со дня их первого знакомства с ним, не произвели в нем заметной перемены.

С течением времени и я не замечал в нем никакой крупной перемены, и каким я помню его при первом моем знакомстве с ним, таким же он представляется мне в моем воспоминании и в самые последние дни своей жизни. Он точно застыл и кристаллизовался в том виде, в каком впервые узнали в Москве этого замечательного и благообразного старца.

И все-таки впечатление несоответствия между казавшимся на первый взгляд преклонным возрастом Николая Федоровича и ключом бившею в нем жизнью поражало своей неожиданностью.

Так на темном кладбище вас иногда поражает своею неожиданностью ярко блеснувший свет неугасимой лампы...

Сам Николай Федорович никогда не говорил о своих легах, да и не любил отвечать на вопросы любопытствовавших о возрасте его, о прошлом, о происхождении. На деликатные вопросы он умел давать остроумные ответы, несколько, однако, не просвещавшие вопрошавших по предметам их любопытства. На вопросы же наивные или навязчивые он или совершенно отмалчивался, или же с неудовольствием принимал удивленный вид и тоже спрашивал в свою очередь:

— А зачем это вам нужно? Уж не пишете ли вы некролог мой?.. А может быть вас подослал Д.Д.Я.? ³

В этом молчании Николая Федоровича было что-то загадочное. Невольно чувствовалось что-то таинственное, быть может, крупное и трагичное и с общечеловеческой точки зрения, а быть может, что-нибудь совершенно личное, интимное, что так могуче отразилось на судьбе именно этого человека и что каждый другой мог не оценить и не понять...

В самом деле, Николай Федорович во всю жизнь и никому не обмолвился ни единым звуком о самых интересных моментах своей биографии: ни о родителях и родных, ни о родине и воспитании, ни о детстве и сверстниках, ни о молодости и начале службы, и очень мало об образовании своем в Ришельевском Лицее в Одессе... Что же все это означало? Как будто самая жизнь Николая Федоровича началась только с того времени, как он пришел в Москву.

Да, именно пришел, пешком, в Серпуховскую заставу, в 1863 году.

Эта безвестность целой половины жизни Николая Федоровича и самого происхождения его по временам как будто близки были к разгадке. Однажды на Пасхальные каникулы Николай Федорович уехал в Петербург, куда никогда не ездил и не предполагал ехать. Эта поездка очень заинтересовала всех его знакомых, и волею-неволею ему пришлось дать объяснение. По его словам, он ездил в Петербург потому, что там умер его родной брат, присяжный поверенный.

Это откровение еще более удивило всех. Он жил таким безродным и одиноким, таким философски равнодушным к плотскому родству, что в нем не предполагалось и самого чувства родственности, а тем более наличия таких близких родственников.

Когда уже скончался Николай Федорович, на панихиды и на погребение его приезжала маленькая старушка, в орденах и знаках отличия, из заслуженных отставных классных дам. И эта почтенная старушка объявила себя его родною сестрой. Но кто же она, и кто он?.. Никто не решился спросить ее и тем нарушить молчание и открыть завесу, так тщательно опущенную и плотно прикрывшую все прошлое Николая Федоровича...

Потом от покойного Ю.П. Бартенева⁴ я слышал, что Николай Федорович был сыном, кажется, пензенского помещика, князя Г.⁵ Когда князь служил на Кавказе, он влюбился в молоденькую грузинскую красавицу, ради любви бросил службу, вернулся в имение и здесь прожил с нею несколько лет. Плодом этой любви и был Николай Федорович... Его мать потом была в замужестве за директором первой Московской гимназии.

Впечатление большой старости Николая Федоровича усиливалось, по-видимому, его своеобразным костюмом. Осенью и зимой его мало кто встречал на улицах. Он ходил только в начале и в конце дня, когда не совсем еще рассвело и не совсем смерклось, но когда в сумраке и часто в тумане очень не легко признать даже хорошо знакомого человека. Летом и весной он ходил по улицам в том самом костюме, в котором круглый год проводил время дома и на службе. Главною особенностью этого костюма была его ветхость. Но это не было рубище, а тем более это не была рвань и лохмотья. Костюм Николая Федоровича не был оборван. Он просто был ветх, даже очень ветх, но он несколько не нарушал общего впечатления, привлекательного, какое производил своею внешностью носивший его благообразный старец.

О ветхости костюма можно судить, например, по тому, что за два десятка лет, последних в жизни Николая Федоровича, я помню его только в двух переменах. Сначала, очень недолго, на нем и зиму и лето был белый пиджак, а потом лет 12-15, и тоже круглый год, он ходил в летнем однобортном пальто⁶, застегнутом на все пуговицы с самого верха, цвета серовато-темного. На шее у него неизменно был повязан платок, кажется, полотняный, а когда Николай Федорович простужался и хрипел, то на шее у него откуда-то появлялся шерстяной шарф. Зимой и осенью поверх этого костюма он одевал ватное пальто, настолько ветхое, что у него уцелела только одна пуговица. Поверх головы и шеи он закрывался пледом, а на голове носил или большой теплый картуз, или круглую, кажется, валяную, шапочку.

Очень возможно, что такой костюм еще больше старил Николая Федоровича, а что он привлекал общее внимание — это несомненно. В канцелярии Румянцевского Музея, вероятно, уцелели многократные запросы уездных исправников о самоличности предьявителя каникулярного отпускного билета⁷. Очевидно, в уездном городе, когда появлялся Николай Федорович на летние вакации, он производил немалое смущение среди чинов местной полиции. По билету он оказывался носителем довольно значительного чина по таблице о рангах, а по костюму... он казался исправнику самозванцем. И вот, почти каждое лето, едва Николай Федорович выезжал на каникулы к кому-либо из приятелей, как в канцелярии Музея начинали появляться полицейские запросы о нем.

Даже сам, тоже уже покойный, граф Лев Николаевич Толстой не всегда оставался равнодушным к костюму Николая Федоровича. По-видимому, приличный вид, при всей ветхости костюма, то, что называется благообразием, удивлял Толстого и даже едва ли не вызывал у него зависти. По крайней мере, Николай Федорович со смехом говорил об этом всякий раз, когда новое лицо засматривалось на его костюм. Это ему очень не нравилось, и он, желая остановить любопытство, говорил:

— Что вы на меня засмотрелись? Толстой, вон, тоже не спускает глаз с меня, так тот из зависти.

А однажды Николай Федорович очень резко остановил и любопытство Толстого. Вообще он не церемонился с Толстым, но на этот раз он был даже раздражен. Они оба стояли за каталожным столом, мирно беседуя. Что-то в костюме Николая Федоровича привлекло внимание Толстого, и Толстой подошел к Николаю Федоровичу и, прищурив глаза, как говорил потом Николай Фело-

рович, „смерил его с головы до ног”. Это усиленное внимание очень не понравилось Николаю Федоровичу, и он запальчиво заметил Толстому:

— Что вы смотрите? Не хотите ли превзойти меня в своем опрощении?

Толстой был очень сконфужен, извинился и ушел.

Самым привлекательным в Николае Федоровиче было, конечно, его лицо. Открытое, продолговатое, с совершенно правильными чертами, обрамленное побелевшею бородой и увенчанное большим лбом, оно всегда светилось и оживлялось черными блестящими глазами, детски ясными и необыкновенно пронизывающими. На верху его головы не было волос, но кругом головы был значительный кружок их, вьющихся и длинных, так как он никогда не стриг их.

К сожалению, Николай Федорович не позволил при жизни снять с себя фотографический портрет. Изображения лица он признавал только в иконописи и только в иконописных целях. Поэтому на все просьбы позволить сфотографировать его Николай Федорович отвечал решительным отказом. А когда однажды один из его почитателей принес с собою ручной аппарат и хотел тайком сфотографировать его за работой, Николай Федорович вдруг заметил эту проделку в последний момент и, совершенно огорченный, присел за стол и долго не хотел выходить из своей засады, пока не убедился, что вероломного приятеля его совсем в Музее нет.

После кончины Николая Федоровича с него снята была маска, и известный художник Пастернак напечатал в „Весах” рисунок этой маски⁸. Тут Николай Федорович как живой, только глаза закрыты. Есть еще портретный рисунок, сделанный Пастернаком, весьма удачный⁹⁻¹⁰.

Заслуживает внимания и еще одна черта в безвестности прошлого Николая Федоровича. Очень мало кто знал его фамилию. Имя и отчество его пользовалось необыкновенной популярностью и в очень широких кругах русского образованного общества, особенно общества наших обеих столиц. Но по фамилии его никто не знал при жизни. Даже в самом Румянцевском Музее, где он служил, не все знали его фамилию. Когда я узнал Николая Федоровича и спросил его фамилию у старого его сослуживца, последний очень неуверенно ответил мне:

— Кажется, Федоров, а, впрочем, бог его знает... Справьтесь в канцелярии.

На такой мой вопрос к музейному швейцару я получил более оригинальный ответ:

— Какая фамилия? Николай Федорович — и более ничего. У них нет фамилии.

Когда я пошел к Николаю Федоровичу на квартиру в первый раз и разыскивал его жилье, мне пришлось обратиться к помощи неизвестного мне господина, шедшего по двору, где я предполагал найти интересовавшую меня квартиру.

— Где живет Федоров? — спросил я.

Мой собеседник, обитатель этого же дома, оказался в большом затруднении.

— Федоров?.. Кажется, у нас такого нет. Да это кто такой, Федоров?

— Николай Федорович..

— Ах, Николай Федорович, — перебил меня здешний жилец и сейчас же указал, где мне найти его.

Квартира Николая Федоровича была скромнее самой его внешности. Он жил в Молочном переулке¹¹, в старом деревянном доме. По узкой темной лестнице надо было подняться под крышу, где был крошечный мезонин, разгороженный пополам. Этот мезонин занимали какие-то две старушки, занимавшие первую от входа половину его. Вторую занимал у них Николай Федорович за 5 рублей в месяц. Эта его комнатка, с маленьким окошечком, была совсем крошечной. Вся мебель в ней ограничивалась столиком и сундуком в один аршин длиною. Этот сундук служил Николаю Федоровичу и стулом, и креслом, и... постелью. На этих шестнадцати вершках Николай Федорович умудрялся спать, конечно, без подушки и без какого-либо признака постели. Больше никакой мебели и вообще имущества у Николая Федоровича безусловно не было, и самый сундук всегда стоял пустым. Все имущество Николая Федоровича исчерпывалось несколькими листами бумаги, на которых он записывал свои мысли и которые он всегда носил в боковом кармане пальто, или просто за подкладкой пальто, вследствие чего полы его всегда были оттопырены и смотрели врознь. Впрочем и эти тетради оставались у Николая Федоровича лишь до тех пор, пока он не находил верного и восприимчивого слушателя, особенно если последний владел пером. Тогда Николай Федорович читал ему ту или другую тетрадь, смотря по интересовавшему слушателя вопросу, и, прочитавши, дарил ему эту тетрадь, в надежде, что посеянное им вырастет и даст плод свой.

Потребности Николая Федоровича были до крайности ограни-

чены. Никакого стола он никогда себе не заводил и не пользовался ни завтраком, ни обедом, ни ужином. Все продовольствие его ограничивалось чаем, который он пил утром и вечером, с баранками; и за этот двукратный чай с баранками он платил своим хозяйкам особо три рубля в месяц. Вот и все его потребности и траты на себя: 5 р. за квартиру и 3 р. за чай, всего 8 рублей в месяц.

Таким образом, казенного жалованья, которого он получал 33 р. в месяц, ему хватало с избытком. Остаток жалованья он в тот же день, в который получал жалованье, распределял своим пенсионерам, которых у него было слишком достаточно и которые неизменно являлись в Музей по 20-м числам и терпеливо дежурили у дверей канцелярии, ожидая, когда из них выйдет Николай Федорович с жалованьем.

Любопытно, что одного пенсионера к Николаю Федоровичу устроил граф Л.Н. Толстой. Какой-то бедняк обратился к графу за помощью. Это было в 1896—1897 гг. Граф не отказал бедняку, но вручил ему письмо к Николаю Федоровичу, в котором, ссылаясь на неимение средств, просил Николая Федоровича поделиться с подателем письма избытком своего жалованья!?

Николай Федорович несколько месяцев носился с этим письмом и громко читал его своим знакомым. Оно так прекрасно иллюстрировало его твердое убеждение в лицемерии Толстого и толстовства.

Любопытно, что ненужные ему остатки жалованья Николай Федорович раздавал в тот же день, и если какой-либо пенсионер приходил за своей долей на другой день, то уже ничего не получал: Николай Федорович никогда не держал денег.

Когда он лежал уже на смертном одре в Мариинской больнице и ему принесено было жалованье, он не сумел в тот же день раздавать все свои деньги: одна золотая монета пятирублевого достоинства осталась у него и лежала на столике у его постели. Как она беспокоила Николая Федоровича! Всех навещавших его он убедительно просил освободить его от этого ненужного ему бремени и взять от него с собою, и на неизменный отказ каждого раздраженно отворачивался и едва выговаривал свое нелестное суждение о деньгах: — Проклятые!..

II

Мало знаю я людей, которые отрицательно относились к Николаю Федоровичу. Это были исключительно узкие чиновники, которые не одобряют все, что не вмещается в рамки уставов и ин-

струкций. На этой почве у Николая Федоровича в жизни довольно было недоразумений. Достаточно сказать, что, получив высшее образование в Одессе и сделавшись педагогом, он не мог подолгу ужиться ни в одном учебном заведении. С 1854 по 1868 год он был учителем истории и географии в разных уездных училищах, в Липецке, Богородицке, Угличе, Одоеве, Богородске, Подольске. Прибыв в Москву и посетив Чертковскую библиотеку, где в то время служили П.И. Бартенев¹² и Н.П. Барсуков¹³, Николай Федорович был замечен ими и остался здесь на службе, получив затем должность дежурного чиновника при Читальном Зале Румянцевского Музея. На этой должности он неизменно служил в течение почти 25 лет, разумеется, потому, что здесь его ценили и любили, хотя в нем и не укладывалось обычное понятие о чиновнике. Отсюда-то и являлись иногда недоразумения, которые, в сущности, отнюдь и не свидетельствовали об отрицательном отношении к самому Николаю Федоровичу и его деятельности. Чаще всего недоразумения происходили по поводу открытия Музея. Николай Федорович всегда являлся к 8 часам утра на службу, а двери Музея иногда, в редчайших случаях, в этот час еще не были открыты просто потому, что смотритель проспал. Николай Федорович принимал закрытые двери за намек на ненадобность своей работы, огорченный уходил домой и, ко времени прихода других чиновников, уже посылал прошение об отставке. Потом стоило больших трудов убедить его вернуться к своей должности, которая без него не исполнялась.

Если Николай Федорович не держался строго правил, которые мешали ему трудиться сверх нормы, то с другой стороны он был беспощадным исполнителем и контролером за точностью в исполнении тех правил, которые оберегали общественное достояние и обеспечивали его наилучшее использование. Так, во всю жизнь он не только никому не дал на дом ни одной музейной книги, но и сам ни разу не воспользовался этим своим правом. Когда же он увидел, что новый библиотекарь Музея, профессор Н.И.С.¹⁴, широко пользовался сам музейскими книгами и не препятствовал другим брать их домой, Николай Федорович, не находя на привычных местах самых необходимых книг, ушел в отставку с пенсией в 17 р. 51 к.

Лица посторонние Музею познакомились с Николаем Федоровичем через посредство своих занятий.

Изучая какой-либо научный вопрос, посетитель Музея находил в кипе потребованных им книг еще две-три книги, которых он совсем не требовал, о существовании которых и не подозревал.

А между тем содержание этих неожиданных книг прямо отвечало на поставленную им себе задачу. На вопрос посетителя, кому он обязан присылкою этих книг, получался ответ:

— Это вам прислал Николай Федорович.

Новые книжки освещали вопрос совсем с новых, часто неожиданных и непредвиденных сторон и точек зрения. Вопрос углублялся, изучение затягивалось, требовались и присылались все новые и новые книги, и наконец совсем зарывшийся ученый непременно получал приглашение:

— Вас просят к себе Николай Федорович.

Тут уже завязывалось личное знакомство с Николаем Федоровичем с тем, чтобы потом уже никогда не прерываться и слушать постоянным и неисчерпаемым источником не только для всестороннего изучения тех или других специальных вопросов, но нередко и для выработки и создания целого миросозерцания.

В сущности обязанности Николая Федоровича в Библиотеке были очень скромны. Он должен был подыскивать по каталогу Музея те книги, которые по требовательным листкам выдавались потом в Читальный Зал. Николай Федорович должен был прочесть все эти листки и по каталогу отметить на них места требуемых книг. Таким образом, мимо Николая Федоровича не проходило ни одно требование на книги и без его предварительного просмотра не выдавалась ни одна книга в Читальный Зал. Ему известно было каждое требование, но, разумеется, в число его служебных обязанностей вовсе не входило определение по этим требованиям вопроса, интересовавшего читателя, степени его подготовленности к занятиям этим вопросом и характера его осведомленности в нем.

Николай Федорович по тем требованиям на книги, какие подают в Читальном Зале посетители, сразу узнавал серьезного работника, и тогда уже он заглазно всею душою призывался к этому человеку и старался быть полезным ему, чем только мог.

А содействие его в этом отношении было беспримерно драгоценным. Он был прямо исключительным библиоманом и библиографом. Он знал как свои пять пальцев всю библиотеку Румянцевского Музея, и очень часто для него было легче и скорее взять нужную книгу прямо с полки, чем отыскивать ее при помощи каталога. Но знанием своих книг тут дело не ограничивалось: Николаю Федоровичу известно было и содержание книг Румянцевской библиотеки. Он перечитал их, кажется, все, и все прочитанное держал в своей колоссальной памяти. Этому содействовало то, что не было вопроса, которым бы он не интересовался.

Он все изучал, для него ничего не было нового и незнакомого. Во всем он всегда шел впереди общепризнанных авторитетов и специалистов, и буквально не было вопроса, к которому, даже самому, на первый взгляд, маленькому, он не относился бы с таким же интересом и с такой же теплотой, как и к самым коренным основам знания и веры. Николай Федорович говорил:

— Не надо забывать, что под книгою кроется человек... Уважайте же книгу из-за любви и почтения к человеку.

Тут крылась целая философская теория, и отношение его к книге и библиотечному делу вытекало из его мировоззрения и взглядов на книги. По его взгляду, все книги одинаково ценны в библиотеке. Здесь не должно быть важных и неважных, любимых и презираемых, ходячих и вышедших из употребления. Он говорил, что „библиотека не гражданское общество, которое исключает умерших из своего списка. Она, как и церковь, не „юридическое учреждение“. Книга — это постоянное звено между прошедшим, настоящим и будущим”.

В горячих речах Николай Федорович выражал негодование веку дешевых фабрикатов и фальсификации за то, что, тратя тысячи на рекламы, этот век не стыдится выгадывать гроши на чернилах и бумаге, настолько теперь непрочных, что память об эпохе ненасытной наживы исчезает с изумительной быстротою.

— Уважение к книге фальшь, а презрение — действительность, — так характеризовал он отношение к книге в XIX веке.

Я не буду приводить примеров необыкновенного уважения Николая Федоровича к книгам и того разнообразия вопросов, в которых Николай Федорович мог руководить даже специалистов. Эти примеры я уже приводил в печати, хотя и не под своей фамилией¹⁵. Здесь ограничусь приведением одного факта, свидетелем которого я был.

В начале пятидесятих годов ехала партия инженеров на изыскание Сибирского железнодорожного пути и, проезжая Москвою, заглянула в Румянцевский Музей, конечно, для очистки совести, а вовсе не уверенная в возможности найти здесь что-либо для себя новое и интересное. В подобных случаях, когда кто-нибудь обращался в библиотеку с просьбой указать книги, имеющиеся по известному вопросу, или за какими-нибудь советами при книжных занятиях, его неизменно направляли к Николаю Федоровичу. К нему же привели и инженеров. После очень недолгого разговора инженеры услышали название такого описания Сибири, о котором раньше и не подозревали. А когда инженеры показали Николаю Федоровичу проект предполагавшегося пути,

то Николай Федорович сразу заметил два упущения на карте: в одном месте неверно была показана высота горы, а в другом месте совсем пропущен был большой ручей. Инженеры, хотя неуверенно, но все-таки спорили и стояли за верность своей карты. Однако на возвратном пути, года через два, партия прислала одного своего сочлена к Николаю Федоровичу засвидетельствовать ему свое уважение и сказать ему, что он был безусловно прав.

Обширные знания и беспримерная осведомленность в текущей литературе и в состоянии Румянцевской библиотеки, какими обладал Николай Федорович, давали возможность Музею ежегодно составлять такие требования на иностранные издания для пополнения библиотеки, которыми восхищались даже за границей. Однажды директор Дашков¹⁶, будучи за границей, зашел в книжный магазин постоянного музейского поставщика. Когда в магазине узнали посетителя, то стали настойчиво упрощивать поскорее прислать списки новых изданий, необходимых для пополнения библиотеки. Дашков очень заинтересовался побуждением, заставившим фирму просить об ускорении требования, и узнал, что по списку Румянцевского Музея фирма рассылает новые издания всем своим клиентам, среди которых главное место занимают университеты и другие ученые учреждения заграничные.

Эти богатые знания добыты Николаем Федоровичем путем непрерывного тяжелого труда. Он начинал свой трудовой день со светом и со светом заканчивал его. Иронизируя над современными заботами об установлении восьмичасового труда, или, как он выражался, „шестнадцатичасовой праздности“, он всю жизнь только расширял свой труд. Первым грядя в Музей, пока не начинался официальный день, он подыскивал затребованные книги, рылся в каталогах и библиографических пособиях, бегом, несмотря на свои 70 лет, мчался по библиотеке за книгами, пополнял свои знания и читал новые книги. Замечательно, что для чтения на дому он всегда подписывался в платных библиотеках, вносил ежемесячно там положенную сумму и оттуда брал себе книги: книги Румянцевской библиотеки были для него неприкосновенны, и ими он пользовался только в помещениях самой библиотеки.

Сам по себе больной старец, он не знал усталости за работой. Вот замечательный факт: начавши свой трудовой день, он ни разу во всю жизнь не садился до окончания своего рабочего дня. Когда же болезнь ног вынуждала его искать посторонней опоры, он позачалял себе подставить к больной ноге стул и становился

коленом больной ноги на этот стул. Другая нога в это время должна была продолжать свою обычную службу стоя.

Все это: и личный аскетизм, и беспримерное бескорыстие, и сверхурочный добровольный труд, и исключительная пунктуальность — лишь одна сторона в замечательной личности Николаи Федоровича. Правда, она самая заметная и всем доступная, а потому и самая популярная. Но рядом с этим Николай Федорович был и глубоким мыслителем, философские воззрения которого приводили в восторг и Достоевского¹⁷, и В.С. Соловьева¹⁸. Перед жизнью его, перед единством мысли и дела, которым всегда отличался Николай Федорович, преклонился и граф Л.Н. Толстой.

III

Николай Федорович уже давно стал определенной и яркой личностью. Его мировоззрение сложилось в стройную и законченную систему. Его жизнь не знала и не имела других форм, кроме строжайшего следования своим убеждениям, кроме полного и беспрекословного воплощения и осуществления руководящих взглядов его философии, воплощения во всем, до мелочей, и сурового до аскетической нищеты и самозабвения. Это был глубокий мыслитель, мудрость которого оправдывала себя не только в логической стройности системы, но и в высоте его взглядов и в безукоризненной чистоте его жизни. Его жизнь была точным зеркалом его убеждений. Достаточно было видеть Николая Федоровича и наблюдать его жизнь, чтобы узнать его философию, оценить достоинство руководящих им идеалов и преклониться перед единством мысли и воли в этом необыкновенном человеке, перед постоянным взаимодействием между его убеждениями и действиями. Все в нем отображало его идеалы, вся жизнь его была неустанным служением им, и он не знал иных поступков, кроме тех, которые вызывались его высокой моралью. „Святой старец” — вот общее признание, невольно создававшееся даже при поверхностном знакомстве с Николаем Федоровичем.

В это время граф Л.Н. Толстой только приступил к выработке своего собственного мировоззрения. Не обладая глубоким и разносторонним образованием, Толстой не испытал и жгучей, neodолжимой потребности в коренной ломке всего строя своей жизни. Поэтому процесс выработки миросозерцания у него шел особым, рассудочным путем, без влияния на жизнь и без взаимодействия с ней и с таким слабым отражением идей в поступках, что весьма нередко жизнь его противоречила его словам и его учению. Про-

цесс мысли и процесс воли у него не всегда совпадали, а иногда и резко противоречили друг другу.

Неудивительно, что в Николае Федоровиче Толстого прежде и больше всего поразили цельность личности и единство и неразрывность мысли и воли. Вот почему Толстой, после первого же знакомства своего с Николаем Федоровичем в 1881 году, записал в дневнике удивление Николая Федоровича по поводу призыва Толстого к исполнению заповедей:

„— Исполнять? Это само собою разумеется”.

В том же своем дневнике Толстой так передал первое свое впечатление: „Николай Федорович — святой. Каморка. Нет белья, нет постели. Не хочет жалованья”¹⁹.

Тогда же в одном из писем своих Толстой так охарактеризовал Николая Федоровича: „Он по жизни самый чистый христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христова учения, он говорит: „да это разумеется”, и я знаю, что он исполняет его. <...> всегда весел и кроток”²⁰.

Своему другу А.А. Фету (Шеншину) Толстой говорил о Николае Федоровиче:

— Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком.

Эти отзывы чрезвычайно характерны для самого Толстого. Они обнаруживают, что Толстой в Николае Федоровиче прежде всего замечал и ценил то, что действовало на чувство, — наружность и образ жизни Николая Федоровича.

Завязавшееся знакомство повлекло за собою частые и продолжительные, а иногда и очень горячие беседы в крохотной „каморке” Николая Федоровича. Сюда по вечерам, к гостеприимному хозяину собиралось иногда человек 4—6 гостей, среди которых были и Толстой и Влад. Серг. Соловьев. Разговоры нередко переходили в споры. Центром и бесед, и споров был, конечно, Николай Федорович. Его глубокомысленная речь, рассылавшая мысли, как водопад брызги, его остроумные сближения и выводы, его беседы, поражавшие ученостью и образованностью решительно во всех отраслях знания, — такую удивительно осведомленностью во всем, что собеседники называли Николая Федоровича энциклопедистом в самом широком смысле, — эти речи и беседы всегда служили зеркалом для гостей и собеседников Николая Федоровича. Рядом с ним сейчас же, как на весах, обнаруживалось достоинство и внутренний вес его знакомого.

Николай Федорович очень скоро заметил, что граф Л.Н. Толстой не блеснул ни широтой образования, ни глубиной мысли.

Сколько раз, занимаясь собственным переводом Евангелия и

выработкой своей веры, Толстой своими наименьшими вопросами, обращенными к Николаю Федоровичу, обнаруживал перед ним свою элементарную неосведомленность. Даже уже после того, как Толстой закончил печатание своих вероучительных и правоучительных сочинений, был такой случай. Однажды Толстой пришел к Николаю Федоровичу и с полной откровенностью обратился к нему с просьбою:

— Николай Федорович, кто такой был Коперник? Говорят, у него была даже целая система. Правда ли это? Дайте мне что-нибудь почитать о нем...

Надо было видеть Николая Федоровича в такие минуты. От изумления он буквально замирал и несколько мгновений был недвижим. Однако и в такие минуты сознание долга и желание служить людям превозмогали все другие чувства, и Николай Федорович бегом бросался отыскивать нужные книги.

Николай Федорович в своей жизни не знал ни непоследовательности, ни компромиссов. Очень не одобрял он, когда замечал их и в других. Толстой в этом отношении давал богатую пищу для его остроумия.

Проповедуя заповедь о мире с людьми и о прощении обид, Толстой старался дать пример в собственном поведении и выполнял эту заповедь самым примитивным и общепринятым способом. Поспорив, например, с Николаем Федоровичем, даже поссорившись с ним вечером и уйдя от него в раздражении, он на другое утро сам приходил к Николаю Федоровичу и искал примирения. Николай Федорович всегда шел навстречу такому проявлению дружелюбия, но сам находил такое обнаружение любви и смирения весьма неглубоким, поверхностным и не достигающим цели. Он говорил:

— Мнимое примирение увековечивает вражду, скрывает ее. Такое учение и проповедует Толстой: поссорившись накануне, он идет мириться на другой день; он не только не предпринимает никаких мер к предупреждению столкновений, но, по-видимому, высказывает их, может быть для того, чтобы потом заключить непрочный мир²¹.

По поводу „животного критерия“ Толстой говорил, что птица так устроена, что ей надо летать, клевать, ходить, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица.

Николай Федорович очень не одобрял этой философии и говорил:

— Таково новозыческое мудрование гр. Толстого, достоин-

ство которого выразится несравненно яснее, если мы вместо птицы возьмем свинью или борова: свинья или боров так устроен, что ему необходимо постоянно жрать, предаваться сладострастию, пожирать даже своих детей, поросят, и когда он все это делает, он удовлетворен, счастлив, тогда он свинья, боров...

Так же непонятна была для Николая Федоровича и непоследовательность Толстого в отношении к изображениям живописным и фотографическим: изображения, например, святых или иконы Толстой отвергал со всею силою отрицания, доходившею до ненависти, а свои собственные изображения не только допускал, но и содействовал их появлению и распространению, с удовольствием позируя и перед художниками и перед фотографами²². По этому поводу Николай Федорович писал: „Наиболее почитаемое наиболее ненавистно Толстому: ненавидит он чтимые русским народом иконы, а наибольшую ненависть питает он к иконе, которую наиболее почитают, — к иконе Иверской Божией Матери, называя ее в своей ненависти даже злою, и конечно потому, что, признавая за собою только право на всеобщее почитание, он не хочет с кем-либо делить его; отсюда и то, что, отвергая почитание икон, священных изображений, — свои изображения, свои иконы Толстой распространяет всюду, так что если бы собрать все разнообразные иконы Толстого, — а это и будет когда-либо сделано, получится громадный иконостас”²³.

Уже после того как Толстой выработал свою веру, напечатал свое сочинение „В чем моя вера” и осудил и отверг клятву и присягу, однажды он пришел, совсем не в урочное время, к Николаю Федоровичу в каталожную Румянцевского Музея. Николай Федорович редко бывал один, и на этот раз с ним были его сослуживцы, и между ними Д.П. Лебедев²⁴. Неожиданное появление Толстого и какая-то торопливость в его приемах обратили внимание. Толстой объяснил, что пришел за последними справками, так как уезжает в свой уездный город.

— Зачем? — резко спросил Николай Федорович, удивленный, очевидно, необычным временем отъезда.

Толстой, как всегда, наивно и искренно ответил:

— Вот, прислали повестку, меня выбрали присяжным заседателем. Должен ехать судить...

Общее изумление заставило Толстого умолкнуть и прервать свое объяснение. Николай Федорович не выдержал и засыпал вопросами:

-- Как!.. Вы отрицаете присягу и едете присягать?.. Вы отвергаете суд и будете судить?..²⁵

-- Как же мне быть?.. Ведь я не по своей воле... Меня заставляют... Полиция отобрала подписку, что я явлюсь... — пробесал отговориться Толстой, понивший двусмысленность своего положения.

На выручку явился Д.П. Лебедев, доставивший Свод законов и подыскавший статью, по которой налагался штраф за неисполнение обязанности присяжного заседателя. Толстой был очень рад узнать такой простой и легкий выход из своего затруднительного положения и, примирившись с мыслью уплатить штраф, ушел.

Через несколько дней после этого случая вся Россия читала телеграфные сообщения из Тульской губернии о том, что граф Л.Н. Толстой отказался исполнить обязанности присяжного заседателя, как противоречащие его вере.

Не останавливаясь далее на частных случаях, выясняющих отношение Николая Федоровича к Толстому, я перейду к изложению основной разницы в их мироззрениях.

Граф Л.Н. Толстой отрицал способность разума достигнуть познания и не признавал способности воли проявиться в деле.

Николай Федорович, горлчий проповедник бесконечных и неограниченных возможностей, сокрытых в разуме и воле человека, остроумно называл учение Толстого призывом к недуманию и неделанию. Он предусмотрительно провидел, что отрицание теоретического разума вело к наукоборству и забастовкам учащихся, а отрицание разума практического неизбежно влекло за собой забастовки рабочих.

Николай Федорович верил в силу ума и силу воли человека и всю жизнь свою отдал неустанному и добровольному труду, проповедуя всеобщий труд со всеми и для всех. Естественно, что он не мог примириться с отрицанием того дела, которое он признавал единственным для всех, и резко осудил все учение Толстого. По его взгляду, Толстой не понял призыва к миру и, прикрываясь учением о непротивлении — „этой самой злой насмешкой над христианством и над здравым смыслом“, — обратил его в призыв не платить податей, не исполнять воинской повинности, что порождает нестроения, восстания, вражду, т.е. прямо противоположные цели. „До сих пор, — писал Николай Федорович, — *неделание* было теориею, но в забастовках оно переходит в дело и становится величайшим преступлением, ибо под *неделанием*, как и под *непротивлением*, скрывается восстание молодого против старого и господство худшего, не стесняющегося никакими средствами, над лучшим, желающим трудиться”²⁶. Поэтому Николай Федорович часто называл Толстого „яснополянским фарисеем”²⁷ и

даже высказал чрезвычайно оригинальный взгляд на него. „В Толстом, — писал он, — который был другом крепостника Фета (Шеншинна) до самой смерти последнего и восхищался произведением этого писателя ... „Из деревни“, — является мститель за отмену крепостного права: он жаждет разрушения государства и под маской крайнего либерализма призывает к отказу от воинской повинности, к неплатежу податей, без которых государство существовать не может...”²⁸

В итоге Николай Федорович считал всю философию Толстого лицемерием. По его словам, „обесценение жизни составляет первую основу философии Толстого, а лицемерие — вторую ее основу. Лицемерие составляет силу Толстого, как это было и у фарисеев. Наш век в лице Толстого имеет такого представителя, какого он достоин и с которым он вместе лицемерит, будто бы не замечая того, что скрывается под проповедью *непротивления*”²⁹.

Последний конец учения Толстого приводил, по оценке Николая Федоровича, как раз к противоположному всего того, что в начале и на словах ставилось целью. „Когда, — говорил он, — к требованию разъединения, этому требованию Толстого и вообще нашего времени, кроющемуся под вопросами о *свободе мысли, о свободе совести*, то есть о свободе бесконечных блужданий, создающей чрезвычайно множество философских учений, одно другое опровергающих, — если к требованию о разъединении присоединить еще требование Толстого об объединении, об объединении на *недумание и неделание*, прямым приложением которого было приглашение к забастовкам, обращенное к студентам, а наконец и ко всем, — к забастовкам, как „*единственному средству спасения*”, как это говорится в заглавии приглашения или прокламации, — тогда станет очевидным, что Толстой, сознательно или же бессознательно, требует уничтожения труда, как умственного, так и физического или механического, требует, следовательно, уничтожения разума, воли; и это согласно, конечно, с учением о нирване, о нирване уже не трансцендентной, а имманентной, т.е. самими создаваемой. <...> Не есть ли это полное отрицание разума, воли, вообще — жизни. Вот явился, наконец, искупитель, спаситель, который хочет *жизнью жизнь поправить и всем смерть даровать!*”³⁰

Столь резкое расхождение в мировоззрениях, доходившее до взаимного исключения друг друга, делало самый разрыв между мыслителями уже только вопросом времени, но неизбежным. И этот разрыв между Николаем Федоровичем и графом Л.Н. Толстым наконец наступил, разрыв окончательный и бесповоротный,

после которого и Толстой не пришел на другой день искать примирения.

Дело было в 1892 году.

Голодный 1891 год Толстой провел среди голодающих, устраивал столовые и всячески помогая голодным пережить бедствие.

Николай Федорович очень сочувствовал помощи голодающим, но не верил искренности Толстого и опасался того, что Толстой принесет в деревню не мир, а вражду. Но и Николай Федорович не ожидал, чтобы Толстой открыто выступил с призывом к восстанию и междоусобию. А именно такой призыв к мятежу и междоусобию он усмотрел в известном письме Толстого о голоде, напечатанном в Лондоне³¹. Тягчайшего преступления, чем братоубийство и призыв к нему, Николай Федорович не знал, и, прочитав лондонское письмо Толстого, Николай Федорович в ужасе выкинул автора его и из своего сердца и из своей памяти.

Вернувшись в Москву, Толстой поспешил зайти в Музей к Николаю Федоровичу.

Уже был четвертый час на исходе, и московские сумерки уже царили по залам и коридорам Музея. Солдаты уже затворили большинство ставней, и Николай Федорович пригласил меня, остановившегося с ним в каталожной, закончить занятия и уходить с ним. Едва мы повернули по коридору налево, как в глубине коридора я отчетливо увидел фигуру Толстого, торопившегося навстречу Николаю Федоровичу. Я передал Николаю Федоровичу свое наблюдение и сразу же был поражен неудовольствием, которого не скрыл Николай Федорович. Заложив руки за спину, он резко остановился, сказав:

— Что ему надо?

И сейчас же предупредил подходившего к нему Толстого вопросом:

— Что вам угодно?

— Подождите, — отвечал Толстой. — давайте сначала поздороваемся... Я так давно не видел вас.

— Я не могу подать вам руки... Между нами все кончено...

Николай Федорович нервно держал руки за спиной и, переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.

— Объясните, Николай Федорович, что все это значит? — спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.

— Это ваше письмо напечатано в "Daily Telegraph"?

— Да, мое.

— Неужели вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.

— Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся...

Но Николай Федорович остался непреклонным, и Толстой с выдимым раздражением повернулся и пошел...

На другой день в Музее с удивлением все узнали, что Толстой, выйдя из Музея, пошел на Тверской бульвар к директору Румянцевского Музея В.А. Дашкову, который жил в своем доме, рядом с домом обер-полицеймейстера, и принес ему жалобу на Николая Федоровича, за грубое и невежливое обхождение с ним...

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Г.П. Георгиевский познакомился с Федоровым в 1890 г., когда тому было 62 года.
- 2 Г.П. Георгиевскому было 24 года.
- 3 Языков Дмитрий Дмитриевич (1850—1918) — историк литературы, библиограф, автор продолжающихся библиографических указателей, называвшихся „Русские писатели и писательницы, умершие в ... году”.
- 4 Бартенев Юрий Петрович (1866—1908) — историк, сын П.И. Бартенева (см. прим. 12).
- 5 Федоров был незаконнорожденным сыном кн. П.И. Гагарина.
- 6 Об этом пальто рассказывал Л. Толстой: „Когда я раз пришел к нему весной, увидел легкое пальто и спросил его: „Вы уже надели легкое пальто?” Он ответил: „Христос сказал: если имеешь две одежды, отдай нищему, а у меня два пальто”. И с тех пор он уже всегда носил только легкое пальто”. (*Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого. М., 1959, с. 128).
- 7 В деле Федорова (ГБЛ) сохранилось несколько отпускных билегов на каникулярное время и один ответ на полицейский запрос.
- 8 *Весы*, 1904, № 6.
- 9—10 *Весы*, 1904, № 2, с. 20. Об истории этого рисунка, сделанного с натуры втайне от Федорова, см. в кн.: *Пастернак Л. О.* Записи разных лет. М., 1975, с. 144.
- 11 Между Остоженкой и Кропоткинской набережной.
- 12 Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — археограф, библиограф, основатель и редактор журнала „Русский архив”.
- 13 Барсуков Николай Платонович (1838—1906) — историк, археограф, библиограф.

- Стороженко Николай Ильич (1836—1906) — историк литературы, библиотекарь Румянцевского музея, профессор Московского университета.
- 15 Речь идет о статье Г.П. Георгиевского „Из воспоминаний о Николае Федоровиче”, опубликованной под псевдонимом „П.Я. Покровский” („Московские ведомости”, 1904, № 23).
- 16 Дашков Василий Андреевич (1819—1896) — этнограф, директор Московского публичного и Румянцевского музея.
- 17 *Достоевский Ф.М.* Письма. Т. 4. М., 1959. С. 9. Подробно см.: *Горностаев А.К.* Рай на земле. К идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Достоевский и Н. Федоров. <Харбин>, 1929.
- 18 Соловьев В.С. Письма. Т. 2. СПб., 1909. С. 345. См. вступит. статью.
- 19 Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 49. С. 58.
- 20 Из письма В.И. Алексееву (ноябрь 1881 г.) — Полн. собр. соч. Т. 63. С. 81.
- 21 Соч., с. 63.
- 22 Кроме живописных и скульптурных изображений имеется несколько тысяч фотографий Толстого, сделанных репортерами, друзьями, родственниками. В.Г. Чертков пригласил специального фотографа, постоянно снимавшего Толстого. См., в частности: Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. III. Л.Н. Толстой. М.—Л., 1954.
- 23 Философия общего дела. Т. 1. С. 437.
- 24 Лебедев Дмитрий Петрович (1852—1891) — историк, археограф, хранитель отдела рукописей Московского публичного и Румянцевского музея (1883—1891).
- 25 Сам Федоров постоянно отказывался от повышения жалованья, т.к. — в числе прочих причин — определенный имущественный ценз обязывал выполнять функции присяжного заседателя.
- 26 Философия общего дела. Т. 1. С. 437.
- 27 Там же. С. 434.
- 28 Там же. С. 437.
- 29 Там же. С. 438.
- 30 Там же. С. 435.
- 31 Статья „О голоде” не могла быть опубликована в России по цензурным условиям и появилась впервые в английском переводе в газете „Daily Telegraph” 14(26) января 1892 г. Печатая в обратном переводе выдержки из этой статьи, газета „Московские ведомости” (1892, 22 января) писала:

„Письма гр. Толстого... являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда”.

Т.Л. Никольская

К.К. ВАГИНОВ

(Канва биографии и творчества)

Константин Константинович Вагинов (Вагенгейм) родился в Петербурге 4 (16) апреля 1899 г. Его отец, офицер Константин Адольфович Вагенгейм¹, происходил из давно обрусевшей немецкой семьи, пустившей корни в Петербурге еще в XVIII в.² Мать поэта, Любовь Алексеевна, дочь богатого сибирского помещика, владела в Петербурге несколькими домами. Родители Вагинова серьезно интересовались литературой и искусством. В обширной библиотеке отца имелись книги древнегреческих и римских авторов, средневековые издания на немецком, французском и итальянском языках, литература по истории и археологии. Атмосферу своего детства Вагинов воссоздал впоследствии в романе „Козлиная песнь“: «После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался Гиббон и всяческая археология. В соседней комнате, в гостиной, мать играла „Молитву девы“. В своей комнате младший брат читал Нат-Пинкертон».

В юношеские годы Вагинов увлекался коллекционированием золотых и медных старинных монет, чтением „Истории упадка и разрушения римской империи“ Э. Гиббона, Овидия, Э. По, Ш. Бодлера³. Образование получил в славившейся своим демократизмом частной гимназии Я. Гуревича, где проучился с 1908 по 1917 г.⁴ В 1913 г. совершил единственное за свою жизнь большое путешествие по Каспийскому и Черному морям и Кавказу.

Стихи Вагинов начал писать с семнадцати лет. О его ученических опытах дает представление рукописный сборник, содержащий 94 стихотворения 1917 г., подаренный поэтом К.М. Маньковскому⁵. Программное стихотворение сборника посвящено Ш. Бодлеру. В восприятии автора Бодлер — богоборец, трагичес-

кий паиц, выпускающий „в белые туманы зловещих призраков из своей груди“. Заимствуя у своего кумира⁶ позу отверженного поэта, Вагинов восклицает „Я должен не быть собой“ и бравивирует кощунством и антиэстетизмом. Подобно Бодлеру и Де Квинси⁷, юный поэт ищет спасения от серых будней в мире грез, для погружения в который порой прибегает к искусственным средствам. В стихах Вагинова наряду с Бодлером ощутимо знакомство с поэзией русского футуризма, в частности с творчеством В. Маяковского и Д. Бурлюка⁸. Сложные метафоры, такие, как „пока тоска не захватит, как исполин хватает карлика на эстраде“, близки образной системе В. Шершеневича. Урбанистические пейзажи, рисующие сдвигающиеся стены домов, готовые раздавить людей, которые пытаются вырваться из городских оков, напоминают образ города Е. Гуро. Но, в отличие от Гуро, Вагинов противопоставляет городу не живую реальную природу, а несуществующие старинные парки, сошедшие с картин мирискусников, вытканые на гобеленах цветы. Во многих стихах перепеваются фофановские мотивы о принцессах в хрустальных замках, стилизуются песенки Вертинского.

Центральные темы вагиновского творчества — судьба культуры в современном мире, Петербург как хранитель европейской культуры, гибель античных богов — уже намечены в юношеских стихах. Здесь впервые появляется образ истощенного, бледного Аполлона с печальным и мутным взором. В одном из стихотворений Христос и Аполлон, ставшие „простой игрушкой людей“, превратились в изгнанников, тоскующих в далекой снежной Сибири о былом величии. Петербург предстает в ранних стихах Вагинова как в прошлом „знаменитый Парадиз“, северная Венеция, превратившаяся ныне в мертвый город, в котором „бьет свинцовая вода“ и „кошмары готовят окозы“. Поэт предсказывает гибель города, после которой последует его воскрешение как языческого центра и история пойдет по новому кругу.

В ряде ранних стихов Вагинов размышляет о природе поэтического слова, описывает свое эмоциональное восприятие звуков речи, наделяя звуки, вслед за Рембо и Бальмонтом, цветом, вкусом и ароматом. Подобно заумникам, он декларирует, что посредством подбора звуков можно нарисовать картину⁹.

События революции не нашли прямого отражения в рукописном сборнике. Однако по отдельным строфам и строкам можно судить о неоднозначности восприятия перемен. С одной стороны, поэт заявляет, что ему душно в искусственном мире

воображения, надоело позерство, и призывает к разрушению старого:

Нового! Ради бога нового!

Жгите старое, хотя бы и хорошее.

С другой — боится новой действительности, в которой „все должно быть равным, плоским”.

В августе 1917 г. Вагинов поступил на юридический факультет Петроградского университета, где фактически проучился всего несколько месяцев, хотя продолжал по документам числиться студентом до осени 1921 г.¹⁰ В 1918 г. он был мобилизован в Красную Армию, воевал на польском фронте и за Уралом. В 1921 г. вернулся в Петроград и до демобилизации в апреле 1922-го служил военным писарем [91, с. 213]. Вернувшись в родной город, Вагинов сразу же погрузился в литературную жизнь: „Состоял во всех петербургских поэтических организациях: Цех поэтов, Островитяне, Зв<учащая> раковина и пр.”, — писал он в автобиографии в 1923 г. „Маленького роста, худой, с детской улыбкой и грустными карими глазами, он носил коричневый френч, а поверх него огромную шинель отца-полковника, в которой жалко утопал”, — таким запомнился поэт поэтессе Вере Лурье, познакомившейся с ним осенью 1921 г. [42].

Первым литературным кружком, в который вошел Вагинов, было „Аббатство гаеров”, состоявшее из молодых поэтов К. Маньковского, Владимира и Бориса Смиренских. Участники этого скорее дружеского, чем литературного, объединения носили на левой руке четки из янтаря и писали стихи в манере эгофутуризма. В марте 1921 г. по инициативе братьев Смиренских было образовано „Кольцо поэтов им. К.М. Фофанова”, одним из ведущих членов которого стал Вагинов. Для вступления в группу по выработанному Смиренскими уставу требовались склонность к „самостоятельному творчеству”, „влечение к высокому и непонятному”, но прежде всего интерес к поэзии Фофанова¹¹. „Кольцо поэтов” планировало издание полного собрания сочинений Фофанова, монографий о нем, выпуск альманахов и книг членов „Кольца”. Гонорар от изданий должен был поступать наследникам Фофанова — почетным членам группы. Для финансирования изданий были установлены членские взносы, приглашения вступить в „Кольцо поэтов” разосланы огромному количеству литературных деятелей, большинство которых ответили согласием, хотя активного участия в деятельности общества не принимали¹². Из обширной программы изданий под маркой „Кольца поэтов” вышло лишь несколько стихотворных сборников Владимира и

Бориса Смиренских, монография В. Смиренского „Александр Александрович Измайлов” и первый печатный сборник К. Вагинова „Путешествие в хаос”. Осенью 1922 г. „Кольцо поэтов” по неизвестным нам причинам было закрыто.

В 1921 г. Вагинов начал заниматься и в студии Гумилева, занятия которой проходили в хорошо известном по мемуарной литературе Доме искусств (Диске). В августе 1921 г. он был принят в „Цех поэтов” в качестве „подмастерья” и примерно в то же время в руководимый Гумилевым „Союз поэтов”. Входил он и в кружок „Звучащая раковина”, состоявший из ряда членов студии. Поэзия Вагинова не укладывалась в цеховые рамки и была чужда Гумилеву, однако он как ценитель стиха сумел распознать талантливость своего ученика (см. воспоминания И.М. Наппельбаум, публикуемые в настоящем сборнике). Г. Адамович писал, что Гумилев „не сочувствовал Вагинову, но<...> всегда выделял его из числа остальных своих слушателей, как отделяют поэта от ремесленника” (об участии Вагинова в студии и „Звучащей раковине” см. [7; 12]).

В отличие от обращенного в недавнее прошлое „Кольца поэтов” и академического „Цеха поэтов” группа „Островитяне”, образованная в июле 1921 г. по инициативе Н. Тихонова, С. Колбасьева и К. Вагинова, представляла собой товарищество, в котором без нивелировки и обезлички могли развиваться молодые поэты различных творческих индивидуальностей. Задачей этого поэтического содружества была „борьба с духом академизма и цеха в поэзии, комнатного затворничества”¹³. В сентябре 1921 г. „Островитяне” выпустили машинописный сборник, в который вошли стихи Вагинова¹⁴. Первый и единственный печатный сборник „Островитяне” вышел весной 1922 г. (на обложке декабрь 1921-го). Он включал стихи Вагинова, Колбасьева и Тихонова. Стихам не было предпослано предисловия или декларации, что подчеркивало установку группы на художественную практику. Планировавшийся на февраль 1922 г. второй типографский сборник группы и анонсированная книга стихов Вагинова „Петербургские ночи”¹⁵ изданы не были. Как и большинство литературных группировок начала 20-х годов, „Островитяне” просуществовали недолго. К 1924 г. объединение окончательно распалось, хотя его члены долгие годы поддерживали дружеские отношения.

Одновременное участие Вагинова в группировках различной, подчас враждебной ориентации, как, например, „Островитяне” и „Цех поэтов”¹⁶ (он дружил также с петроградскими имажинистами В. Эрлихом и Г. Шмерельсоном), не было случайным. Поэту

был свойствен отмеченный современниками интерес к людям, „желание прислушаться и понять другого, найти в каждом подлинное и талантливое” [42]. В то же время, будучи всюду своим, Вагинов с самого начала своего пути не укладывался ни в одну схему, всегда в творческом отношении стоял в любой группе особняком.

С начала 20-х годов стихи Вагинова изредка появляются в петроградских журналах и альманахах, но его подлинным литературным дебютом была книга „Путешествие в хаос”, вышедшая осенью 1921 г. в издательстве „Кольцо поэгов” тиражом 500 экземпляров. В сборник вошло 17 стихотворений. Большинство из них связано образом хаоса — „арапа с больших окраин”, заявляющего о себе завыванием бури, сметающей все на своем пути. Вихревая стихия хаоса уподобляется табуны диких лошадей. Однако напрашивающиеся ассоциации со „Скифами” Блока оказываются поверхностными. Поэт воспекает не азиатскую стихию России, а пытается осмыслить в контексте мировой истории смену культур, сопровождающуюся бурными потрясениями. В свое время христианство, став государственной религией, разрушало храмы языческих богов — теперь разрушаются христианские святыни, и жена Иосифа качает над сумеречным миром пустую колыбель. В культурологической концепции Вагинова ощутимо знакомство не только с „Историей упадка и разрушения римской империи” Э. Гиббона, но и с работами Данилевского и Шпенглера¹⁷. Но Вагинов не заимствовал шпенглеровского пессимизма: в его поэтическом мире за черной ночью хаоса почти всегда брезжит рассвет.

Трактовка евангельских образов в стихах Вагинова далека от канонической. Иисус предстает в ипостаси шута в колпаке с бубенцами. Бог-отец тоже „больной одинокий паяц”. Непосредственный источник такой трактовки нам установить не удалось, хотя ряд параллелей напрашивается сам собой¹⁸.

Стихи „Путешествия в хаос” имеют подчеркнуто вневременной характер. Если сравнить печатный текст с черновиками, можно заметить, как Вагинов сознательно исключал из текста приметы времени и конкретные реалии. Поэтику книги характеризует сложная метафорическая система, разрыв логических связей, подбор слов по звуковой близости. Эти особенности разовьются в последующих двух сборниках Вагинова.

„Путешествие в хаос” было замечено критикой. В Рождественский в рецензии на книгу писал: „Константин Вагинов — совсем молодое имя, вынесенное на берег невской бурей послед-

них лет. Это — ночной голос, тревожный и горький. Первая книга „Путешествие в хаос” еще младенчески беспомощная, лишенная композиционных заданий, построенная исключительно на звуковом опущении отдельных слов, но уже исполненная пророческого бреда” [75]. Вагинов критически отнесся к своей первой книге. Он скупал нераспроданные экземпляры, дописывал и переделывал многие стихи и в исправленном виде дарил сборник друзьям. Большие надежды поэт возлагал на оставшийся неизданным сборник „Петербургские ночи”, в который вошли стихи, объединенные темой Петербурга. „В книге отражается Петербург не современный, а, надеюсь, и вечный, его одинокая борьба и жизнь одного из его жителей”, — писал поэт в частном письме [91, с. 217]. В. Рождественский, знакомый с текстом „Петербургских ночей”, отмечал, что в этой книге Петербург предстает „в динамике, в неведомом плавании” [75, с. 3].

Из многочисленных литературных знакомств Вагинова, пожалуй, наиболее важным для его поэтического самоопределения стало сближение с группой эмоционалистов, лидером которой был М.А. Кузмин, а основными участниками Анна и Сергей Радловы, А. Пиотровский, Ю. Юркун, В. Дмитриев. Эта группа составила ядро альманаха „Абраксас”¹⁹, выходившего в Петрограде в 1922—1923 годах. Общим для творческого метода эмоционалистов было сопряжение отдаленных эпох, временные сдвиги, смешение образов, динамичность действий²⁰. Как отмечал А. Пиотровский в рецензии на первый номер альманаха, „сосредоточенное внимание к участи души человеческой, своеобразный мистицизм роднит их. Александрийская гностическая мудрость Кузмина, более элементарная, более национальная окраска ее у Радловой, немножко от Достоевского идущий психизм у Юркуна, у Вагинова, совсем еще молодого, страшная взволнованность лирической души...” [70]. Особенно интересен Вагинову был М. Кузмин, автор „Александрийских песен”, близкий в начале своей литературной деятельности „Миру искусства”, а в пореволюционные годы соединивший интерес к гностицизму с увлечением В. Хлебниковым. По свидетельству современников, Вагинов был любимым учеником Кузмина²¹. Интерес к античности связывал Вагинова и с А. Пиотровским.

В „Абраксасе” печатались не только стихи Вагинова (во всех трех выпусках), но и проза — „Монастырь господ нашего Аполлона” (в вып. 1) и „Звезда Вифлеема” (в вып. 2). Первая представляет соединение трактата о поэтике с эсхатологическим пророчеством²². „Звезду Вифлеема” отличает динамичность дейст-

вия, не присущая остальной прозе Вагинова. Отдельные эпизоды текста смонтированы подобно кинокадрам. С калейдоскопической быстротой действие переносится из Рима в Россию, из XVIII века в XX, обрывки снов перемежаются документальными вставками. Эпизоды объединены впервые появившимся у Вагинова образом Филострата, бегущего сквозь времена и страны.

В 1923—1926 годах Вагинов учился на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств. В эти годы он сближается с формалистами, в особенности с Б.М. Эйхенбаумом, а также с Б.М. Энгельгардтом²³. С Ю. Тыниновым помимо институтских стен Вагинов встречался в доме Н. Тихонова²⁴ (ср. ВТЧ, с. 176). Одновременно Вагинов знакомится с М.М. Бахтиным, Л.В. Пумпянским, П.Н. Медведевым. Местом их встреч была квартира пианистки М.В. Юдиной. На вечерах у Юдиной, где Вагинов неоднократно читал стихи, устраивались научные заседания, читались доклады и сообщения. В 1926 г., когда вышла из печати вторая стихотворная книга Вагинова, в доме Юдиной был устроен посвященный ему вечер, краткое описание которого содержится в письме П.Н. Лукницкого к Л. Горнунгу от 3.6.1926: „Сегодня был на вечере, посвященном творчеству К. Вагинова, — вечер был закрытый и происходил в частной (зато — огромной) квартире. Читал длинный замысловатый, а в общем неудовлетворительный доклад о Вагинове — Пумпянский. Потом он же читал стихи Кости, не вошедшие в книгу (начиная с 21 г.), и всю книгу. Вечер закончился чтением самим Вагиновым стихов, написанных после выхода книжки, а их немало”²⁵.

Сама Юдина была одним из немногих подлинных ценителей поэзии Вагинова, умевших глубоко проникнуть в ее ускользающую от непосвященного суть. В письме М.Ф. Гнесину от 8.5.1926 она писала: «<...>Сейчас надо научить слушателя активному восприятию — надо, чтобы у него работала фантазия, чтобы расширялась „изменение образов”, бесконечную нагруженность, как у зрелого плода <...>есть один поэт, Вагинов (молодой, но необычный), у него где-то сказано: „Не в звуках музыка — она во изменении образов заключена — Читаешь книгу — вдруг поет необъяснимый хоровод”, там же сказано: „И предо мною слово — точно коридор”, там же — „Как путешествие под бурною луной”. Вот вызвать слушателя следовать за собою „по коридору” понятий, образов, целых пластов культуры и мира — вот об этом я мечтаю» [94].

В сборник (без названия) 1926 г. вошли стихи, написанные

помом в 1923--1925 годах. Вагинов остается в кругу своих любимых тем. По-прежнему античность, любовь и трагически воспринятая, переплетается с сегодняшним днем, многоступенчатые ассоциативные связи заменяют логические. Но круг античных образов изменился. Аполлона вытесняет сквозной образ Филострата, прекрасного юноши, лишь отдаленно соответствующего с авторами „Картин“ и „Жизнеописания Аполлония Тианского“. Вагиновский Филострат — своеобразная ипостась Орфея и alter ego лирического героя, носитель мифопоэтического сознания, одновременно находящийся в прошлом и в настоящем. Стих поэта претерпел значительные изменения. Отказываясь от броских „инженинерских“ метафор, Вагинов незаметными сдвигами — сознательно неточной, но неизощренной рифмой, соединением несоединимых понятий (Г. Адамович сопоставлял его стихи с сюрреализмом П. Элюара [5]), принадлежащих, однако, к одному лексическому пласту, используя архаизмы и образованные на их основе неологизмы, — создает новую для себя поэтическую систему. Если ранние стихи Вагинова Адамович справедливо сравнивал с картинами Чурлениса [4], а Брюсов писал, что Вагинов берет приемы образа у футуристов [15], то к стихам второй книги эти сравнения вряд ли приложимы. Обращение к античности, метод „клавишных“ ассоциаций сближают Вагинова с Мандельштамом²⁶, но преувеличивать эту близость не следует. Поэты идут во многом близкими, но разными путями, что не исключает отдельных совпадений или заимствований²⁷.

Часть критиков видела в поэзии Вагинова этих лет воскрешение символизма, „как-то по-новому проведенного через XVIII век и богато обогащенного им“; ср. характеристику Вагинова как „пережившего становление символиста“ [62]. Однако и эти утверждения справедливы лишь отчасти. Точки соприкосновения имеются у Вагинова с Вяч. Ивановым, творчеством которого он интересовался (архаистическая лексика, интерес к дionисийству), и в ранней поэзии — с Бальмонтом. Возможно, источники сложной образной системы поэта следует искать в западной поэзии, не только новой, но и поэзии барокко, в первую очередь Гонгоры, восхищенные отзывы о творчестве которого встречаются в романе Вагинова „Козлиная песнь“.

Со второй половины 1926 г. Вагинов начинает работать над прозой, занимается переводами, пишет внутренние рецензии на французские романы²⁸. В 1927 г. в журнале „Звезда“ печатается „Козлиная песнь“²⁹, вышедшая в 1928 г. отдельным изданием. Этот роман, ярчайший образец петербургской прозы, связан

генетически с петербургскими повестями и „Бобком“ Достоевского, а также с „Петербургом“ А. Белого. Как отмечает В.И. Топоров, проза Вагинова представляет собой „как бы отходную по Петербургу, уже по сю сторону столетнего петербургского текста“. Словно опытный врач, Вагинов пристально рассматривает все стадии духовного конформизма последних носителей петербургской культуры — ученого Тептелкина и его друзей, и одновременно гибели Петербурга — „новых Афин на Певе“ [36]. „Козлиная песнь“ — интеллектуальный роман, до предела насыщенный явными и скрытыми цитатами, аллюзиями и реминисценциями; в то же время это самый поэтичный и исповедальный роман из всей вагиновской прозы.

Большинством современников „Козлиная песнь“ была принята в первую очередь как роман „с ключом“³⁰. «Много разговоров о „Козлиной песни“ Вагинова, — писал И. Басалаев. — Книга эта, если можно так выразиться, — о крушении современных „гуманитариков“. Герои списаны чуть ли не со всех ленинградских писателей и поэтов, начиная с Блока и Кузмина и кончая Лукницким. Интерес к книге, разумеется, обостренный, втихомолку подсмеиваются друг над другом. А Вагинов ходит со скромным видом великодушного победителя, делая лицо непойманного вора»³¹. Сам Вагинов в рукописном предисловии к „Козлиной песни“, вписанном в экземпляр романа, хранившийся в собрании М.С. Лесмана, советовал читателям сопоставлять книгу с другими литературными произведениями, а не с живыми людьми. В большинстве рецензий признавался талант автора, но книге давалась отрицательная оценка³². В 1929 г. по инициативе К. Федина планировалось переиздание романа, но осуществлено оно не было³³.

В 1929 г. в „Издательстве писателей в Ленинграде“ вышел второй роман Вагинова „Труды и дни Свистонова“, в котором автор демонстрирует технологию создания книги. Отчасти пародуя собственную творческую манеру, Вагинов в то же время отталкивается от положения ранних формалистов об искусстве как совокупности приемов, доводя его почти до абсурда. Действие „Трудов и дней Свистонова“ происходит не в Петербурге с присущим ему мифом, а в демифологизированном Ленинграде. Ни сам писатель Свистонов, рассматривающий мир как куст-камеру, ни герои его будущего произведения, мечтающие попасть в роман, не вызывают авторских симпатий. Интерес к разного рода чудакам, людям с ущербной психикой сближает Вагинова-прозаика с такими ленинградскими писателями, как М. Козаков,

И. Баршев, Л. Борисов. В то же время аналог романа о романе представлен в европейской литературе „Болотом” А. Жида (сопоставление этих романов см. [88]).

Последними творческими группами, с которыми сблизился поэт в конце 20-х годов, были кружок эллинистов АБДЕМ³⁴ и Объединение реального искусства — ОБЭРИУ, противоположные по своим интересам. С кружком молодых античников Вагинов подружился в 1927 г. Один из них — А. Миханков прочел стихотворение Вагинова „Эллинисты”, опубликованное в альманахе „Ларь” (Л., 1927), и предложил абдемитам познакомиться с поэтом. Переводчики экспромтом пришли к Вагинову в гости. Тот стал регулярно посещать занятия АБДЕМа, проходившие по типу домашних семинаров. В присутствии поэта было прочитано четырнадцать трагедий Эсхила и Софокла. Вагинова привлекал дословный перевод греческого текста, который он старательно записывал. С А. Егуновым Вагинов начал заниматься греческим языком, пробовал переводить „Дафниса и Хлою” Лонга и „Любовные письма” Аристенеды. Когда трагедии были прочитаны, Вагинов перестал посещать занятия кружка, но дружеские связи с абдемитами продолжались. Вдова А. Болдырева Марианна Федоровна вспоминает о совместных посещениях вагиновской квартиры, чаепитиях при свечах (Вагинов не терпел электрического освещения), обсуждении „Гавриилиады” Пушкина, чтении вслух отрывков из романа Гюисманса „Наоборот”, стихов Рильке³⁵.

Самой авангардистской группой из всех, в которых участвовал Вагинов, были ОБЭРИУТЫ. Вагинов вместе с Д. Хармсом, А. Введенским, Н. Заболоцким, И. Бахтеревым, Ю. Владимировым и Д. Левиным входил в литературную секцию ОБЭРИУ, выступал на знаменитом вечере „Три левых часа” в ленинградском Доме печати³⁶. Тема взаимодействия творческих систем Вагинова и ОБЭРИУтов является предметом специального исследования. Отметим только, что в художественном отношении наиболее близким к Вагинову поэтом этой группы был Н. Заболоцкий [81]³⁷. Более далеки от Вагинова Д. Хармс и А. Введенский, хотя один из критиков еще в 1926 г. отметил, что Хармс, отходя от зауми, начал писать стихи, „по фактуре приближающиеся к Вагинову” [62].

Двадцатые годы сменились тридцатыми, был выдвинут лозунг о призыве ударников в литературу. Вагинов вместе с Н. Чуковским стал вести литературный кружок на ленинградском заводе „Светлана”, подготовил к печати книги кружковцев „Светланов-

ские рассказы” и „Путешествие вокруг Европы на теплоходе Украина” Л. Ивановой. Один из участников кружка слесарь А.А. Кагралов вспоминает, что „под присмотром Вагинова кружковцы читали и разбирали Достоевского, Пушкина, Вальтер Скотта, Гюго и других писателей”³⁸. Кружковцы бывали и в квартире поэта.

В 1931 г. был издан последний поэтический сборник Вагинова „Опыты соединения слов посредством ритма” (с доброжелательным предисловием, автором которого, по словам вдовы поэта, был В. Саянов), куда вошли стихи из книги 1926 г. и ряд новых, в том числе отрывок из драматической поэмы „Филострат”. Полностью поэма уже вряд ли могла быть напечатана в эти годы. Тематически связанная с „Пиром во время чумы” Пушкина, она посвящена укрывшимся в замке последним представителям чистого искусства, свободного от социального заказа. Изменение литературной и общественной атмосферы показано в заключающей поэму речи „Начальника Цеха”, который призывает к физическому уничтожению „непокорных”³⁹.

В том же году вышел третий роман Вагинова „Бамбочада”. Здесь появляется новый для него герой, — не отягощенный грузом прошлого, бескорыстный обаятельный авантюрист, литературная родословная которого восходит к плутовским романам XVIII века.

В 30-е годы обострилась тяжелая болезнь Вагинова — туберкулез. Он ездил в санатории, но лечение не помогло. Уже тяжелобольным писатель работал над своим последним романом „Гарпагогиана” — самым мрачным из его произведений. В книгу обильно введены городской фольклор, записи подслушанных на улице „макаберных историй”. Не ограничиваясь более изображением интеллигенции, Вагинов вводит в роман представителей уголовного мира⁴⁰.

В последние годы своей жизни Вагинов пишет стихи в новой манере, переходя от привычной усложненности к классической ясности. Эти стихи должны были составить сборник „Звукopodobие”, но он не был опубликован при жизни поэта,

26 апреля 1934 г. Вагинова не стало. Друзья похоронили его на Смоленском кладбище рядом с блоковской дорожкой. Страница газеты „Литературный Ленинград” (1934, 30 апр.) была отдана под некрологи Вс. Рождественского и Н. Чуковского. В коллективном некрологе говорилось: „Облик Кости Вагинова был отмечен чертами исключительного личного обаяния. Строгий и требовательный к себе, замкнутый в сфере своих творческих

замыслов, до предела скромный в оценке собственных достижений, он с искренним сочувствием относился к работе своих товарищей по литературе и оставил по себе долгую и прочную память в поэтическом содружестве последних лет как тонкий и изысканный мастер, прекрасный товарищ, вдумчивый и взыскательный друг”.

Но история на этом не закончилась. Вскоре после смерти поэта арестовали его отца. При обыске забрали черновики романа о 1905 годе, над которым трудился Вагинов.

В течение почти тридцати лет Вагинов был прочно забыт. Только с середины 60-х годов в мемуарной литературе стало изредка мелькать его имя [24; 37; 14]. Появилось несколько публикаций стихов⁴¹ и статей о его творчестве. Но ни романы, ни стихи, вышедшие при его жизни, у нас не переизданы. Между тем интерес к этому тонкому поэту и оригинальному прозаику растет во всем мире. Стихи Вагинова переведены на ряд иностранных языков и включены в зарубежные антологии русской поэзии. Роман „Бамбочада” вышел на итальянском языке. Репринты двух стихотворных сборников и двух романов Вагинова изданы в США, где, как нам известно, творчество Вагинова стало темой докторской диссертации. Назрела необходимость серьезного изучения творчества Вагинова и на родине поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В 1915 г. К.А. Вагенгейм сменил фамилию на Вагинов.
- 2 Как отмечает Л. Чертков, один из предков К.А. Вагенгейма — врач — лечил Пушкина и В. Одоевского [91, с. 213].
- 3 Вагинов К. Автобиография (1923). — РО ИРЛИ, Р 1, оп. 4, л. 1.
- 4 ЛГИАЛО, ф. 171, № 497.
- 5 Сборник представляет собой альбом малого формата (9×7 см). Передан вдовой Маньковской в РО ИРЛИ. Константин Максимович Маньковский (1904—1937), литератор, автор сценария фильма Эрмлера „Дети бури” (1926), один из первых литературных друзей Вагинова.
- 6 В автобиографии (1923) Вагинов указывал, что начал писать стихи «под влиянием „Цветов зла” Бодлера» — РО ИРЛИ, Р 1, оп. 4, л. 1.
- 7 Книга Де Квинси „Исповедь англичанина, употреблявшего опиум” (СПб., 1834) имела в библиотеке отца поэта.

- Знакомство с Маяковским ощутимо в городских пейзажах Вагинова. Антиэстетизм Бурлюка, возможно, один из источников таких вагиновских образов, как солнце — „проклятый сводник”, „багровый идиот”. Вагинов жил в доме по Екатерининскому каналу, 105, расположенном рядом с театром на Офицерской — „Луна-парк”, где в декабре 1913 г. была поставлена трагедия Маяковского „Владимир Маяковский” и опера „Победа над солнцем” А. Крученых.
- 9 Знакомство Вагинова со „Сборниками по теории поэтического языка” вряд ли возможно в этот период.
 - 10 ЛГАОРСС, ф. 3026, оп. 1, № 329, л. 3.
 - 11 Устав Кольца поэтов им. К.М. Фофанова. — ЛГАОРСС, ф. 1001, оп. 6, д. 101, л. 13—25.
 - 12 В письме братьев Смиренских Ф. Сологубу от 1922 г. среди членов „Кольца” названы А. Белый, А. Ремизов, А. Ахматова, М. Кузмин, А. Волынский и мн. другие (РО ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 880). В печатной афише „Кольца поэтов” зарифмованы фамилии пятидесяти членов „Кольца” (РО ИРЛИ, ф. 282, ед. хр. 91). Примером пассивного членства может служить заявление А. Грина: «Прошу Вас, если Вы этого желаете, считать меня членом „Кольца»» (РО ГПБ, ф. 414, собр. Б.Ф. Лаврова, № 21 (б.д.)). Кроме Смиренских и Вагинова в „Кольце поэтов” активную роль играли Грааль-Арельский (Стефан Стефанович Петров) и Константин Олимпов, сын К.М. Фофанова. Грааль-Арельский и Олимпов входили в свое время в „Академию эго-поэзии», считавшую Фофанова своим предтечей.
 - 13 Тихонов Н. Автобиография (1923). — РО ИРЛИ, Р 1, оп. 27, е.х. 32.
 - 14 Экземпляр сборника имеется в архиве Н.С. Тихонова.
 - 15 Анонс помещен в книгах Н. Тихонова „Орда” и С. Колбасьева „Открытое море», вышедших под маркой „Островитян» в 1922 г. Рукописный экземпляр этого сборника хранится в архиве ленинградского библиофила М.С. Лесмана.
 - 16 Нападки на „Цех поэтов» содержались в статье Н. Тихонова „Граненые стеклышки» — газ. „Жизнь искусства», 1922, 23 мая (№ 20/1843).
 - 17 „Закат Европы» О. Шпенглера был переведен на русский язык после выхода „Путешествия в хаос», но Вагинов мог знать основные положения этой книги. Отметим также перекличку со статьей Н. Бердяева „Предсмертные мысли

- Фауста": „Мы живем в эпоху, внутренне схожую с эпохой эллинистической: эпохой крушения античного мира". См. в кн.: Освальд Шпенглер и „Закат Европы". М., 1922, с. 57.
- 18 Это евреиновская идея „распятого Арлекина", образ сумасшедшего лжежемесии, проходящий в „Золоте в лазури" и „Королевнах и рыцарях" А. Белого. Отметим также сходный образ в трагедии „Владимир Маяковский": „Все вы, люди, лишь бубенцы на голове у бога"; у Вагинова: „С тихими бубенцами Его колпак. ... Мы будем покорно звенеть бубенцами". Реалистическая мотивировка Христа в шутовском наряде дана в картине И. Крамского „Хохот" (см.: И.Н. Крамской по его письмам и статьям. — Вестник Европы, 1887, дек., с. 72—75). По мнению А.М. Панченко (в устной беседе), образ Христа в шутовском колпаке восходит к римским Сатурналиям и связан с мотивом бичевания.
- 19 Название, данное альманаху М. Кузминым, восходит к учению гностика Василида и обозначает совокупность 365 мировых творческих сил. См. стих. М. Кузмина „Базилид" — в его кн. „Нездешние вечера". (Пб., 1921, с. 79—82). Вышло три номера альманаха. На четвертом он был закрыт „за непонятность" (см.: Лит. энциклопедия, т. 4, с. 225).
- 20 См. декларацию эмоционалистов. — Абраккас, 3. Пг., 1923, с. 3. Положения эмоционалистов имели много общего с немецким экспрессионизмом. В 1923 г. эмоционалисты опубликовали „Приветствие художникам молодой Германии", под которым стоит и подпись Вагинова. — Жизнь искусства, 1923, № 10, с. 8.
- 21 См.: Басалаев И. Записки для себя. Тетрадь 2-я. 1928. — Архив И.М. Наппельбаум; [81]. Кузмин высоко ценил поэзию Вагинова (см. его „Письмо в Пекин". — Абраккас, 1922, № 2, с. 60); подробнее см. [47].
- 22 Эта проза (более не переиздававшаяся) нуждается в подробном комментарии, выходящем за рамки настоящей статьи. Ряд мотивов развит в романах Вагинова, особенно в „Козлиной песни". Одним из источников образа Аполлона с большой ногой является статья А. Бальера „Аполлон будничный и Аполлон Чернявый" (Союз молодежи, 1913, № 3, с. 11—24), в которой предсказывается гибель Аполлона — идеала гармонии.
- 23 Свидетельство вдовы поэта Александры Ивановны Вагиновой. Они поженились в 1926 г.

- 24 Об одной из таких встреч пишет П. Лукницкий: „Вчера был у Н. Тихонова, просидел у него до 3-х часов ночи. У него были К. Вагинов и Ю.Н. Тынянов. Говорили много, а вконец — еще больше”. Письмо Л.В. Горнунгу от 8.2.1926. — Архив Л. Горнунга.
- 25 Архив Л.В. Горнунга. Вечер Вагинова был устроен в Союзе писателей. По свидетельству Бахтина, он открылся вступительным словом Бенедикта Лившица, сравнившего Вагинова с Анахарсисом. С основным докладом выступил Л. Пумпянский [91, с. 222—223].
- 26 Л. Лунц отмечал близость к Мандельштаму и в ранней поэзии Вагинова: „Вагинов идет за Мандельштамом, он тоже отмечает логическое движение стиха, заменяя его фонетическим <...>” (Лунц Л. Новые поэты. — РО ИРЛИ, ф. 568, оп. 1, ед. хр. 125).
- 27 Ср. „Упал на площадь виноградный стих” у Вагинова и „стихов виноградное мясо” у Мандельштама.
- 28 14 рецензий хранятся в ЛГАЛИ, ф. 2913, Ленигиз, оп. 1, ед. хр. 109, в том числе на книги Ж. Ришпена, Ф. Карко, А. Дювернуа.
- 29 Буквальный перевод греческого слова „трагедия”.
- 30 В этом плане „Козлиную песнь” сопоставляли со „Скандалистом” В. Каверина и „Контрапунктом” О. Хаксли. Из других романов „с ключом” 20-х годов назовем также дилогию Р. Ивнева „Любовь без любви” (1925), „Открытый дом” (1927), „Сумасшедший корабль” О. Форш (1931), „Театральный роман” М. Булгакова.
- 31 Басалаев И. Записки для себя. Тетрадь 2-я. 1928 (арх. И.М. Наппельбаум). Приведем расшифровку прототипов, сообщенную нам друзьями Вагинова: Тептелкин — Л. Пумпянский, Неизвестный поэт, Агафонов — Вагинов, Заэфратский — Н. Гумилев, Миша Котиков — П. Лукницкий, Котя Ротиков — И. Лихачев, Троицын — Вс. Рождественский, философ — М. Бахтин, ирландский поэт — Дуглас Харман. Как сообщил нам И.А. Лихачев, этот английский поэт и критик познакомил Вагинова с творчеством Джойса и Т.С. Элиота. И.А. Лихачев учил Хармана русскому языку по „Козлиной песни” Вагинова.
- 32 Наиболее объективная оценка была дана в рецензиях [80; 95]. И. Груздев написал для журнала „Звезда” статью о романе, которая была набрана, но не напечатана. По этому поводу Груздев писал Горькому: „Лучшие традиции публи-

цистической критики совершенно забыты, во главу угла прежде всего ставится догма, например, отделил ли автор себя от своих героев. В данном случае: Вагинов не отделил, — вот его! ...” [31, с. 223].

33 См. РО ГПБ, архив изд-ва „Сов. писатель”, ед. хр. 4.

34 Аббревиатура составлена из сложенных в алфавитном порядке начальных букв фамилий эллинистов (Болдырев, Цоватур, Егунов, Миханков) и одинаковой для всех первой буквы имени. В их коллективном переводе вышли романы: *Ахилл Татий Александрийский*, Левкиппа и Клитофонт. М., 1925; *Гелиодор*. Эфиопика. М., 1932.

35 По словам М.Ф. Болдыревой, Вагинов восхищался музыкальностью пушкинского стиха, особенно его поражала строчка „Редает облаков летучая гряда”. Она вспоминает также об увлечении Вагинова прозой Барбье д’Орвельи и Анри де Ренье, живописью „Мира искусства”, музыкой Глюка.

36 Декларацию обэриутов см. [61]. За последние двадцать лет появилось большое количество мемуаров и статей об этой группе, однако роль Вагинова в ней еще не изучена.

37 Вагинов привел Заболоцкого в журнал „Звезда”, где были напечатаны стихи, вошедшие в „Столбцы”. Стихотворение Заболоцкого „Футбол” Вагинов назвал „золотым само-родком” [35].

38 Капралов А. Константин Константинович Вагинов. Воспоминания литкружковцев. Машинопись. Хранится в архиве Т.Л. Никольской.

39 Подробнее об этой поэме см. [56, с. 97].

40 Интерес к уголовному миру, сближающий Вагинова с ленинградским писателем Вас. Андреевым, впервые проявился в романе „Бамбочада”. В неопубликованном рассказе „Конец первой любви” сюжетная линия обрамляется многочисленными вставными новеллами из быта лиговской шпаны.

41 День поэзии. Л., 1967, с. 77—79; Петербург—Петроград—Ленинград. Л., 1975, с. 473; Нева, 1982, № 6, с. 200—201.

х х х

БИБЛИОГРАФИЯ

Прижизненные публикации в журналах, альманахах и сборниках, не упомянутые в статье:

Стихи: Ушкуйники. Пб., 1922; Петербургское объединение обновленного искусства, 1922, № 1; Город. Сб. 1. 1923; Литературные вечера. Вечер 1-й. 1923; Записки передвижного театра, 1923, № 62; Жизнь искусства, 1923, № 22; 1924, № 9; Ленинград, 1924, № 23; 1925, № 13; Поэты первых дней. М., 1924; Ковш. Кн. 1, 1925; кн. 4, 1926; Собрание стихотворений ЛОВСП. Л., 1926; Костер. 1927; 31 рука. Л.; М., 1927; Звезда, 1927, № 4. Проза: Художественные письма из Петербурга. — Накануне, 1922, 7 дек., № 204.

1. Александров А. Обэриу. Предварительные заметки. — *Česko-slovenská rusistika*, 1968, № 5.
2. Александрова В. К. Вагинов. Бамбочада. — Книга строителям социализма, 1932, № 5, с. 15.
3. Адамович Г. Русская поэзия. — Жизнь искусства, 1923, 16 янв., № 2, с. 4.
4. Адамович Г. Поэты в Петербурге. — Звено, 1923, 10 сент., № 32.
5. Адамович Г. — Звено, 1926, 24 янв., № 156.
6. Адамович Г. Литературные беседы. — Звено, 1927, 1 авг., № 2, с. 71—72.
7. Адамович Г. Памяти К. Вагинова. — Последние новости, 1934, 14 июня, № 4830, с. 3.
8. *Anemone A. Sbranie Stihotvorenii*. By K. Vaginov. Munich, 1982. — *The Russian Review*, 1984, № 1, p. 291—292.
- 8a. *Anemone A., Martynov I. Towards the History of Leningrad Avant-garde: The «Ring of poets»*. — *Wiener slawistischer Almanach*. Bd. 17. 1986. S. 131—148.
9. Бахтерев И. Когда мы были молодыми. — В кн.: Воспоминания о Н. Заболоцком. Л., 1984, с. 76, 90, 97, 98.
10. Бачелис И. К. Вагинов. Бамбочада. — Лит. газета, 1933, № 18, с. 3.
- 10a. Бербер О. «Магия слова» в художественном мире К. Вагинова. — Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Ч. 2, с. 31—32.
11. Берберова Н. Из петербургских воспоминаний. Три дружбы. — Опыты, 1953, № 1, с. 167.
12. Берберова Н. Курсив мой. Мюнхен, 1972, по указателю.
13. Блюм А., Мартынов И. Петроградские библиофилы. По страницам самирических романов К. Вагинова. — Альманах библиофила. 4. М., 1977, с. 217—235.

14. *Борисов Л.* Родители, наставники, поэты. М., 1969, с. 87—91, 101—102, 104—106.
15. *Брюсов В.* Островитяне. — Печать и революция, 1922, № 6, с. 292—293.
16. *Вулис А.* Советский сатирический роман. Ташкент, 1965, с. 122—125.
17. *Выгодский Д.* Островитяне. — Жизнь искусства, 1922, 23 мая, № 20, с. 4.
18. *Выгодский Д.* Литературные вечера. — Книга и революция, 1923, № 2, с. 61.
19. *Выгодский Д.* По журналам. — Россия, 1923, № 7, с. 30.
20. *Гельфанд М.* Журнальное обозрение. — Печать и революция, 1929, № 8.
21. *Герштейн Э.Г.* Новое о Мандельштаме. Paris, 1986, с. 215, 227, 234, 241—242, 276.
22. *Гинзбург Л.* О старом и новом. Л., 1982, с. 354.
23. *Глаголева Т.* Город. — Книга и революция, 1923, № 3, с. 78.
24. *Гор Г.* О лирике. — День поэзии. Л., 1964, с. 51—52.
25. *Гор Г.* Извачание. Л., 1972, с. 87—88.
26. *Гор Г.* Замедление времени. — Звезда, 1968, № 4, с. 178—179.
27. *Гордон Л.* Константин Вагинов. — Накануне, 1925, 20 окт., № 4С5.
28. *Гоффеншефер В.* К. Вагинов. Козлиная песнь. — Молодая гвардия, 1928, № 12, с. 203—204.
29. *Груздев И.* Звучащая раковина. — Книга и революция, 1922, № 7 (19), с. 60—62.
30. *Груздев И.* Русская поэзия в 1918—1923. — Книга и революция, 1923, № 3 (27), с. 37—38.
31. *Груздев И.* Письма к М. Горькому. — В кн.: Переписка Горького с Груздевым. М., 1966, с. 220—223.
32. *Дерман А.* К. Вагинов. Козлиная песнь. — Книга и профсоюзы, 1928, № 10, с. 43.
33. *Дынник В.* Право на песню. — Красная новь, 1926, № 12, с. 244—245.
34. *Жукова Л.* Прощание с собой. — В кн.: Жукова Л. Эпилоги. Нью-Йорк, 1983, с. 186—190.
35. *Завалишин В.* Николай Заболоцкий. — Новый журнал, 1959, № 58, с. 122.
36. *Иваков Вяч. Вс.* [Ингервью]. — Russia, 1980, № 2.
37. *Каверин В.* Маяковский. — В кн.: Каверин В. Собр. соч., т. 6. М., 1966, с. 498.
38. *Kassak W.* По поводу первого собрания стихотворений Кон-

- станция Вагинова. — В кн.: *Вагинов К.* Собр. стихотворений. München, 1982, с. 7—10.
39. *Киреев Б.* На потребу мещанину. — Комс. правда, 1928, 16 ноября.
- 39а. *Clark K., Holquist M.* Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass., and London, England, 1984, по указателю.
40. *Кожин В., Конкин С.* М.М. Бахтин. — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973, с. 7.
- 40а. *Кузмин М.* Письмо в Пекин. — Абракасас, 1922, № 2, с. 60.
41. *Кузмин М.* Парнасские заросли. — В кн.: Завтра. Берлин, 1923, с. 121—122.
- 41а. *Левин Ю.* Тезисы к проблеме непонимания текста. — Труды по знаковым системам. Вып. 12. Тарту, 1981, с. 90.
42. *Лукницкая В.* Из двух тысяч встреч. Рассказ о летописце. М., 1987, с. 55—56.
- 42а. *Лурье В.* Петроградское. — Дни, 1923, 5 авг., № 232, с. 12.
43. *Майзель М.* Порнография в современной литературе. — В кн.: Голоса против. Л., 1928, с. 150—151.
44. *Македонов А.* Николай Заболоцкий. Л., 1968, с. 45.
45. *Малахов С.* Лирика как орудие классовой борьбы. — Звезда, 1931, № 9, с. 161—166.
46. *Малмстед Д., Шмаков Г.* О поэте Константине Вагинове. — В кн.: Аполлон -77. Париж, 1977, с. 34.
47. *Malmstad J.* Mikhail Kuzmin: a chronicle of his life and time. — В кн.: Кузмин М. Собр. стихотворений, т. 3. München, 1977, по указателю.
48. *Malmstad J.* Sbranie Stihotvorenii. By K. Vaginov. Munich, 1982. — Slavic Review, 1984, N 1, p. 160—161.
- 48а. *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987, с. 280.
49. *Мандельштам О.* Собр. соч., т. 3, New York, 1969, с. 232.
- 49а. *Мандельштам Н.* Вторая книга. Париж, 1978, с. 224.
50. *Манфред А.* Кладбищенская муза. — Книга и революция, 1929, № 12, с. 32.
51. *Марков В.* Поэзия Михаила Кузмина. — В кн.: М. Кузмин. Собр. стихотворений, т. 3, München, 1977, с. 385.
52. *Marcialis N.* Il canto del carne. — Il verti, 1983, N 29—30, p. 129—143.
53. *Мейсельман А.* Костер. — Жизнь искусства, 1927, № 43, с. 17.
54. *Меньшутин А., Сиявский А.* Поэзия первых лет революции. М., 1964, с. 31.
55. *Мессер Р.* Попутчики второго призыва. — Звезда, 1930, № 4, с. 205—206.

- 55а. *Наппельбаум И.* «Звучащая раковина». — Нева, 1987, № 12, с. 198—200.
56. *Никольская Т.* О творчестве К. Вагинова. — Материалы XXII научной студенческой конференции, ч. 1. Тарту, 1967, с. 94—100.
57. *Никольская Т., Чертков Л.* Константин Вагинов. — В кн.: День поэзии. Л., 1967, с. 77—78.
58. *Никольская Т.* Вагинов. — КЛЭ, т. 9, М., 1978, ст. 169.
59. *Никонов В.* Поэты Ленинграда. — Худ. лит-ра, 1931, № 1, с. 30.
60. *О.К. Вагинов К.* (Стихотворения). Л., 1926. — Красная газ., веч. вып., 1926, 21 нояб., № 276, с. 3.
61. ОБЭРИУ. — Афиши Дома печати, 1928, № 2, с. 12.
62. *Оксенов И.* Ленинградские поэты. — Красная газ., веч. вып., 1926, 21 нояб.
63. *Оксенов Инн.* Ларь. — Звезда, 1927, № 8; с. 154.
64. *Оксенов Инн.* Борьба за лирику. — Новый мир, 1933, № 7—8, с. 401—402.
65. *Оцуп Н.* О поэзии и поэтах в СССР. — Числа, 1933, с. 236—237.
66. *Павлова М. К.* Вагинов. Путешествие в хаос. — Книга и революция, 1922, № 7, с. 63.
67. *Павлович Н.* Письмо из Петербурга. Петербургские поэты. — Гостиница для путешественников в прекрасном, 1922, № 1, с. 31.
68. *Puleari L.* La letteratura e la vita nel romanzo di Vaginov. — Rassegne Sovietica, 1981, № 5, p. 153—170.
69. Памяти Кости Вагинова. — Лит. Ленинград, 1934, 30 апр., № 20, с. 3.
70. [Пиотровский А.] Абракасас, сб. 1. — Жизнь искусства, 1922, № 47, с. 7. [Подп.: А.П.]
71. *Рахманов Л. К.* Вагинов. — Нева, 1982, № 6, с. 200.
72. *Рашковская А.* Поэзия молодых. — Жизнь искусства, 1923, № 27, с. 15—16.
73. *Рашковская А.* На поэтических путях. — Красная газ., веч. вып., 1926, 28 нояб., № 288, с. 3.
74. [Рождественский В.] Вагинов. Путешествие в хаос. — Книга и революция, 1922, № 7 (19), с. 63—64. [Подп.: В.Р.]
75. *Рождественский В.* Петербургская школа молодой русской поэзии. — Записки передвижного театра им. П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской, 1923, 7 окт., № 62, с. 2—3.
76. *Рождественский В.* Константин Вагинов. — Лит. Ленинград, 1934, 30 апр., № 20, с. 3.

77. *Розенцвиль С. К. Вагинов. Козлиная песнь.* — Красная новь, 1928, № 10, с. 245—246.
78. *Садюфьев И. На старых местах.* — Петроградская правда, 1922, 11 июня, № 128.
- 78а. *Сегал Д. Литература как охранная грамота.* — Slavica Hierosolymitana, v. V—VI. 1981.
79. *Селивановский А. Островитяне искусства.* — В кн.: *Селивановский А. В литературных боях.* М., 1930, с. 126—130.
80. *Сергиевский И. К. Вагинов. Козлиная песнь.* — Новый мир, 1928, № 1, с. 284—285.
81. *Синельников И. Молодой Заболоцкий.* — Памир, 1982, № 1; вошло в кн.: *Воспоминания о Заболоцком.* М., 1984, с. 108.
82. *Тизенгаузен О. Салоны и молодые заседатели литературного Парнаса.* — Абраккас, 1922, № 1, с. 60—61.
83. *Тиняков А. Критические раздумья.* — Последние новости, 1922, № 14, с. 4.
84. *Тихонов Н. Устная книга.* — Вопросы лит-ры, 1980, № 6, с. 123—125.
85. *Тихонов Н. Письмо Л. Лунцу, окт. 1923.* — В кн.: *Каверин В. Вечерний день.* М., 1982, с. 44.
86. *Топоров В.Н. Пространство и текст.* — В кн.: *Текст: семантика и структура.* М., 1983, с. 274—275.
87. *Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы.* — В кн.: *Семиотика города и городской культуры. Петербург.* — Тр. по знаковым системам. Тарту, 1984, вып. 18, с. 14—15, 18—19, 21, 23.
88. *Угрешич Д. Метатекстуалне разине у романшму Константина Вагинова.* — Книжевна реч, 1978, 10 јина, № 102, с. 11.
89. *Ходасевич В. Парижский альбом П.* — Дни, 1926, 13 апр.
90. *Хохлов К. Pamфлет на самого себя.* — Лит. газ., 1929, № 10, с. 4.
91. *Чертков Л. Поэзия Константина Вагинова.* — В кн.: *Константин Вагинов. Собр. стихотворений.* München, 1982, с. 213—230.
- 91а. *Чуковский Н. Правда и поэзия. Из воспоминаний.* М., 1987, с. 20—22.
92. *Чуковский Н. Тяжелая потеря.* — Лит. Ленинград, 1934, 30 апр., № 20, с. 3.
93. *Шкловский В. Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа.* М., 1929, с. 124.
94. *Юдина М. Письмо к М.Ф. Гнесину.* — В кн.: *Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы.* М., 1978 с. 335.

Анонимные рецензии:

95. Вагинов К. Козлиная песнь. -- Октябрь, 1929, № 1, с. 218--219.
96. Вагинов К. Труды и дни Свистонова. -- Красный библиотекарь, 1929, № (7--8), с. 158.
97. Вагинов К. Опыты соединения слов посредством ритма. -- Книга строителям социализма, 1931, № 16, с. 98.
- 98--108. Рецензии на итальянское издание „Бамбочады” (Vaginov K. Bambocciata. Traduzione di Clara Coizzon, Con una nota di Vittorio Strada, Torino, Einaudi, 1972):
- Pruzzo P. -- Il secolo XX, 14.7.72; Vigorelli G. -- Tempo, 30.7.72; Mauro W. -- Momento sera, 23.8.72; Giuzti W. -- Il giornale d'Italia, 25.8.72; Vanni I. -- Il rezzo del Carlino, 29.8.72; Wainstein L. -- La stampa, 8.9.72; Raffo A.M. -- Il rezzo del Carlino, 14.11.72; Gramigna G. -- La fiora letteraria, 10.12.72; Strada V. -- L'Unità, 4.1.73; Mazza A. -- Letture, 1973, n. 5; Riccio C. "Le bambocciate degli "oberiuty" -- Prozpetti, Roma, 1974, n. 33--34, p. 42--45.

Выражаем благодарность В.И. Горбунову за дополнения и уточнения к нашей библиографии.

И.М. Наппельбаум

ПАМЯТКА О ПОЭТЕ

*...Милее мука, если в ней
Есть тонкий яд воспоминанья.*

Инн. Акненский

*Люблю слова — предчувствую паденье,
Забвенье смысла их средь торжищ
городских.*

Конст. Вагинов

В зале оперного театра, в голубой золоченой ложе бенуира сидел полковник В.

В театре было много офицеров и они, как положено, стояли у своих кресел в ожидании, пока все займут свои места. Непосредственно у барьера ложи полковника стоял офицер его же полка. За несколько минут до начала спектакля в дверях партера показалась красивая молодая дама в сопровождении спутника. Увидев офицера, дама сильно побледнела, а офицер мгновенно выхватил револьвер и направил на нее оружие.

В тот же миг полковник В. перемахнул через голубой бархатный барьер ложи и плашмя упал на плечи внизу стоящего офицера, вышибая из его рук револьвер. Таким образом не произошло несчастья, и честь полка была спасена.

Этот эпизод из далекой жизни отца поэта может служить примером, как иной раз далеко падает яблоко от своего корня.

...Закругленный угол Невского проспекта и Мойки. Особняк прежде принадлежал известному купцу Елисееву.

Здание, отданное широким жестом молодого государства петроградским писателям. „Дом искусств” — так теперь оно называется. Здесь писатели коллективно живут, работают, обсуждают написанное, спорят, дружат, влюбляются, голодают и мерзнут. Тяжелые времена становления новой жизни. 1920 год.

Студия молодых поэтов. Сюда стекаются те, для кого творчество заменяет и хлеб и тепло.

Мы, молодые, начинающие, пришли сюда, как в храм, трепетные и алчущие. Наш Мэтр — Николай Степанович Гумилев сидит во главе длинного, узкого стола. Он — бонза с косящим взглядом и бритой головой. Постукивает папиросой в холеных пальцах о крышку черепахового портсигара. И после краткого молчания начинается урок таинства — вхождения в ремесло стихосложения.

Здесь я встретилась с Константином Вагиновым. Он был одним из остальных. Позже он стал особым.

Вначале нас было 12. Затем присоединились игривая Ольга Зив и Чуковский-младший, Николай. Он именовал себя в то время — Николай Радищев. Еще позднее блеснула кратковременным лучом Инна Берберова. И за краткий срок ее пребывания в Студии Мэтр написал стихи, обращенные к ней. В них были строки:

Я вхожу в твои глаза, как в сад,
Как в длинный, темный коридор.

Это стихотворение, единожды прочтенное, исчезло, испарилось облаком над Невой. Не знаю, сохранилось ли оно в чьей-либо памяти.

Нас было двенадцать. Сакраментальное — двенадцать. И все очень, очень разные. Все очень неопытные, наивные и все самоуверенные. Каждый мнил себя „главным” поэтом в этой группе. Один — возводил в стихах оперные декорации приморской скалистой природы, другой — тосковал песенно-былинным голосом, третий — писал о делах земных и близких. И все, конечно, о любви „опытной и многозначной”. Но все это очень разное вмещалось, вселялось в здание академически строгой петербургской поэзии.

Наш Мэтр понимал поэзию как амфору, сосуд, вмещающий хмельную влагу волшебного искусства. Для него поэзия была форма, хранилище мыслей и чувств.

И вдруг в этом же здании, за тем же столом, прозвучали строки:

Палец мой сияет звездой Вифлеема,
В нем раскинулся сад и ручей благовонный звенит...

Что это? Из какого сна, из каких видений?

Это был голос поэзии Вагинова. Но Мэтр не испугался, не возмутился, не отринул, он вошел в этот сад с интересом и удивлением.

И дальше у Вагинова:

— И вот Иисус, он под смоквой плакучею дремлет...

И еще дальше:

— Отошел на двенадцать неровных, негулких шагов...

Почему двенадцать, почему Иисус?

Но ведь и у Блока то же и тогда же в „Двенадцати“.

О необъяснимая, неразгаданная власть поэзии!

Вагинов был самый маленький, самый худенький, с самым слабым голосом, самый „не такой“, но сразу выразителен и значим. Сидел далеко от Мэтра, в конце длинного стола, а когда вставал и начинал читать, — возникал новый мир, ни с кем и ни с чем не сравнимый и волнующий. Читал негромко, дикция была нечеткой из-за плохого состояния рта. Но все слушали и давали уводить себя в тот призрачный, пригрезившийся поэту мир.

Наш Мэтр — истый акмеист, чья поэзия была закована в стальные рамки формы, чьи строфы, строки, слова отщелкивались, как градинки о железный лист подоконника, он — наш Мэтр, с ясным, как небосклон, мировоззрением, с зеркальной эстетикой, — он замирал и, не противясь, входил в призрачный сад поэзии Константина Вагинова.

Все то, что было вне интересов искусства, Вагинов не замечал и — увы! — не понимал.

Он был нумизмат, собирал старинные книги, изучал древние языки. Он бродил по толкучкам и выискивал старинные печатки, мундштуки, перстни с камнями, геммами, которые всегда украшали его тонкие, хрупкие смуглые пальцы. Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему. Люди сразу душевно располагались к его тихому голосу, к доброте, постоянно живущей в его глубоких, больших, карих, совершенно бархатных глазах.

Иногда бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще:

— Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять! — добавил он с отчаянием.

Город был пустынен и прекрасен. Ни прохожих, ни лошадей, ни машин. Петербург превратился в декорацию. Он стал архитектурным организмом в его первородном существе. И двое молодых людей — он и она — сливались с громадой дворцов и зданий, с торцовыми мостовыми, в которых пробивалась зелень трав, с гранитными оградами Невы. Они вдвоем — Костя Вагинов и Шура Федорова — просиживали белыми ночами до утра на ступенях набережной. Оба небольшие, одного роста, одетые во что-то неприметное.

— Сидят там на Стрелке, вокруг ни души, — сказал кто-то, входя в комнату, — издали посмотреть, ну просто два беспризорника, бездомника.

А они разговаривали, говорили, говорили... Он учил, рассказывал, вспоминал, фантазировал, дарил, дарил все волнующее, будоражащее душу поэта. И она, Шура Федорова, хотя была вся другая, из другого мира, как с другой планеты, все восприняла, впитала, осознала неожиданный ход его мыслей, его странное виденье. Она росла. И поднялась, и стала его музой, сестрой, советчицей, редактором. Она стала полноправной Вагиновой.

Если оглянуться и спросить, кого же дала русской литературе поэтическая студия 20-х годов при Доме искусств? Кого выдвинула „Звучащая раксвина“? Ответ однозначен — Константи-на Вагинова.

Даже удивительно, что читающая публика не испугалась его непонятности, его фангастики, его многоплановости. И не только читатели, но и издатели, редакции. Дух свободного творчества всех увлекал в те времена.

Когда готовилась его книжка „Стихотворения” и требовались присмотр и забота самого автора, что Вагинову было недоступно, поэт Михаил Фроман пришел на помощь растерявшемуся собрату: все переговоры, хлопоты с издательством и типографией, консультации о бумаге, шрифте, обложке и с художником — все взял на себя. И когда книжка вышла в свет, автор надписал Фроману: „Дорогой Михаил Александрович, эта книжка до некоторой степени Ваше дитя. Детский дом (типография им. Ивана Федорова) одел, не без Ваших настойчивых указаний, ее в скромное платье. Вам даже снились сны по поводу ее первого выхода из Детдома.

Примите ее от меня, как знак любви и дружбы. В. 8/III—26 г.”

Три сборника интереснейших стихов успел выпустить Вагинов: „Путешествие в хаос”, „Стихотворения”, „Опыты соединения слов посредством ритма”.

И вдруг — проза. Наблюдательная, ядовитая, с угадываемыми прототипами и событиями из жизни литературной среды.

Вагинов — прирожденный коллекционер; как драгоценный антиквариат, он собирал неповторимые человеческие индивидуумы. Было что-то в этом даже болезненное.

— Собирать, систематизировать можно все, и все интересно, — говорил он. — У меня будет в романе один, кто собирает свои срезанные ногти и хранит их. Станно, да? Безумец, да?

Вот именно так Вагинов коллекционировал людей, тех, кто выпадал из обычных рамок.

Странная проза — проза поэта.

Зима 1921—1922 года. В августе умер Александр Блок. Не стало нашего Мэтра. Занятия в студии стал вести Корней Иванович

Чуковский. Все теперь стало на занятиях легче, веселее и „необязательно“. Наши творческие встречи превратились в беседы о литературе, о поэтах, о Некрасове. Мы по-прежнему читали свои стихи, но судили их больше сами студийцы. Пропала та высокая атмосфера, то ощущение подъема на Олимп, что создавали присутствие, личность самого Мэтра.

Однажды на одно из наших занятий в Доме искусств пришла невысокая, худенькая, седая женщина. Мы уже знали, что это тетка А. Блока — Мария Андреевна Бекетова. Посидев, послушав, как идут занятия, она сказала Корнею Ивановичу, что хотела бы послушать стихи молодых. Чуковский сразу же попросил читать Вагинова. Тот встал и начал читать. Я слушала и ничего не понимала, не могла осознать, о чем речь. И лишь когда прозвучало имя Онана, — до меня дошел смысл. К.И. сразу же прервал Вагинова, замахал руками.

— Фу! Фу! Не надо... Сейчас же читайте другое! — закричал он.

Костя фыркнул, закрывая рукою рот, и стал читать другое стихотворение:

С Антиохией в пальце шел по улице,
Не видел Летний Сад, но видел водоем,
Под сикимирой конь и всадник мылятся,
И пот скользит в луче густом.

Припал к ногам, целуя взгляд Гекаты,
Достал немного благовоний и тоски,
Арап ждет рядом черный и покатый
И вынимает город из моей руки.

— А теперь, на закуску, — сказал К.И., — стихи прочтет Фредерика, — обратился он к моей сестре, считавшейся музой „Звучащей раковины“, как написал ей на книге сам Константин Константинович.

— Какой читать? — спросила, вставая, Фредерика. И Вагинов назвал то, что он очень ценил:

— Пожалуйста, „К музе“.

И она прочла:

Она не с тем приходит в этот мир,
Чтоб суетные утолять печали.
К бессильному не простирает длани,
Благоухающие звоном лир.

Нет, не она твой угол озарит —
Ты сам зажги торжественные свечи,

Ты сам высоким факелом гори
И преклонись, и жди, и жажди встречи

Когда она прочла звонким, очень юным голосом свои чистые, хрустальные, не по-детски мудрые стихи, Бекетова подошла к ней, погладила плечи, на которые спускались косы с полосатыми бангами, и сказала:

— Есть еще порох в пороховницах.

И сразу ушла.

Чуковский отозвал в сторону Вагинова и шептал ему наставление, а Костя улыбался. Вероятно, ему захотелось разбить академическую пристойность, царившую в Студии, и немного эпатировать общество.

В нашем доме, в нашей семье Вагинов был не просто товарищем по Студии. Он стал близким, родным, другом. Костя и Шура! Она, подруга Фредерики по школе, пришла с нами в Студию из любознательности. И вошла, и выросла, и постигла тайну стихосложения. И даже написала стихотворение, помещенное в сборнике „Звучащая раковина”. Наш Мэтр о ней говорил: „Федорова идеальный читатель, она может даже стихи написать. Но она не поэт”.

Когда уходит из жизни близкий человек, оставшиеся обычно чувствуют себя перед ним виноватыми. Вспоминают, ищут эту вину. Хоть в чем-то; хоть в малом...

Да, он был своим, родным человеком и в моей ранней молодости, бывая в доме моих родителей на Невском, бывая не только на „Литературных понедельниках”, но и просто в семье, по вечерам; дружил с каждым из членов семьи; и позже, когда я жила на Литейном проспекте и на ул. Рубинштейна со своим мужем, поэтом Мих. Фроманом. Однажды он принес мне в подарок на день рождения редкую книжку — альбом автографов, написанных Ольге Козловой, жене поэта Ивана Козлова. Альбом был роскошно издан очень малым тиражом. Но я не сохранила его. В минуту жизни трудную, в 60-х годах, он перешел в руки, весьма достойные, коллекционера высокого класса и вкуса. И как я скучаю по этому альбому!

И еще — его же подарок Фредерике — крохотный столик, инкрустированный перламутром, низкий, вероятно, для курения кальяна. Он тоже не сохранен.

И еще главное, главное! Мы не отдавали себе отчета в том, как он был смертельно болен. Его губил туберкулез. Он таял на глазах. На щеке, на челюсти появился свищ. Союз писателей на-

правил его в санаторий в Сухуми. Оттуда были письма. Но юг не помог, не спас. После возвращения его разделись голоса:

— Не нужен был юг, лучше север, холод. Поздно.

А жизнь шла у каждого своя. Не только литература, поэзия, еще и быт, и любовь, и брак, и дитя...

И вот кто-то пришел и сказал: „Костя умирает“.

Бросила все, помчалась туда, на Екатерининский канал, позади Консерватории. Вошла в маленькую квартиру, какую-то темную, низкую. В первой комнате у стола сидели два маленьких безмолвных человека. Отец и мать. Те, что когда-то сидели в голубой ложе. Из второй комнаты появилась Шура и сказала эти страшные слова: „У него агония...“ Я вошла вслед за ней и остановилась в дверях. Он лежал лицом к стене и дрожал. Шура подошла, наклонилась, сказала: „Пришла Ида“. Он сразу повернулся к двери и улыбающимся беззубым ртом радостно протянул: „А-а-а, Идочка...“ И снова к стене. Я окаменело постояла в дверях и бежала от этого ужаса.

Но этот возглас, эта предсмертная улыбка остались со мной навсегда, навсегда, навсегда...

А затем был путь на Смоленское кладбище, тот же долгий тягостный путь, по которому из того же района города тринадцать лет назад мы, молодые, вместе с Константином Вагиновым шли за гробом Александра Блока.

...Да, мир поэта дрожит и вибрирует. И в том его очарование и неуязвимость.

И мы, пришедшие в конец века из самого его начала, счастливы, что не только помним, но и передаем новым людям эстафету возвышенного, чистого и недосказанного искусства.

Август 1981 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Ю.Г. ОКСМАНА

*Вступительная статья и примечания
М.О. Чудаковой и Е.А. Тоддеса*

...Колыма,
Что названа чудом планеты
(Из песни)

В ПТЧ, публикуя наброски воспоминаний Ю.Г. Оксмана о Тынянове, мы писали, что заметки „свидетельствуют о тесных отношениях, продолжавшихся более двадцати лет, вплоть до разлуки в 1935 г.», когда Оксман был арестован. Встретиться вновь им было не суждено — Тынянов умер за три года до возвращения Оксмана из лагеря. В нашем сообщении было показано, сколь большое место занимал Тынянов в размышлениях Оксмана в пору возобновления его работы в конце 40-х — начале 50-х годов, а также освещен ряд фактов из биографий обоих ученых¹.

Из публикуемых писем Оксмана к жене видно, как возникали его мемуарные замыслы, в том числе о Тынянове (см. 3 сент. 1940, 19 авг. 1943, 31 авг. — 8 сент. 1943, 6 дек. 1944); выясняется, что и записываться они стали ранее, чем можно было думать (ср. ПТЧ, с. 90), — не позднее марта 1940 г. В письме от 15 апр. 1940 г. (не включенном в данную публикацию) Оксман, перечисляя письма, посланные между 23 окт. 1939 г. и 8 марта 1940 г., замечал: „...Посылал тебе кусочки для будущих мемуаров — вернее „пробы пера” в разных жанрах. Ужасно трудно быть до конца искренним, еще тяжелее, чем сохранять объективность. В этом отношении еще собою очень недоволен”. Не исключено, что дальнейшее обследование архива Оксмана выявит что-либо относящееся к подобным замыслам 40—60-х годов.

Но письма эти имеют гораздо более широкий интерес. Перед нами документ, запечатлевший черты личности и судьбы одного из ярких представителей гуманитарной интеллигенции 20—30-х годов, — личности, которая с изумляющей стойкостью перенесла

удар сталинской репрессивной машины, десятилетнюю изоляцию от культурной жизни, все тяготы тюрьмы и лагеря.

Уместно будет кратко остановиться здесь на биографии той, к кому обращены эти письма.

Летом 1983 года, за год с небольшим до смерти, Антонина Петровна Оксман в течение нескольких встреч с одним из авторов настоящего сообщения рассказывала о себе: „Моя мать Наталья Лазаревна Семенова была дочь кантониста — деда звали Лазарь Егорович Егоров (отчество и фамилия по имени крестного — Егор). Женат он был на украинке Степаниде Ивановне, состоятельной крестьянке; она до смерти не могла хорошо говорить по-русски. Дед же был настолько русским, что единственная книга в доме была Библия. В г. Вознесенске он стал купцом.

Отец мой был войсковой старшина, это равно полковнику”. Петр Яковлевич Семенов, окончив в 1886 г. Новочеркасское казачье юнкерское училище, всю жизнь служил в Донском казачьем полку; осенью 1908 года был „уволен по льготе” (т.е. по болезни) и вскоре умер. Статный и красивый офицер, прекрасный танцор, он успел еще, по воспоминаниям А.П. Оксман, в последний год жизни протанцевать со своей дочерью — юной гимназисткой — в первой паре на балу, который давал войсковой атаман.

„Один брат был на 8 лет старше меня, другой — на шесть лет моложе. Оба кончили кадетский корпус — не было денег учить мальчиков в гимназии, хватило только на девочек. Старший брат сумел как-то сговориться с советской властью, а младший нет — и отступил в 1919 г. из Одессы в Крым, а там умер от сыпного тифа. Мы вряд ли простились — так это все было скоропалительно. Дед со стороны отца был протоиерей кафедрального собора в станции Каменской (впоследствии г. Каменск-Шахтинский). Когда я уехала из Каменска в Вознесенск, мне было 16 лет (овдовевшая мать привезла дочерей в гимназию — в Каменской была только прогимназия. — М.Ч., Е.Т.), Юлиану Григорьевичу — 15; моя тетя с детства была приятельницей его матери, Марии Яковлевны Эпштейн (ее отец был присяжный поверенный, клубмен, все вечера пропадал в клубе). Отец Юлиана Григорьевича был провизор и имел право делать лекарства. Он был владельцем аптеки в Тирасполе и арендовал еще аптеку в Вознесенске — и жил в квартире при аптеке. В доме у Оксманов не было никаких икон, они не были выкрестами. Но Мария Яковлевна дружила с дочерью священника, который сам был большой либерал — в отличие от нашего деда-протоиерея. Умерла в 94 года...

Он был честолюбив — с детства. В гимназии, в 7-м классе,

я нарисовала на него карикатуру: он стоит на стуле — „Я выше всех!“. „Только Вова Кривицкий мне равен!“ — говорил он. Тот получил золотую медаль, а он серебряную — не давалась математика: два года занимался с учителем. Про учителя, который снизил ему на экзамене отметку, сказал гневно: „Я ему руки не подам!“

Оба кончили гимназию в 1912 г. После этого Оксман год учился в Германии, а А.П. Семенова — в Швейцарии. После возвращения в Россию они поженились (в 1915 или 1916 г.). „Это трудно объяснить, — сказала А.П. однажды. — Понимаете, он был мне не муж, не отец, не друг — *он был моя судьба*“. Ее слова помогут и восприятию публикуемых писем.

Комментарием к письмам — главным образом предваряющим и заключающим — служат ее же мемуарные заметки (сделанные, вероятно, после смерти мужа), а также ответы А.П. на наши вопросы.

Не претендуя на последовательное и полное изложение сюжета: Оксман в 30—40-е годы, — мы имеем возможность представить отдельные его звенья по заметкам А.П. и некоторым документам, переданным ею в наше распоряжение вместе с текстом писем. Весь этот материал становится теперь пригодным для отечественной печати — быстрее, чем она и мы полагали. Представляется, в частности, нужным ввести в оборот имеющиеся данные о ситуации в Пушкинском Доме в те годы, когда Оксман был его фактическим руководителем, поскольку опубликованные в наших научных изданиях материалы по понятным причинам совершенно игнорируют политические обстоятельства тех лет и явным образом преуменьшают и нивелируют роль Оксмана.

Заметки А.П. носят черновой характер, но дают связный и весьма содержательный текст. Приводим наброски в порядке хронологии биографических фактов.

<1.> „Хочется записать то небольшое, что сохранила мне память о двух арестах Юл.Гр. в 1930 и 1931 годах. Первый арест был вызван доносом некоего Семенова (Зусера), археолога, с кот. мы были знакомы еще в Одессе. Он принимал участие в раскопках в Ольвии. Была я знакома и с его женой, которая заходила ко мне <...> В Л-де мы снова столкнулись с Семеновым, и, по-видимому, Юл.Гр. по свойственной ему несдержанности как-то задел Зусера, у кот. была репутация не очень знающего ученого-археолога. В результате последовал донос, а затем и арест Юл.Гр.² Пробыл он в тот раз в тюрьме недолго, вызволил его оттуда Павел Елисеевич Щеголев, очень любивший и ценивший Юл.Гр.

Во второй раз арест последовал по такому же ложному доносу некоего Зеленко. Кто он был и что он делал в системе Академ. наук я не помню, а м.б. и не знала. Помню только, что возник какой-то конфликт с ним опять-таки вследствие несдержанности Юл.Гр. в отношении людей малопочтенных и в деловом и в личном плане³. Пребывание в тюрьме и на этот раз было непродолжительным и не повлияло на его дальнейшую деятельность.

Вскоре после второго ареста, а именно в январе 1931 г., Павел Елис. Щеголев скончался. Юл.Гр. очень тяжело переживал его смерть. Мы часто вспоминали его и говорили, тем более что сын Павла Елис., Павлуша, тогда уже молодой историк, ученик Тарле, так же как и отец, хорошо относился к Юл.Гр. и бывал у нас. Вот что сказал однажды Юл.Гр., когда я сидела возле его постели (был он нездоров): „У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает“. И столько горечи было в его голосе, столько грусти в глазах, что и по сей день у меня сжимается сердце и подступает ком к горлу”.

<2.> „1936 год. Примерно в середине августа 1936 г. Юл.Гр. уехал в Москву по делам Пушк. Дома. В это время в Пушк. Доме было очень беспокойно. Назначенная комиссия проверяла дела. Сотрудники Ин-та Михайлова и Аникиш писали доносы на Юл.Гр. Михайлова сводила личные счеты из-за увольнения ее из Ин-та. По словам Юл.Гр., она была не только невежественным и ограниченным работником Пушк. Дома, но и вредящим общему делу из-за пристрастия своего к кляузам, дрызгам, беспокойного нрава. Что представлял собою Аникиш, я не помню <...> по рассказам работавших с ним в Пушк. Доме, был человек недостойный и неспособный к работе. Оба плели сеть интриг всякого рода, направленных против Юл.Гр. Горький, заместителем кот. был Юл.Гр. <...>, скончался в июне 1936 г., что развязало руки врагам его заместителя.

Комиссия, если память мне не изменяет, не нашла ничего порочащего в деятельности Юл.Гр. Но время было беспокойное, и злобное, чисто личное преследование Михайловой и Аникина, по-видимому, сделало свое дело, и в отсутствие Юл.Гр. в августе у него был сделан обыск. Конечно, ничего противозаконного следователем Драницыным найдено не было, но более 100 ценных автографов из коллекции Юл.Гр. было унесено, а кабинет опечатан. На другой день посетил меня в сопровождении того же следователя <НКВД>⁴ Драницына Бонч-Бруевич, он приехал узнать о судьбе автографов Пушкина, переданных П.Е. Щеголевым еще при жизни последнего Юлиану Гр. вместе с материалами самого

Павла Елисеевича для доработки незаконченных им самим разделов труда. Это были две очень объемистые папки, которые я хранила у себя в своем столе. Я вынесла их по просьбе Бонч-Бруевича, он просмотрел обе папки, по списку, бывшему у него, выбрал все автографы Пушкина, заметив при этом: „Все тютелька в тютельку налицо”. Я не преминула сказать следователю Драницыну: „Вы видите, что не запечатанные и самые ценные материалы в порядке, а в опечатанном кабинете без всякого смысла звонит телефон почти непрерывно. Подойти к нему невозможно, как невозможно и уснуть никому в квартире”. Драницын снял печать, а Бонч-Бруевич очень добросердечно попрощался и уехал, увезя только автографы Пушкина, взятые из щеголевских папок⁵.

Я поехала в Москву и рассказала Юл.Гр. об обыске, он был очень озабочен и по приезде в Л-д удручен исчезновением автографов. Прошли сентябрь, октябрь, каждую ночь ждала очередного звонка и когда начала немного успокаиваться, в ночь с 5 на 6 ноября (снова ночью) пришли с обыском и на этот раз увели и Юл.Гр. Уходя, он сказал мне: „Передай товарищам, что я ни в чем не виноват”. Уводившие его чины <НКВД> прикрикнули: „Переговариваться запрещено!” В конце января Юл.Гр. перевели в Москву, появилась надежда, что в Москве отнесутся беспристрастно и Юл.Гр. вернется, как в 30-х годах <так!>. Но к несчастью в это время, в феврале 1937 г., если не ошибаюсь, был арестован в Москве маршал Тухачевский⁶. Усилились строгости, и у меня в Москве в Бутырьках не приняли передачи, что разрешалось в Л-де. Маршал Тухачевский был, как известно, расстрелян, а в июле сестре Юл.Гр. сказали, что Юл.Гр. на 5 лет высылают в лагеря с правом переписки. Будет, пожалуй, уместным добавить, что в конце 1939 г. была арестована Михайлова за клеветническую деятельность и осуждена на 15 лет”.

Речь идет о Е.В. Михайловой, которая в начале 30-х годов заведовала архивом Пушкинского Дома. В связи с работой упоминаемой А.П. комиссии Оксман составил записку, направленную, по-видимому, в президиум АН. В ней он протестовал против „поручения т. Михайловой представительных и экспертных функций в Комиссии по обследованию работы ИНЛИ в 1934—1936 гг.” и приводил следующее свое заявление, сделанное 4 ноября 1935 г. „в заседании директората ИНЛИ <. . > при обсуждении отчетного доклада заведующего архивом ИНЛИ проф. И.Л. Маяковского”: „Сделанная в докладе И.Л. Маяковского характеристика вопиющего состояния Архива ИНЛИ перед началом работ по его реорганизации в 1934 г. не является новостью ни для кого, кому прихо-

дилось обращаться в ИНЛИ за материалами в период 1931—1933 гг. Этот хаос явился результатом невежественных мероприятий лже-специалиста Е. Михайловой, чисто вредительские по своим последствиям итоги работы которой и пришлось ликвидировать новому руководству ИНЛИ <...> В деятельности т. Михайловой сохранились все отрицательные черты хозяйничания в архиве его основателей („вотчинно-вельможная” точка зрения на порученный их охране материал), усугубленные полным непониманием техники работы в литературном архиве и травлей подлинных специалистов, неподпускаемых к материалу. Вокруг Архива ИНЛИ сложился в эту пору целый анекдотический фольклор, дискредитировавший учреждение всесоюзного значения. Для ликвидации этого положения президиум Академии наук и предложил новому руководству ИНЛИ обратить преимущественное внимание на Архив” (цит. по машинописной копии с подписью Оксмана и проставленной им датой: 5 августа <1936>).

В упоминаемый в записке директорат Института русской литературы входили, кроме Горького (директор с марта 1935 г.), Оксман, А.С. Орлов и И.К. Луппол. В этом документе (интересном среди прочего переключкой с современной нам полемикой вокруг доступности архивов) ощутима энергия крупного организатора науки и отчетливо слышен язык эпохи, жестко политизировавшей академическую жизнь. Еще более ярко характеризует общественную ситуацию и обстановку внутри и вокруг ПД летом 1936 г. записка, направленная Оксманом известному партийному и издательскому деятелю, главному редактору ПСС Глеба Успенского Н.Л. Мещерякову:

„Довожу до Вашего сведения, что в газете „Литературный Ленинград” от 23.VII.1936 г., в отчете о заседании, посвященном обсуждению статей „Правды” об антисоветской деятельности акад. Лузина, в ряду других выступлений сотрудников ленинградских учреждений Академии наук отмечено и выступление временно испол. обязанности учен. секретаря ИНЛИ т. Цехновицера, заявившего следующее:

„Фактическое руководство академическим изданием <Г. Успенского>; по словам Цехновицера, было передано не имеющему ни одной научной работы некоему Глинке, который, как выяснилось, не кто иной, как известный в свое время нововременец, писавший под псевдонимом Волжский”.

В этом заявлении т. Цехновицера ложным является указание на участие А.С. Глинки-Волжского в фактическом руководстве изданием Успенского. всей работой по организации издания Успен-

ского фактически руководил в течение двух лет я, в качестве заведующего редакцией академического Института литературы. С начала 1936 г. главным редактором академического издания Успенского назначен был Н.Л. Мещеряков, который на распорядительном заседании Главной редакции в начале мая с.г. наметил план дальнейших организационных и редакторских мероприятий, опять-таки не передоверяя никому ни фактического, ни юридического руководства изданием.

А.С. Глинка-Волжский принимает участие в академическом издании Успенского в качестве одного из многих рядовых сотрудников издания, в качестве текстолога, которому не только никакое „руководство” не передоверялось, но даже самостоятельная редакторская работа не поручалась ни в одном томе. Выполнена им была текстологическая работа в V томе под редакцией Б.П. Козьмина, причем рецензировался этот том самым детальным образом Н.К. Пиксановым, Ю.Г. Оксманом, Б.М. Эйхенбаумом и Я.Э. Эльсбергом (письменные отзывы хранятся в архиве редакции).

Как текстолог и знаток биографии Успенского А.С. Глинка зарекомендовал себя рядом работ, опубликованных Гослитиздатом и „Academi'ей” в 1934—1936 гг. Эти работы получили весьма положительную оценку, выпущены были с точным обозначением не только фамилии, но и псевдонима А.С. Глинки (таким образом, неверным является и указание т. Цехновицера на то, что А.С. Глинка скрывал свой широко известный литературный псевдоним). Однако, учитывая огромное политическое значение академического издания Успенского, редакция последнего не признала возможным поручить А.С. Глинке ни самостоятельной редакционной работы, ни даже комментирования, выходящего за пределы текстологических справок, ибо либерально-народническое прошлое А.С. Глинки (т. Цехновицер смешал, возможно, А.С. Глинку-Волжского с Глинкой-Янчевским, редактором черносотенной „Земщины” и сотр<удником> „Нового времени”) не давало ему права на сколько-нибудь ответственную работу в создании советского академического издания Г.И. Успенского.

Не останавливаясь на общественно-литературной позиции А.С. Глинки в прошлом и настоящем и ограничившись только мотивировкой его приглашения (по рекомендации акад. В.П. Волгина и Б.П. Козьмина) к работе на правах технического сотрудника двух томов полн. собр. Успенского, я полагаю необходимым срочно созвать пленум акад. изд. соч. Успенского для обсуждения положения, создавшегося в связи с попыткой дискредитации

этого издания на ответственном открытом собрании академических работников” (машинописная копия с подписью Оксмана; дата его рукой: 25 июля 1936 г.).

Переход от обороны к наступлению в конце записки характерен для Оксмана с его активностью, политическим чутьем, владением навыками ведомственной дипломатии. Но, как известно, все подобные качества, вся адаптация к сталинской реальности не спасали.

Катастрофа произошла в самый разгар напряженнейшей работы над академическим изданием Пушкина — работы, координатором которой был Оксман (сам он должен был готовить „Историю Пугачева” и, вместе с В.В. Гиппиусом, критические и исторические статьи). Как известно, этому изданию и пушкинскому юбилею вообще придавалось значение важного государственного мероприятия — здесь Оксмана можно сравнить с теми деятелями 30-х годов, на которых возлагалось осуществление в нереальные сроки гигантских хозяйственных проектов, с теми, кто силою вещей стали участниками всевозможных „больших скачков”. В отличие от всей плеяды замечательных пушкинистов, готовивших издание, он занимал не только авторитетное научное, но и достаточно высокое административно-общественное положение. Это и притянуло к нему силы террора.

Сказалась, по-видимому, некая внутренняя целенаправленность этих тяготевших над эпохой сил; очень условно ее можно описать таким образом: производятся противоречащие обычной логике карательные действия, сама необъяснимость которых должна, с одной стороны, терроризировать остающихся на свободе (еще и еще раз напоминая, что „у нас незаменимых нет”) и, с другой стороны, вызывать у них все больше самоотверженного старания, напряжения сил. Результатом должно стать — что и происходило — физическое и духовное изнурение, лишавшее людей гуманитарного труда возможности полноценной умственной деятельности и делавшее их „специалистами” (при том что подлинно специальное знание дискриминировалось официальной идеологией), способными выполнять лишь заданный властью или дозволенный ею урок; в этом последнем, мягком случае „специалисты” сами, оправдывая доверие, устанавливали и с большим запасом выдерживали границы дозволенного.

Оксман, как и его коллеги, был объектом этой перековки. Но он, в силу своего положения, был уже и проводником официальной политики — распространенное и имевшее дальние последствия явление в научной среде двух первых пореволюционных

десятилетий. После десяти лет лагерного существования он увидел свежим взглядом результаты этой „работы с интеллигенцией” и, когда прежние государственные методы, спустя еще десятилетие, стали отходить в прошлое, нашел в себе волю и силы повести борьбу против сложившихся в литературно-академической среде стереотипов поведения всеми доступными ему средствами. И может быть, самое главное, сохранил твердость, верность послелагерному взгляду до конца жизни — усталость, болезни и возраст как будто не имели над ним власти. Это выделило его едва ли не из всего поколения. Но о 60-х годах далее, а сейчас вернемся к приведенным свидетельствам А.П.

Они имеют продолжение в ее устных рассказах. 29 июня 1983 г. она говорила: „В конце декабря 1939 г. было сообщено в газетах, что арестована сотрудница Пушкинского Дома Михайлова. Я тут же пошла на вокзал и приехала в Москву 1 января 1940 г. День был рабочий. Было сказано, что ее арестовали в Москве и будут судить. Я отправилась к московскому городскому судье утром с вокзала и была принята. Когда я ему все сказала, он сказал: „Да что говорить — расстреливали без всякой вины, а уж арестовывать!..” Но спохватился. ...Он ее <Михайлову> уволил, у нее оказался дядя — коммунист с положением”. А.П. обратилась к адвокату Успенскому, единственному, по ее словам, кто пытался помогать по политическим делам. „Я пришла к нему прямо домой, и он меня очень хорошо принял. Успенский сказал: „Напрасно Вы теряете время, если Ваш муж уже находится в лагере. Сталин сказал: „Прекратить пересмотры! Достаточно уже освободили врагов народа!”

Эти усилия А.П. были продолжением начатых еще ранее действий. Как известно, после того как большой террор прошел свою высшую точку, после замены Ежова Берией некоторое количество заключенных было освобождено. К 1939 г. относятся попытки Тынянова и Каверина вызволить Оксмана, Л.А. Зильбера; тогда же вместе с другими писателями они просили о пересмотре дела Заболоцкого. А.П. писала мужу 6 июня 1939 г.: „Пора тебе вернуться. Но как это сделать? Быть может, ты написал бы Корнею, но прежде всего тебе следует, как мне кажется, написать наркомку т. Берии. Я сперва думала добиваться помилования, но как просить о помиловании, если не допускаешь возможности вины. С другой стороны, — это более доступный способ добиваться сокращения срока. Рассуди сам”. 18 июня 1939 г. датировано обращение к Берии Каверина. Оно заканчивалось словами: „Нельзя без глубокого сожаления думать, что этот ученый, кото-

рый мог бы принести огромную пользу своей стране, должен бездействовать, занимаясь непосильной для него физической работой. Прошу Вас обратить внимание на это дело, судьба которого имеет бесспорное значение для развития нашей литературной науки”.

К.И. Чуковский помог добиться содействия Союза писателей. 13 июля 1939 г. он писал к А.П.: „Тороплюсь уведомить Вас, что Союз писателей Вашу просьбу выполнил. Надеюсь, что ответ будет вскоре”. Что именно было предпринято, видно из письма А.П. к мужу от 22 июля: „Я была в Москве с 23/VI по 5/VII, ждала Фадеева, который был в Киеве; в Москву Мар. Яковл. (мать Оксмана. — М.Ч., Е.Т.) прислала мне твое заявление от 1 июня, которое я вместе с рядом отзывов и писем и своим заявлением просила председателя Союза писателей передать по назначению”*. В открытке, полученной в Ленинграде 23 сентября 1939 г., К.И. Чуковский писал к А.П., сообщая о своей болезни: „Вряд ли я поправлюсь в ближайшие дни, но чуть Ф. вернется из Армении, я приглашу его посетить меня, и о результатах свидания тотчас же Вам сообщу”. По свидетельству Л.К. Чуковской, А.А. Фадеев вступался за Оксмана⁷.

На Колыму Оксман был доставлен пароходом из Владивостока в середине декабря 1937 г., а покинул ее в ноябре 1946-го. Совершенно очевидно, что для адекватного прочтения публикуемых писем оттуда необходимо постоянно помнить не только вообще об их сугубой подцензурности, но и о сказанном в письме от 23 ноября 1945 г.: автор „несколько идеализировал” описания колымских условий и „оберегал” жену „от всего, что могло бы<...> встревожить” (то же, разумеется, относится к двум письмам из тюрьмы, единственным в данном собрании). В этом смысле публикуемый комплекс должен уяснить источниковеду, что представляет собой такой тип российского эпистолярного текста, как лагерное письмо. Как сообщил Оксман другому корреспонденту в 60-х годах, он писал и более откровенные письма, когда возникла возможность переправить их с оказией; в 1952 г., уже в Саратове, А.П. уничтожила их, опасаясь нового ареста. Но свидетельства Оксмана сохранились в памяти и записях его друзей и учеников. Так, он рассказывал, что во время следствия был момент, когда ему не давали есть, а затем на допросе следователь, накормив его обедом, предложил подписать

На письме — надпись рукой Оксмана: „Письмо получил через 13 месяцев. Очень прошу, Тосемька, его сохранить”.

соответствующие показания. В лагере он несколько раз был на пороге смерти (это не скрыто и в письмах жене — см. 21 июля и 31 авг. — 8 сент. 1943 г.); слова о „часах смертного томления” в публикуемом письме к Л.И. Тыняновой следует понимать в буквальном смысле. Что же касается специфических местных реалий, то благодаря им письма являются не только биографическим документом, но и историческим источником.

В заключении Оксман работал сторожем, бондарем, банщиком, сапожником (как вспоминают друзья, даже привез собственного изготовления сапожки для А.П.); был он и на лесоповале — см. письмо от 27 апреля 1938 г., где черным юмором звучат строки о работе на свежем воздухе. Из людей искусства и литературы, встреченных им на Колыме, кроме упомянутого в письме от 29 мая — 5 июня 1945 г. В.И. Шухаева, следует назвать В.И. Нарбута, Д.С. Мирского, Л.В. Варпаховского. „Так и не знаю, — успели ли закончить академич. большое издание Пушкина”, — писал Оксман жене 8 июля 1943 г.

После окончания пятилетнего срока Оксман не был освобожден — он осторожно пишет об этом 24 января 1942 г., указывая на обстоятельства военного времени. В недавней статье приведен его рассказ о том, как он отказался от предложения начальства совершить какой-либо проступок, чтобы срок мог быть продлен на „законном основании”⁸. Обошлись без содействия заключенного, и Оксман получил свои вторые пять лет. По слышанной нами версии, „начальник” предложил ему „взять” новый срок, зная, что освободившиеся оказывались с начала войны в неопределенно-угрожающей ситуации, которая нередко заканчивалась для них трагически. Согласно К.П. Богаевской, зафиксировавшей рассказ Оксмана, „тройка” дала ему новый срок за „клевету на советский суд”, т.е. за то, что он открыто говорил — и повторил перед „тройкой”, — что не виновен; после объявления приговора один из „судей”, догнав его в коридоре, пообещал освобождение после войны... Вероятно, в связи с подобными обещаниями Оксман не только 24 января 1942 г. не исключает скорого „особого распоряжения” о задержавшемся освобождении, но и даже 31 августа — 8 сентября 1943 г. готов считать предстоящую зиму последней зимой разлуки. Впрочем, в этом письме трудно отделить самовнушение, необходимое, т.к. „иначе было бы трудно жить”, от каких-то расчетов, может быть, политических надежд, связанных с успешным ходом войны. Заметим, что „режимные” обстоятельства относятся к числу наиболее трудновосстановимых. Из писем во всяком случае явствует, что бывали существен-

ные послабления (так, удавалось жить за зоной — см. 4 апр. 1941 г.), особенно в последний год, когда появилась возможность посещать библиотеку в Магадане (см. 26 ноября 1945 г.).

Приводим третий фрагмент заметок А.П.

<3> „Возвращение. В 1946 г. кончался срок десятилетнего пребывания Юл.Гр. на Колыме. Относительно спокойно переносивший все трудности своего подневольного проживания в Магадане, Юл.Гр. явно нервничал и волновался, решая вопрос, что делать после 6 ноября 1946 г.: дело в том, что в Магаданской области нуждались в квалифицированных людях и всячески угваривали не уезжать тех, у кого кончался срок ссылки в лагеря, суля житейски выгодные условия работы; возвращение же на волю казалось неясным и даже опасным по условиям существовавшего режима. В своих письмах Юл.Гр. спрашивал совета, спрашивал, не сочту ли я нужным приехать к нему с тем, чтобы, все продав, захватить с собой только то, что ему может понадобиться для творческой его работы. Я разделяла и сомнения его и опасения, волновалась, советовалась со всеми друзьями нашими и в конце концов пришла к убеждению, что оставаться Юл.Гр. в Магадане не следует, что работать ему там так, как он может и хочет, т.е. продолжать привычную ему творческую работу в области истории и литературы, будет невозможно из-за отсутствия книг и необходимой среды.

Смущало время года — начало ноября, опасность прекращения навигации. Но тут уж пришлось положить на волю случая и удачи, и я написала ему сперва в открытом письме (которое сохранилось), а потом дала телеграмму: „Выезжай и проси направление Вышний Волочок”⁹. К счастью, пароходы еще шли, и я получила от него телеграмму из Владивостока, что 6 декабря он выезжает в Москву. Я, полагая, что он приедет скорым, взяла отпуск и приехала в Москву, чтобы встретить его, ко времени прибытия скорого поезда, но на вокзале в этот день его не оказалось среди прибывших пассажиров. У вокзальной администрации мне удалось выяснить, что из Владивостока идет эшелон, идет не по графику, и когда прибудет в Москву — неизвестно. Я решила остаться в Москве и следить за эшелоном.

В самом конце декабря сказали мне на Ярославском вокзале, где я уже, по-видимому, всем или надоела, или вызвала участие, что, возможно, 30-го эшелон подойдет к Москве, но едва ли его подадут к пассажирскому вокзалу, скорее пассажиров высадят на ближайшей к Москве станции. Снова полагаясь только на счастливый случай, я решила попытаться его встретить. Ночевала

я те дни у кузины Юл.Гр. Манечки Альтер. Ее дочь Ира слыла у Гсей нашей родни ведьмочкой — она гадала по пятницам на картах, все знала наперед, что с кем случится, и даже уверяла, что видела однажды Лермонтова на углу Тверского бульвара и ул. Герцена, когда вышла за хлебом в булочную. Когда же я в 6 часов утра 30 декабря стала потихоньку одеваться, чтобы ехать на вокзал и невольно разбудила ее, она сказала довольно сурово: „Ну что вы мотаетесь, все равно не удастся вам встретить при такой неразберихе“. Да видно, и на этот раз вывезла кривая! В 9 ч. утра на Ярославском вокзале мне сказали, что возможно, эшелон подойдет к Москве, и если подойдет к пассажирскому вокзалу, сказали номер платформы. Так как я приехала рано, от нечего делать подробно постаралась выяснить, где находится нужная платформа, выход из нее пассажиров, на всякий случай разузнала, где на вокзале сдают на хранение вещи, и стала терпеливо ждать поезда и... дождалась¹⁰.

Поезд подошел, стали выходить пассажиры, серые, утомленные долгим переездом, с обросшими в пути лицами (шли преимущественно мужчины), с багажом на спинах и в руках, все грязные, хмурые, но среди них Юл.Гр. не оказалось, прошли последние — его все не было. Я отправилась к камере хранения, и действительно, тут-то я его увидела наконец. Он шел в своем синем драповом пальто, в котором увели его 10 лет назад, в шапке-ушанке, на тоненьких его ногах свисали какие-то розовые носочки, глаза на чрезвычайно похудевшем лице казались глубоко запавшими. Как мы поздоровались, я не помню, но думаю, что из-за общей большой душевной усталости встреча была простой и спокойной. Мы направились к стоянке такси и поехали к Манечке.

Я подразнила нашу „ведьмочку“ — ее ясновидение ей изменило, и Юлечку я все-таки привезла. Надо было не теряя ни минуты начать чистку дорогого нашего путешественника. Поездка на пароходе и 24-дневный переезд в условиях эшелона предписывал срочность полной смены всей его одежды. В ванной комнате я просто ахнула, увидев, что стоит передо мной скелетик, на котором можно пересчитать все ребрышки, туго обтянутые кожей, и это несмотря на то, что осенью я отправила ему 4 тысячи, посылая примерно каждую неделю по 500 р. Не все было им получено, но все же тысячу он привез обратно. Но еще больше удивил он нас — меня, кузину, племянницу, ее мужа, в чей костюм, кстати сказать, пришлось его облачить, т.к. привезенный мною его собственный висел на нем, как на вешалке. Удивил же он нас тем, что

несмотря на 10-летние тяжелые испытания, сохранил и жизнерадостность и остроумие, и несколько не угасший интерес к жизни, людям, литературе, ко всему, что занимало нас. Долго завтракал, болтая, мы не услышали от него ни жалобы, ни вздоха, не уловили намека на злые чувства. Он потерял только мясо с костях, но ясную голову, знания, свойственный ему юмор — все сохранил, быть может, даже несколько обогатив опытом и пережитыми страданиями. Это поразило нас, его близких, поражало и тех, с кем довелось ему встречаться и работать”.

Если два предыдущих фрагмента освещают обстоятельства, не затрагиваемые в письмах, то начало этого прямо относится к письмам 1946 г. Но хотелось бы обратить внимание помимо фактической стороны дела на ту, которая описывается афоризмом „стиль — это человек”. Замечательны спокойное благородство А.П., женственность — и одновременно твердость, непобедимая отчужденность от терминологии, которая, казалось бы, должна была накрепко войти в сознание („ссылка в лагерь” — с трогательной неточностью говорит А.П.), — и здравый смысл.

20 сентября 1970 г., на третий день после похорон Оксмана, Л.Н. Тынянова и В.А. Каверин рассказывали о первом после Магадана появлении его в Ленинграде в начале 1947 г. А.П. привела его к ним ночевать (сама она давно уже жила в квартире, ставшей коммунальной, а в ту зиму, по ее словам, даже в одной комнате с соседкой — упоминаемой в письмах М. Бархатовой), и он сразу кинулся к книжным полкам. На самых верхних полках стояли самые ценные его книги, случайно уцелевшие во время войны. Это были альманахи пушкинской поры. Вор, орудовавший в квартире, украл почти все ценное, в том числе книги с автографами, а до самого верха не долез. Теперь владелец книг вытаскивал одну за другой, открывал, смотрел, „и его не могли оттащить от книг и уложить спать. Поспит стоя несколько минут и дальше смотрит”.

Последние из публикуемых писем Оксмана написаны после того как, побывав в Ленинграде, он отправился для устройства дел в Москву; жить там он не имел права и должен был остановиться в Подмоскowie. Поражает быстрота, с которой он включился в работу. Из Магадана был привезен пушкиноведческий этюд, сразу затем он пишет статью для „Лит. наследства” (см. письма от 26 августа 1946 г. и 21 января 1947 г.), а 6 февраля 1947 г. сообщает жене, что переделал статью, над которой работал в роковом ноябре 1936 г. (о пушкинском замысле „Истории Украины” — опубл. в 1952 г.).

В апреле 1947 г. Оксман стал профессором Саратовского университета. Возобновление его научной деятельности пришлось на чрезвычайно неблагоприятный момент, когда надежды и некоторое смягчение идеологической атмосферы 1945 — начала 1946 гг. сменилось ждановской кампанией, положившей начало новому ужесточению, продлившемуся уже до марта 1953 г. Еще в Магадане Оксман понял, что это может повлиять и на его будущее. 15—26 сентября 1946 г. он писал жене: „Моя радость, ты представляешь себе, как озорчили меня неприятности Анны Андреевны. И без того тяжело, а тут еще принципиальные осложнения. Боюсь, что это задержит и мой вызов, поскольку он связан с официальными учреждениями и лицами”. Трудоустройство прошло благополучно, но излишне говорить о том, каково было заново начинать работу в такой обстановке. Было бы интересно проследить по записям лекций, воспоминаниям слушателей, как ученый согласовывал свои колоссальные знания русского XIX века, революционного движения и общественной борьбы с официальными схемами, — и сравнить, что здесь было сходного с 30-ми годами и в чем заключались различия. (Более сложный вопрос — какую роль в таком согласовании и в 30-е и в 40-е годы играла дореволюционная либерально-демократическая традиция „общественнического” понимания литературы и как она ассимилировалась новой идеологией.) Но это отдельная тема, к которой придется обратиться при изучении в полном объеме драмы отечественной гуманитарности середины века. Пока же нельзя не отметить, что всего через четыре месяца после освобождения, 12 марта 1947 г., Оксман безбоязненно пишет А.П.: „Вообще мне не нравится бюрократически-застойный дух в академических институтах, трусость, постоянная опаска „как бы чего не вышло” и т.д. и т.п.” (в том же письме — ироническое сообщение о „пюрах, сделанных идеологической цензурой в статье для „Лит. наследства”, и ироническое же согласие с ними — см. прим. 44).

Через десять лет, в ситуации общественного подъема конца 50-х — начала 60-х годов Оксман оказался наиболее граждански активным деятелем из всего ряда ученых старшего поколения.

Его не только волновало, будет ли процесс десталинизации донесен до конца и до наказания виновных¹¹, — он считал своим собственным прямым долгом открытое обличение таких людей, запятнавших себя доносами на писателей, как Н.В. Лесючевский. В феврале 1962 г. в письме к М.М. Штерн Оксман писал о решимости „начать борьбу (пусть безнадежную) за изгнание из науки и литературы хотя бы наиболее гнусных из подручных палачей

Ежова, Берии, Заковского, Рюмина и др. Я имею в виду прежде всего тех, кто повинен в физической смерти Г.А. Гуковского, в гибели Заболоцкого, Зощенко, Азадовского, Б.М. Эйхенбаума, в травле Ахматовой, Цветаевой, Пастернака. Вся черная сотня подняла вой, когда я напомнил о том, кто такие Бабкин и Ермилов. Но где были эти гуманисты, когда на их глазах и их же руками убивали и выбрасывали из Академии и университетов лучших представителей советской науки? Нет, мы не имеем права молчать <...>” (Далее он называл нескольких из тех, кто достоин общественного осуждения, открывая этот ряд Г.П. Бердниковым).

В 1962 г. десталинизация достигла критической точки, дальше которой, как мы знаем теперь, ей не суждено было пойти в течение последующей четверти века. Достигла апогея и деятельность Оксмана послеколымского периода его биографии. „Жизнь проходит в таком бешеном темпе, что некогда опомниться”, — писал он М.М. Штерн 19 сентября 1962 г. Надо особо выделить его работу по подготовке КЛЭ — он рассматривал это издание как этап очищения истории литературы от фальсификации, как школу молодых литературоведов¹² — и почти одиночные усилия преодоления железного занавеса, который уже много лет изолировал отечественную науку от мировой. В налаживании действительных контактов с западными коллегами, в самом осознании исторической и этической (не говоря уже о собственно академической) необходимости таких контактов Оксман заметно опередил большинство современников. Это справедливо подчеркнуто Л. Флейшманом (см. прим. 1). Мало того — сознательно идя на риск столкновения с властями, Оксман взял на себя функцию общественного обвинителя, мстителя за погибших — можно было бы сказать, романтическую роль Монте-Кристо.

Как историк-источниковед и издатель-комментатор по преимуществу, Оксман был сосредоточен тогда на восстановлении разорванных террором связей в культуре и закреплении их в письменных (не в последнюю очередь в собственной эпистолярной) и печатных текстах, на собирании источников и свидетельств. Отсюда его активное участие в подготовке собрания сочинений Мандельштама. Тяга к мемуарам переплетается теперь с работой такого рода. 8 ноября 1962 г. он писал М.М. Штерн: „Сейчас занят первым томом Гумилева (вернее, его биографией, на которую пишу замечания, приправленные воспоминаниями). Затеял узорку в ящиках своего стола — за три рабочих дня и два вечера разобрал средний ящик (правда, самый большой и запуганный).

Ант. Петр. читает последний роман Алданова („Живи, как хочешь“). Я был два раза в америк<анском> балете — и очень доволен”.

Он отдавал себе отчет в том, насколько пережитое изменило его, и даже склонен был толковать свои несчастья как возмездие за участие в системе 30-х годов, мало того — как единственное, хотя и жестокое средство к „излечению“: „Нет, одного срока мне было недостаточно, — говорил он Г.А. Бялому (который передал нам его слова), — именно десять лет мне было нужно”.

И когда он говорит в воспоминаниях о готовности Шкловского к компромиссам (ПТЧ, с. 96), можно предполагать здесь несовпадение точки зрения мемуариста с его же точкой зрения в описываемый момент прошлого: со всем темпераментом отдаваясь в 30-е годы не только научной, но и организационно-административной деятельности, сам Оксман, конечно, хорошо знал цену компромисса и вряд ли требовал тогда бескомпромиссности от других. В 60-е годы это был во многом иной человек, хорошо известный знавшим его едва ли не более всего бескомпромиссностью суждений и действий. Эти действия „поверх барьеров“, нарушавшие официальные стандарты общественного поведения, привели в августе 1963 г. к резкому конфликту с одним из государственных ведомств, а затем, поскольку Оксман не поддавался давлению и не сделал шагов, которых от него требовали, — к постепенному отстранению его от активной деятельности, включая увольнение из ИМЛИ и исключение из Союза писателей (октябрь 1964 г.), а также к частичному запрету на упоминание его имени в печати (ряд статей был опубликован под псевдонимами). Этот запрет вплоть до середины 80-х гг. приходилось, и с большими трудностями, преодолевать всем, кто не желал забывать имя ученого.

Новые невзгоды не сломили его и даже не изменили тона писем, в которых, кроме элементарных предосторожностей, нет „уступок“. 29 марта 1966 г. он писал М.М. Штерн: „Шкловские укутали в Прагу. Общее изумление вызвала безумная смелость Виктора, подписавшего обращение в Президиум КПСС 63 писателей, ходатайствовавших о выдаче им на поруки осужденных товарищей. Я не могу сочувствовать Терцам, но письмо написано так умно и благородно, что не может не привлечь внимания“. Как биографический, так и конкретный библиографический интерес представляет „диптих“, с которым Оксман знакомил в те годы близких ему коллег. Первый текст — это копия короткой внутренней рецензии Д.Д. Благого, датированной 28 апре-

ля 1937 г. Она начиналась так: „В издательство Ленинской библиотеки. В гранках работы К.П. Богаевской — многочисленные упоминания Ю.Г. Оксмана и М. Гофмана. Очевидно — после соответствующего выяснения вопроса в Главлите — надо дать снова просмотреть их автору для устранения этих имен. Независимо от этого я полагаю, что ссылка на заведомо белоэмигрантскую публикацию „Путешествия в Арзрум“ 1935 г. должна быть снята (гр. 60); сюда же относятся публикации в сборнике „Окно“. <...>” Второй текст был написан Оксманом 30 лет спустя:

„Вместо послесловия. Работа К.П. Богаевской, задержанная Д.Д. Благим, это известный юбилейный справочник „Пушкин в печати за сто лет. 1837—1937“. В результате бдительности будущего лауреата¹³ из библиографии К.П. Богаевской изъято было свыше 60 публикаций важнейших пушкинских текстов (автографы, ценные списки, варианты), входивших в научный оборот с 1915 по 1936 г.; в 64 случаях изъяты были из справочника имена публикаторов и комментаторов этих текстов, от А.Ф. Онегина до М.Л. Гофмана и Ю.Г. Оксмана.

Инициатива Д.Д. Благого, несмотря на то что М.А. Цявловский добился устранения его от обязанностей редактора „Пушкиннаны“, произвела сильное впечатление и на дирекцию ИРЛИ (Пушкинского Дома), по решению которой многие публикации текстов Пушкина и работ о нем подверглись изъятию из справочника А.Г. Фомина „Puschkiniana 1911—1917“ (М.—Л., 1937)¹⁴.

Все эти сокращения и извращения обоих справочников не были оговорены в предисловиях к ним, ввиду чего оба издания до сих пор считаются у нас образцовыми по своей якобы точности и полноте. Их пробелы не указаны, к сожалению, и в книге „Итоги и проблемы советского пушкиноведения“ (М.—Л., 1966)¹⁵.

Бдительность Д.Д. Благого была и впоследствии такова, что даже из собственной монографии („Творческий путь Пушкина“) он убрал в 1950 г. все ссылки не только на репрессированных авторов (напр., на книги Г.А. Гуковского), но и на тех, кто, по его мнению, мог подлежать новому репрессированию. Этим обстоятельством сам Д.Д. Благой объяснял впоследствии, почему в его книге так много неоговоренных заимствований. Впрочем, остались неоговоренными и заимствования Д.Д. Благого (он всегда был на редкость впечатлителен) из рукописей и докладов ученых, никогда не подвергавшихся репрессиям: Л.П. Гроссмана, С.М. Бонди, И.Р. Эйгеса, Н.Е. Прянишникова и некоторых других. „Юл. Оксман“.

В последние годы жизни ученого инстанции, прежде всего ру-

ководство Союза писателей, давали понять, что членский билет СП и официальный статус могут быть возвращены, если он в любой приемлемой для него форме выразит негативное отношение к своим прежним действиям и даст хотя бы самые неопределенные заверения на будущее. Но в отличие от 30-х годов он не принимал уже самих правил игры и к разочарованию некоторых из его доброжелателей не сделал ничего подобного. Позиция его могла бы быть названа гордой: она оставалась безоговорочно твердой и в то же время никогда не декларировалась.

Следует сказать (вновь лишь обозначая тему, выходящую далеко за пределы этих заметок): драма ученого усугублялась тем, что у него, в отличие от формалистов или позже структуралистов, не было принципиальных методологических расхождений с официальной доктриной, предписывавшей рассматривать литературу как отражение социальной борьбы. Ему не приходилось ничем жертвовать, для того чтобы держаться в рамках этой доктрины (если говорить не об их размытости и зависимости от политической конъюнктуры, а об идеологическом ядре). Оксман всегда интересовался главным образом социально-политический контекст литератур, ее связи с общественными движениями. „Методологический мир” с официальной наукой, нуждавшейся к тому же в его высококлассных фактологических разработках по Пушкину, декабристам, Белинскому и др. (канонизированный ряд, заданную в главных чертах интерпретацию которого ей требовалось постоянно поддерживать), — казалось бы, должен был обеспечить ему в последние 20 лет деятельности прочное общественное положение. Такое положение, собственно, и было достигнуто, но, как уже говорилось, он сознательно пожертвовал достигнутым, поскольку не желал поступаться опытом своей биографии ради благополучного ее завершения. Читая поздние работы исследователя, нельзя догадаться, что автор находится в конфликте с властями, — в этом смысле позволительно сказать, что личность его была крупнее, ярче, поведение — свободнее, чем можно представить, если судить по его приверженности к традиционной, „патриархальной” методологии и терминологии.

С обычным сожалением приходится констатировать, что лишь немногое из того, что он говорил — а говорил он щедро и был настоящим мастером беседы, равно владея искусством монолога и диалога, — оказалось зафиксировано. Приведем запись двух его мемуарных новелл, рассказанных в мае 1968 г.:

„Жданова, приехавшего на похороны Кирова, собралась приветствовать научная и творческая интеллигенция Ленинграда —

в Смольном. Выступал Тихонов. Он сказал, что только коллективный мозг может заменить Кирова. „Мы все должны думать, думать и думать“. И раздалась реплика Жданова из президиума: „Товарищи, в стране есть кому думать! Ваше дело исполнять!“ И насмешливым взглядом обвел лица присутствующих. В перерыве Оксман кротко осведомился у Тихонова: „Скушали?“ — „Ужасно, ужасно...“ — прошептал тот”.

„В этом же, кажется, году Пильняк, Тихонов и Оксман шли мимо только что выстроенного (взамен сгоревшего в 1917 г. окружного суда) здания НКВД (к нему и по сю пору примыкает здание предварилки на Шпалерной, где все сидели начиная с 1917 г.). И Тихонов, показывая на внушительное сооружение, сказал: „Как жаль, что это здание выстроено теперь, когда оно уже никому не нужно!“ Пильняк же утешил его: „Ничего — посмотрите, оно очень легко может быть превращено в отличную гостиницу!“

В ПТЧ мы упоминали о том, что в последние месяцы жизни ученый размышлял и говорил о личном и историческом смысле выбора, сделанного интеллигенцией в первые пореволюционные годы. Добавим теперь, что в одном из самых последних разговоров он резко осудил свое поколение гуманитариев, увидев в этом выборе историческую вину. Однако альтернативный путь остался, как кажется, ему неясен.

Исследователь, так много сделавший для изучения России XIX века, Оксман сознательно создавал письменные и устные свидетельства о своей эпохе. Ему не удалось осуществить мечту и написать мемуарную эпопею в духе „Былого и дум“ (см. письма от 31 авг. — 8 сент. 1943 г., 6 дек. 1944 г.). Эпистолярная энергия, щедрость на устные рассказы, стремление повысить температуру общественной жизни хотя бы посредством частной переписки, бывшей для него, в сущности, формой публичности, — при явном недостатке других ее форм, политических, общественно-культурных, да и научных, — побуждают сравнивать его скорее с такими фигурами, как Вяземский и А. Тургенев. Собираание его свидетельств должно быть продолжено и, надо думать, станет расширяться по мере приближения исторических исследований советского общества к статусу и методам науки.

х х х

Из обширной многолетней переписки Ю.Г. Оксмана с женой для публикации выбрано 30 писем 1936—1947 гг., подавляющее большинство которых связано относительным единством места

и обстоятельств. Это лишь часть лагерного эпистолярного цикла, гуждающегося, конечно, в полной публикации, невозможной в настоящем сборнике лишь по недостатку места. Несмотря на последнее ограничение казалось необходимым напечатать хотя бы несколько ответных писем А.П., которые позволяют яснее представить очертания эпистолярного диалога и сами по себе являются характерным документом быта тех лет, когда каторга родных и близких стала обыденным, домашним делом миллионов семей.

Письма Оксмана печатаются по машинописным копиям, предоставленным А.П. Оксман вместе с рядом других материалов из архива ученого, о чем сообщалось в ПТЧ (с. 80). 4 письма А.П. Оксман к мужу печатаются по подлинникам. В ряде случаев мы сочли возможным не раскрывать сокращенные написания там, где чтение очевидно или было пояснено выше. В некоторых других случаях для упрощения аппарата публикации фамилии упоминаемых лиц введены в текст в виде конъектуры, отмеченной угловыми скобками.

Публикацию завершает письмо Оксмана к Лидии Николаевне Тыняновой (1945), целиком посвященное Ю.Н. Тынянову.

Часть печатаемых писем, а также письма к К.П. Богаевской и Б.Ф. Егорову были оглашены на конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Оксмана и проведенной 14 января 1985 г. секцией документальных памятников московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Гос. музеем В.В. Маяковского. (Это был первый публичный акт в честь ученого с того момента, как в 1963—1964 гг. судьба его снова круто переменялась — теперь уже в последний раз.)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Об Оксмане см. также: *Боровой С.Я.* К истории создания Одесского археологического института и его археографического отделения // Археологический ежегодник за 1978 год. М., 1979; *Козинцев Г.* Собр. соч. Л., 1986. Т. 5. С. 481—482 (приведена выдержка из письма Оксмана Козинцеву от 18 апр. 1964 г. о замысле воспоминаний о Тынянове); *Каверин В.* Литератор: Дневники и письма. М., 1988. С. 133—145; *Dryzhakova E.* The Fifties in Transition: A.S. Dolinin and Yu.G. Oksman, Our Remarkable Teachers. // Oxford Slavonic Papers. N.S. Vol. 18. 1985. P. 120—149. Исключительно ценный эпистолярный материал опубликован

и прокомментирован Л. Флейшманом: *Stanford Slavic Studies*. Vol. 1. 1987. С. 15—70.

² В параллельном наброске: „Он бывал у нас в Одессе <...> помнится, мы жили тогда на одной улице. <...> После переезда нашего в Л-д вскоре переехал туда же и Семенов-Зусер. Что послужило причиной мстительного поступка Зусера — я не знаю. Юл.Гр. всегда скрывал от меня все огорчительное, что происходило в его деловой стороне жизни”.

³ В беседе 20 июня 1983 г. А.П. говорила: „У него не было врожденного такта; он был остро слов — и наживал себе врагов”. По ее мнению, это сказывалось и после смерти Ю.Г. „Был очень вспыльчив — и я из-за этого совсем не могла с ним работать. Он сразу начинал кричать — и просто ругаться! А я так совсем не могла... И это было обидно — потому что я очень хорошо могла бы ему помогать! Ведь я просто умолила его взять меня в Пушкинский Дом — посмотреть герценовские рукописи. И многое прочитала, что было не разобрано ни Лемке, ни потом”.

⁴ В рукописи употребляется позднейшее обозначение — МГБ.

⁵ То, что изъятие рукописей из коллекции Оксмана было осуществлено еще до его ареста, объясняется отношениями В.Д. Бонч-Бруевича с НКВД. Эти отношения получили освещение в новейшей работе. См.: *Шумихин С.В.* Образование, комплектование и использование архивного собрания Государственного литературного музея в 1931—1941 гг. Автореф. канд. дисс. М., 1988. С. 24, 26. Незадолго до ареста Оксмана в печати было объявлено, что он приготовил к печати автографы Пушкина и другие документы из коллекции Щеголева (Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936. С. 363). К обстоятельствам, изложенным А.П., следует добавить факт, известный нам из заслуживающего полного доверия источника: после ареста Оксмана А.П. уничтожила письма к нему А.М. Горького. Текст одного письма приведен И.С. Зильберштейном: *Огонек*. 1988. № 15. С. 7. Письмо представляет собой официальное уведомление, копии которого рассылались, по-видимому, всем членам рабочей комиссии комитета, образованного для подготовки Пушкинского юбилея 1937 г. Отношения Горького и Оксмана были более близкими, чем можно судить по этому документу.

Через десять с лишним лет после описанного А.П. обыска и через три месяца после освобождения, 12 февраля 1947 г. Оксман писал жене: „Виделся с Бончом (ты, видимо, произвела на него в свое время сильное впечатление — он вспоминал об этом много раз и очень просил кланяться) — договорился о печатании у него

в „Звеньях”, а он выдал мне бумажки о работе у него <...>” 8 марта 1947 г. Оксман добавил к этой идилической картине такой ядовитый штрих: „Был на завтраке у Бонч-Бруевича <...> ему же отдал и „Тургенев на службе в Мин-ве внутренних дел” — старая работа, которую я сейчас подновил тремя страницами. Получилось очень занимательно и даже актуально — как это, мол, Тургенев — и тот работал по такому ведомству, а наши почему-то стесняются. И в самом деле есть над чем подумать...” Сотрудничество в „Звеньях”, однако, не состоялось („старая работа” о Тургеневе появилась в печати еще через десять лет).

⁶ М.Н. Тухачевский был арестован в мае 1937 г.

⁷ Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Paris, 1980. Т. 2. С. 156.

⁸ Dryzhakova E. Указ. соч. С. 143.

⁹ В открытке, которую упоминает А.П. (от 1 окт. 1946 г.), говорится о совете одной из знакомых устраиваться в Вышнем Волочке — „там очень много жителей с таким паспортом, как у тебя”.

¹⁰ В ПТЧ (с. 86) вместо Москвы ошибочно указан Ленинград.

¹¹ Чуковская Л. Указ. соч. С. 223. Ахматова разделяла точку зрения Оксмана (там же, с. 233).

¹² В заметке, написанной для конференции в честь Оксмана (о ней см. далее), И.Б. Роднянская сообщила о характерном выступлении ученого в 1964 г. на обсуждении в ИМЛИ двух первых томов КЛЭ: „<...> Админис.ративно-академическая верхушка института обрушилась на „энциклопедистов”, главным образом за то, что они включили в словник немало имен молодых литераторов с шаткой еще репутацией и поручили писать о них столь же молодым, безвестным и, стало быть, безответственным авторам. В частности, крайнее неудовольствие возбудила моя малейшая заметка об Андрее Вознесенском <...> Ю.Г., по-видимому, загодя не готовившийся выступать, попросил слова. И слово его дышало самым настоящим гневом. Что это за Аристархи такие, говорил он, которые с брезгливостью и высокомерием третируют молодую поросль литературы, считая ее недостойной внимания и непричастной к литературному процессу, пока она не остепенится и не задубеет?! Он напомнил о роли разных поколений „молодой России” в общественных и литературных делах и всячески стыдил собравшихся за их унылое ретроградство и за стремление привить молодым критикам и исследователям молчаливые нормы поведения.<...> И хотя потом создателей энциклопедии не миновала положенная на этом этапе доля „неприятностей”, но, благо-

даря атакующему выступлению Ю.Г., от обсуждения в ИМЛН осталось психологическое впечатление не провала, а победы”.

¹³ В 1951 г. Д.Д. Благоев получил Сталинскую премию за книгу „Творческий путь Пушкина”.

¹⁴ Ср. об одном случае такого изъятия: ПИЛК, с. 427, прим. 21. Оксман был редактором указателя Фомина. Книга вышла в свет уже после ареста Оксмана, и его имя было заменено — ответственным редактором указан Л.Б. Модзалевский.

¹⁵ Имеется в виду коллективная монография „Пушкин. Итоги и проблемы изучения”.

х х х

Приносим искреннюю благодарность Мальвине Мироновне Штерн за любезное разрешение воспользоваться обращенными к ней письмами Оксмана. Ей же и Соломону Абрамовичу Рейсеру мы обязаны рядом ценных справок. Считаю долгом выразить глубокую признательность Ксении Петровне Богаевской, которая в разное время познакомила нас с рядом интересных материалов. Составленная ею полная библиография работ Оксмана ждет издания.

Ю.Г. Оксман к А.П. Оксман

18.XI.1936¹

Дорогая Тосенька, надеюсь, что ты не беспокоишься за меня, а я чувствую себя прекрасно, хотя и скучаю — мой сосед глухой и с трудом говорящий 3—4 фразы в день старик. Деньги я забыл взять (15 р.), со мной только 4 р., но это не беда. — покупать нечего, сверх 15 р. денег не присылай, беспокоит меня декларация, ты ее составь сама по моим материалам (в столе), оставь место для моих дополнений и пришли мне сюда на подпись. Думаю, что через Мальвину² можешь прислать. Передачи мне не нужны — чаю и сахара я взял довольно, масло я ем медленно. Нужны будут только рубаха и простыня (и то не скоро). Уплачивай за квартиру, скажи, что расчетная книжка у меня с собою. Если будет договор для подписи на Гевского³, то пришли на подпись сюда. Гранки сборника пусть выправит Троцкий или Марк Константинович⁴. Крепко тебя целую. Не беспокойся за меня. Твой Ю.

15 янв. 1937⁵

Дорогая Тосенька, я [бодр]* и здоров, был бы вполне спокоен, если б был уверен, что ты понапрасну не волнуешься из-за меня. Моя совесть советского гражданина и ученого позволяет мне быть крепким и верить в то, что недоразумение выяснится скоро. Пользуюсь я кооперативом, где консервов всяких много, а по ому пока в переделах не нуждаюсь. Вообще пищи много и не плохо... Беспокоит меня, что ты одна в квартире среди чужих. Попроси переехать к тебе Люсю или хотя бы Мальвину. Не забудь послать маме денег и калоши, напиши ей, что я болен или в Москве, чтобы не беспокоилась. Корректуру Тургенева⁶ постарайся выправить сама, когда получишь. Там будут ссылки на страницы без цифр, которые исключи, если не разберешься. Если будет машинка и время, перепиши „Повести Белкина“ из госиздатовского Пушкина 2 экз. Крепко тебя целую. Твой Юл.

Денег нужно мне 8 руб. в неделю — пока хватит на 2 недели <1 слово прзб.>

20 марта <1938>

Дорогие мамочка, Тося, Тамара и Вовочка⁷, пишу сразу всем вам из Магадана (это городок у Нагаева). Последний раз писал вам очень давно, 4 декабря из Владивостока. От вас был обрадован телеграммой от 12 декабря, полученной мною здесь около 18^{го} декабря. Очень больно мне, что до сих пор от вас не получил ни одного настоящего письма с ответом на свои вопросы, даже о Тосе я ничего не знаю. Пишите четко и откровенно обо всех наших личных делах, отвечайте на все мои старые вопросы, сообщайте о себе все, что у вас делается, чем и как живете, где Мика⁸ и проч. О себе мне сказать нового нечего, хорошо, что здоров и бодр, а живу последние недели как в Хабаровске. С нетерпением жду вашей первой посылки, которая застряла во Владивостоке или возвратилась в Одессу. Обязательно выясните путем заявления на почту ее судьбу. Впредь присылайте посылки маленькие, но чаще. Лишнего ничего не надо, но обязательно сало, масло топленое, леденцы (кило), сахар (2 кило в посылке), махорки 10 пачек, манная крупа (1—1,5 кило), яичный порошок, толокно (1 кило), консервированное молоко или какао (2 банки), чаю — 1/4, копченая колбаса (1,5 кило), сухие фрукты (1/4 кило). Все хорошо пакуйте. Вещей не надо, хотя из моих старых ничего у

*Слово зачеркнуто. — Ред.

меня кроме пальто не осталось, но имею все лагерное, что нужно. То, что было в первой посылке, все нужно, кроме бумаги и марок, а сверх того только рубашка верхняя сатиновая, ремешок для пояса, брюки старенькие, иголки и две катушки ниток, зубная щетка, мыло и мыльница. Денег еще от вас не получил тех, которые отправили во Владивосток, но жду их скоро. Пока присылайте телеграфно 30 руб., а впредь по 25 р. в месяц. Телеграммы ваши старые получил все, но квитанций на оплаченный ответ не было; потребуйте с почты эти деньги назад. Живую мыслью о всех вас, вспоминаю каждый год и даже месяц жизни с вами, хочется поделиться опытом новой жизни, стать ближе к вам, чем был, занятый прежней работой. Временный адрес мой: Бухта Нагаево, Свитл, Почтов. ящик № 3, 3-я лесозаготовит. контора.

Жду с нетерпением писем.

Весь ваш Юля.

27 апреля 1938

Дорогие мамочка, Тосенька, Томочка, пишу вам всем вместе второй раз после Владивостока, но первое письмо, от начала марта, уже устарело. Не писал так долго только потому, что закрытие навигации все равно обрекало письма на лежание без движения; а телеграммы не мог послать до назначения на работу с определенным адресом. После приезда, как вы знаете, я сразу же заболел и пробыл в больнице и санитарном городке почти два месяца⁹. Благодаря хорошему уходу и питанию я поправился, 23 февраля переведен был из транзитки в 3-ю лесозагот<овительную> контору, где работать стал понемногу с середины марта. На свежем воздухе, в лесу или на трассе в течение 11,5—12 часов в день, я несмотря на большую усталость из-за своей непривычки к физическому труду, очень окреп, посвежел и научился не придавать значения недомоганию, простудам, сердечным припадкам и прочим своим немощам, к сожалению многочисленным. Настроение у меня почти всегда бодрое и только отсутствие вестей от вас и полное незнание того, что произошло с вами за последние полтора года, меня угнетает. С 17 апреля я в Магадане, на новой работе, пока временной, а потому и адрес, сообщенный вам в телеграмме, нельзя считать постоянным. Все письма, деньги и посылки надо посылать по след<ующему> адресу: Дальневост<очный> край, Бухта Нагаево, почтовый ящик № 3, мне. Отсюда перешлют корреспонденцию в любое место, где я буду находиться. Остальные адреса

имеют временное значение и нужны только в срочных случаях. От вас я получил телеграмму от 16 декабря, но без квитанции на обратную передачу. Послал же вам две телеграммы, одну числа 12 апреля, другую сегодня, на последние гроши. Надеюсь получить деньги, присланные вами во Владивосток, но до сих пор из них не мог получить ничего. Посылка, отправленная вами ок<оло> 20 ноября, ожидается мною с первым пароходом, т.е. дней через десять. Очень она была мне нужна зимою для поправки, да и сейчас жду ее с величайшим нетерпением. Обидно, что из-за 3—4 дней вашего промедления я не успел уже ее получить своевременно. Ну, да что говорить о посылке, если я до сих пор не получил ни одного письма от вас, ничего не знаю о Тосе и все мои вопросы в письмах остались без ответа. Чему это приписать — прямо не приложу ума, так как знаю, что мучить меня без причин вы не стали бы! И все-таки я требую сейчас точной информации, пишите все прямо и точно, ни о чем не беспокоясь. Обязательно отвечайте на мои вопросы в старых письмах, сообщите о Мике, Тамаре, Вовочке, Соне и Маничке¹⁰, о моих автографах Пушкина, коллекциях и бумагах. Часто я досажую, что не знаю никакого ремесла, которое бесконечно облегло бы мне сейчас мой быт. Моя высшая ученая степень кажется мне ничем сравнительно с квалификацией столяра или плотника. По состоянию своего здоровья я избавлен от особенно тяжелых работ, получаю дополнительное питание уже с <месяц>, но отсутствие специальности прикладной мешает <нрзб.> получению заработка, который имеют все почти здоровые лагерники, честно выполняющие свои задания. Я просил уже не присылать ничего лишнего, а потому точно перечислю, что нужно выслать мне немедленно, ибо посылка будет идти не меньше 1 1/2 месяца, а то и больше. Из носильных вещей нужны мне: брюки старенькие или легкие дешевые, два ремешка, хороших, косovorotka, одна из моих старых верхних рубаш, одна смена старого латаного белья, полотенце простое, три пары чулок простых, но крепких. Из продуктов: сало, масло топленое, маслины — 1/8 к., копченая колбаса, сахар (кило), леденцы с начинкой (подешевле) 1,5 кило, охотничьи сосиски, чай — 1/4 ф. (хорошо бы кирпичного, купленного еще в Одессе), толокно — 1/2 кило, зубную щетку, мыльницу, бисквиты или печенье сладкие — 1/2 кило. Ни фруктов, ни сухарей, ни чеснока не надо. Из консервов хорошо бы сушеного молока банку-две, шпроты, но боюсь, что займет много веса. Обязательно прикладывайте точную опись того, что вкладывается в посылку, все должно быть хорошо упаковано. Ни манной крупы, ни

чистой бумаги не надо. Махорки — пачки четыре-пять, конвертов с маркой — три. Хорошо бы посылки небольшие, но почаще, регулярно — одну маленькую в месяц. Ужасно боюсь, что вам это трудно, но денег посылать не надо сверх того, что выслали и 100 руб., которые просил выслать. Вещей, взятых из дому, у меня уже не осталось, но нужды в них нет, особенно если получу зимнюю посылку. Обнимаю вас всех, крепко, крепко целую.

Ваш Юля.

<Приписки на полях:>

1. Купите в „Динамо” рюкзак и зашакуйте в него посылку.
2. Только что получил вашу телеграмму от 20 апреля.

3 сентября <1940>

Тосенька, получил только что твое письмецо от 29/VI и чувствую себя именинником. Итак, предчувствие мое относилось, конечно, не к прошлогоднему, а именно к этому письму. Пишешь ты, моя радость, хотя и скупое в смысле фактическом, но удивительно тонко в каждой строчке отражаются все оттенки твоих мыслей и настроений, — а ведь это и есть „свой стиль”, то единственное и неповторимое, что больше всего нужно в переписке. Радость моя, бесконечно тронули меня твои проекты приезда сюда, но если ты хоть немножко любишь меня, поспега<райся> вытравить эти тенденции и из <писем> и из сердца. Даже если бы я был здесь в другом положении, то и тогда не решился бы на твой приезд, учитывая все особенности колымского быта и условия поездки, ну а сейчас это просто было бы преступлением. Моя ненаглядная, с нетерпением жду продолжения твоего письма и ответов на свои вопросы. Очень рад, что дошли и странички, относящиеся к Юр. Николаевичу. Однако имей в виду, что получил твое письмо совершенно случайно, а потому повтори все то, что ты отложила на продолжение еще в одном письме, кот. отправь по адресу, которым пользовалась мама. Это будет и скорее и вернее. По этому же адресу можно будет отправить и деньги на зиму — рублей 150, не больше. Этого хватит до весны, а если бы вдруг понадобилось раньше, то постараюсь уведомить о том, что надо возратить долг такому-то. Обязательно напиши, дошли ли до тебя письма 23 октября (об Ел<ене> Мих<айловне>¹¹) и одно из писем этого года, в которое я вложил и подлинное письмо ее. Дело не в ней, а в том, дошли ли именно эти письма. Материально я, моя радость, вполне обеспечен на ближайшие месяцы, но надеюсь, что и дальше как-нибудь справлюсь до следующего лета, если останусь здесь. Сам готовлю сейчас и макароны, и го-

рох, и манную, пользуясь всякими экзотическими жирами вроде оленьего и даже „мор. зверя“. Недавно достали мне даже капусту свежую и свинину, обещают еще 5 кг картофеля (это здесь самый большой деликатес). Появилась опять и кетовая икра, но стоит 40 р. кило, что непомерно дорого сравнительно с прочим даже здесь. Я писал уже тебе, что за шоколад, конфеты я получил столько необход<имых> продуктов, что мог из них жить почти три <недели?>. Физически я сейчас очень крепок. <Хотя?> нервы и дают себя знать при <серьезных?> волнениях. Единственный раз почувствовал за три года потребность в враче, когда расшатался золотой мост в нижней челюсти. Но пришлось его просто снять самому, ибо зуб. техник не полагается в наших условиях.

Никак не думал, что до сих пор не взяла денег из сбер. кассы. Постараюсь добиться отправки тебе доверенности, но это очень длинная история (на руки все равно мне не выдадут, а рассчитывать на официальную доставку тебе этого документа трудно, ибо он должен пройти через 10 инстанций), Ты и не представляешь себе, какими бюрократическими путями связан каждый шаг.

Бесконечно рад, что ты отдохнула хоть несколько дней на Сиверской, но еще больше был бы рад, если бы ты вместо поездки в Москву поехала бы еще на месяц в Дом отдыха. Крепко, крепко обнимаю тебя и целую, моя радость. Серд. привет Наг<алье> Лаз<аревне>, Нюсе¹², Тамаре и всем общим друзьям и знакомым.

Октябрь 1940

О смерти Дмитрия Петровича узнал только из некролога в „Лит. газете“, хотя ты и пишешь, что сообщала мне об этом¹³. Вероятно, письмо твое где-нибудь застряло, как полагается и всей корреспонденции. Только на днях получил мамины письма за первые пять месяцев года, перечеркнутые местами, а главное, сильно устаревшие. Письма же за май—июль получил гораздо раньше. Теперь о деньгах. На зиму мне понадобятся деньги на кое-какие продукты. На счету у меня осталось рублей 100, не больше. Так как я весной и летом много выбрал, даже не заметив, что так много прожил (правда, все посылки пока целы и обеспечат зиму, если проведу ее здесь). Вышли, пожалуйста, мне теперь же 100 руб. на Произв<одственный> комбинат, да столько же по друг<ому> адресу. С декабря присылай регулярно по 50 р. в месяц до весны на адрес Произв. комбината (телеграфно).

Вчера достали мне, наконец, VII томик изд. „Academia“, т.е.

томик прозы Пушкина, кот. я до сих пор не видел. Это моя последняя работа, которой я очень дорожу. Сейчас просмотрел все это как бы „со стороны” и остался доволен, хотя к самоумилению я, как ты знаешь, не очень склонен. Но все-таки надо весь этот материал развернуть в книгу о прозе Пушкина. Нельзя с читателем говорить о таких материях алгебраическими формулами, понятными до конца только двум десяткам специалистов. Обязательно потребуй у Цявловского двух хотя бы экземпляров этого томика и прочти о „Капитанской дочке”. Это хотя и конспект, но удачный. Из комментариев к „Пиковой даме” изъята страничка об отражении в Германне образа Пестеля. Это хотя и парадоксально, но правильно, а потому мне немножко досадно за изъятие этих страничек. Остальной текст дан полностью, не достаёт только имени автора, но и это хорошо известно тем, кто такими вещами интересуется. Тосенька, меня очень тронули твои строки об отношении Ник<олая> Леонид<овича>. Впрочем, я в нем и не сомневался никогда, независимо от того, что сам и любил его и ценил, как очень немногих¹⁴. Что же касается Анны Андр<еевны>, то, конечно, ты и она очень уж разные по своему химическому составу индивидуальности¹⁵. Для меня разница складов (и психического, и идеологического) никогда не определяла личных отношений, но для таких натур, как ты, моя родная, это, конечно, самое основное. Кстати, у нас работает один ленинградец, который в 1938 г. сидел в Ленинграде с сыном Анны Андр. и перестукивался с Д.Я. Шиндером. Как поживает Марк Конст.<...>? Видаешь ли ты Васю? Что слышно о Мих. Павловиче и Нине Владимировне?¹⁶ Как здоровье Юрия Николаевича? Работает ли он над вторым томом Пушкина? „Два капитана” Каверина читаю в „Лит. современнике” — очень хорошо написано, умно и занимательно построено, нравится здесь всем, у кого сохранились остатки вкуса. Передай ему это, он дорожит мнением читателей, даже колымских, которые, впрочем, ничем не отличаются от прочих...

Тосенька, отвечай поскорее, чтобы письмо поспело на последние пароходы. Зимой присылай телеграммы не реже раза в месяц (на Произв. комбинат). Возвращаю тебе твое письмо от 22 июля 1939 г. и прилагаю заметки и поправки для будущего издания „Прозы Пушкина”.

Весь твой Юл.

20 октября 1940

Ненаглядная моя Тосенька, сегодня, 20 октября, получил твое письмецо от 7 сентября (а перед ним последнее было от 2 августа). Ты пишешь раза два в месяц, но доходит, видимо, половина. Я пишу, примерно, раз в месяц (интервалы больше бывали случайно и от меня не зависели), и пока что почти все дошло и до тебя и до мамы. Правда, отсюда к вам корреспонденция движется медленнее, чем в обратном направлении. Тосенька, родненькая, бога ради не нервничай и не волнуйся, если долго придется ждать от письма до письма. Условия ведь не совсем нормальные, а сейчас с прекращением навигации и для господствующего класса Колымы связь с так называемым „материком“ становится очень сложной — только радиogramмы, да и то отправка каждой сопряжена с такими формальностями и ограничениями, что я боюсь даже затруднять такими просьбами своих случайных друзей. За меня можешь быть совершенно спокойна: я здоров и бодр, ничего плохого со мной случиться уже не может, кроме ухудшения бытовых условий в случае перевода из Магадана, но, во-первых, об этом переводе пока нет и речи, во-вторых, если речь и будет, — есть кому меня отстоять по совершенно объективным признакам и, наконец, в-третьих, если мне к весне придется уехать, то как-нибудь остающиеся месяцы я „прокантуюсь“, выражаясь блатным жаргоном. Итак, моя родненькая, будь вполне спокойна за меня даже „на худой конец“, о котором, однако, пока и думать не приходится, ибо все складывается очень благоприятно в перспективе ближайших месяцев.

Тосенька, я до сих пор думал, что ты на прежней работе; сейчас из твоего беглого замечания в последнем письме вынес впечатление, что ты на какой-то из своих станций¹⁷. Поэтому напиши точнее. Ведь все, что касается тебя, меня занимает кровно, а работа ведь для тебя не только „привходящая“ часть жизни, а то, во что ты себя вкладываешь если не полностью, то уж в очень-очень большой части. Если это за городом, то понятно, что ты никого не видишь и нигде не бываешь, но только, моя любимая, не забывай о себе, береги себя, пойми, что для меня ничего нет дороже тебя, твоего здоровья, твоего душевного спокойствия. Тосенька, наша встреча уже не за горами, это уже отмечено в повестке дней 1941 года. Очень жаль, что Кузька не дожид до возвращения хозяина.

4 апреля <1941>

Родная моя Тосенька, дней восемь назад у меня была большая радость — неожиданно получил твое письмо от З/ХП, отправленное ледоколом и полученное мною вместе с целой пачкой старых писем твоих и маминых. Письма эти задерживались, видимо, на просмотре и их вернули мне вместе с новеньким, когда проверили в Усвитле мой адрес. Бесконечно тронут, моя ненаглядная женушка, твоими мыслями и хотя не очень ясно в них разбираюсь, но надеюсь, что ощущаю основное безошибочно. Моя родная, только бы ты была здорова, только бы продержалась еще немного, не растрачивая своих сил на бесполезные хлопоты, мелкие тревоги. Ты рассказываешь о своих визитах к Лидии Ник. и Анне Андр. — мне все это очень интересно, я очень выделяю их обеих из числа всех наших знакомых женщин, так же как Ник. Леонид., Корн. Ив., Юр. Ник. и даже Вен. Ал. из числа друзей. Спрашивал я тебя как-то о Мих. Павл. Алексееве и Нине Владимир., но очень рад, что ты не забыла Спиридоновых¹⁸ — они очень милые старозаветные люди. Рад и за Илюшу¹⁹ — в его отношении ко мне я никогда не сомневался. То, что ты писала о Михайловой²⁰ (всеннее письмо 1940 г., кот. я получил только сейчас), меня, разумеется, очень развеселило, но конечно, я никогда не был настолько наивен, чтобы ожидать от ее разоблачения облегчения своей участи. Впрочем, для полной реабилитации это мне пригодится, если ситуация будет такова, что придется об этом беспокоиться. Настроен я не очень оптимистично, чтобы не сказать больше, но пока думаю только о том, чтобы выбраться до конца навигации отсюда. А это не очень просто, и только надеюсь на медицинскую комиссию, которая меня направит на материк как полунинвалида (по сердцу). Кстати, брися на днях в парикмахерской нашего поселка (я живу за зоной, в условиях очень хороших с внешней стороны, гораздо вольнее, чем даже в Магадане, но дело в том, что кругом только лес, сопки и река) — глянул впервые за несколько месяцев в зеркало и ахнул от неприятного пейзажа на своей голове — лысина спереди утроилась, волосы почти все уже седые, редкие. Живу я в условиях очень неплохих для моего положения, сыт, не очень утомляюсь, в тепле, без забот о самосохранении, не нуждаюсь решительно ни в чем. Но твердости в этом положении нет, могут направить отсюда гораздо дальше и на другую работу, т.б. и непосильную.

Минувших дней очарованье,
 Зачем опять воскресло ты?
 Кто разбудил воспоминанье
 И замолчавшие мечты?

Шепнул душе привет бывалый,
 Душе блеснул знакомый взор
 И зримо ей в минуту стало
 Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое „прежде”,
 Зачем в мою теснишься грудь?
 Могу ль сказать: „живи” надежде?
 Скажу ль тому, что было: будь?

Госенька, родная, вчера впервые за 5 месяцев развернул случайно попавшуюся в руки книжку — стихи Жуковского. В 1913 г., примерно в это же время, в Бонне, я также случайно перелистывал старинное издание Жуковского, и именно эти стихи, в весеннюю чудесную ночь (у нас здесь еще зима, 30 град. морозы, но днем лучи солнца жгут почти как на юге) воскресили тебя, бесконечно потянули домой, всколыхнули всего и все, безотчетно и неожиданно. Так и сейчас, даже не удержался записать эти стихи вместе с 3-й строфой, которая прежде мне не нравилась, а сейчас звучит громче меланхолических первых двух как оптимистическая концовка, как упование. Право, мне даже бодрее и легче стало на душе от этой литературной зарядки, м.б. слишком даже „литературной”.

5 апреля

Получил только что кое-что из своих вещей из Магадана — мою посылочку, которую я оставил <1 слово нрзб>, но которая сейчас сгодилась гораздо больше, чем в Магадане, какао, молоко, сахар, масло. Всего много, хватит на месяца полтора, ибо обедом и ужином я обеспечен здесь очень хорошим, конфет достаю сколько угодно (простой карамели, разумеется), чаю и печенья тоже. Пожалуй, всего этого у меня легче достать, чем в Ленинграде. Поэтому, моя радость, воздержись от посылок, а пришли лучше денег — 200 руб. на адрес: Магадан, Производ. комбинат, Шгерну Александру Яковлевичу. Это мой приятель, вольноотпущенный <2 слова нрзб>. Получил извещение на 50 руб. (вероятно, в январе ты их перевела <1 или 2 слова стерлись> эти мне до освобождения <1 слово стерлось> выдадут.

9 апреля 1941

Тося, родненькая, весна чувствуется с каждым днем определеннее, несмотря на морозы, несмотря на бураны, несмотря на то, что все кругом завалено двухметровым снегом. Писал я вам за 5 м-цев, т.е. после отъезда из Магадана (ты и мама, вероятно, получили эти мои „прощальные” письма) только дважды, но просил друзей посылать телеграммы раз в полтора м-ца в 1941 г. Оба письма пойдут ледоколом в конце этого месяца. Настоящее письмо — третье по счету и второе на твой адрес.

Моя дорогая, мне, конечно, не дадут отсюда разрешения на Ленинград, поэтому заблаговременно надо выбрать маленький город не ближе 120 км от Ленинграда, куда я мог бы взять паспорт и откуда мог бы удобнее всего хлопотать о Ленинграде и где мог бы спокойно пожить до полной реабилитации. Хорошо бы что-нибудь вроде Луги, если там можно прописаться. Подумай и посоветуйся, времени много еще. Понадобятся и деньги на длинный путь, надо будет и придется, т.к. кроме демисезонного пальто у меня ничего нет, а присылать сюда, конечно, нет смысла. Надо будет купить здесь валенки, простенький костюмчик или тужурку (теплая телогрейка ватная есть). Белья много есть у меня даже лишнего. Пожалуй, посылки две все-таки вышли по адресу Штерна, на всякий случай, если ухудшатся условия, чтобы был запасной фонд. Но не присылай ничего дефицитного (не надо ни сахара, ни масла), а только то, что хотя по дорогой цене, но без труда можно достать у вас (колбасу, сыр, шоколад, сало). Не больше 2-х посылок за лето, да и то на всякий случай. Вещей и белья не вздумай посылать — в дороге и так все истреплется.

24 января 1942

Дорогая Тосенька, пишу после многомесячного перерыва. От тебя последнее письмо было от декабря 1940 г., т.е. тринадцать месяцев назад. Сама, конечно, понимаешь, как переволновался и перемучился я за эту пору за всех вас, да и сейчас не могу никак оправиться из-за неизвестности, где ты и что с тобою. Недавно стали ползать и здесь письма из Ленинграда, авось и до меня пойдет что-нибудь хоть случайно, ибо корреспонденция чуть ли не за полтора года скопилась, вероятно, в Магадане, с которым связаться для меня так же трудно, как с тобою. Я ведь сейчас работаю в километрах 900 от Нагаева. Здесь я с лета прошлого года (с начала июля). Сейчас работаю в хороших условиях, одет, обут и накормлен. Потребности у меня самые ограниченные,

условия общие учитываю трезво, а потому не ропщу на судьбу даже за то, что до сих пор моя участь не изменилась, несмотря на формальное истечение всех сроков. Надеюсь, что скоро последует то „особое распоряжение“, до которого все мы, закончившие срок, пока остаемся в прежнем положении, и сам ничего до сих пор не сделал для обращения внимания на свою участь. Хорошо понимаю, что сейчас, пока не сокрушен враг, не до меня. Физически я чувствую себя не очень важно (цынга мучает, а бороться с ней в моих условиях не так просто), но осенью было гораздо хуже. Очень прошу, моя радость, не беспокоиться за меня (присылать ничего не надо) и думать прошу тебя, для моего же спокойствия, только о себе самой. Надеюсь, что вещи все тобою проданы, ибо не представляю иначе, как ты могла бы свести концы с концами. Вернусь я — все надеюсь получить, не вернусь — не к чему сберегать не то что вещи, но даже книги и коллекции. Теплое все отдай на нужды армии. Без победы над фашистскими людоедами все равно жизни не будет ни для нас, ни для будущих поколений. Пиши на Магадан, Севостлаг и сюда: Магадан Хабаровск. края, почтовый ящик 261/53. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя, мое счастье. Твой Юл.

21 июля 1943

Дорогая моя Гусенька, получил сегодня твою телеграмму и опять как будто бы услышал голос твой, моя родная. Досадно, что еще ни одно из моих писем до тебя не дошло, — а отправил я их уже немало, даже счет потерял. Получишь, видимо, все сразу, но обязательно сообщи их даты. Не очень удивило меня, что моя телеграмма шла в Пржевальск больше месяца — время военное, телеграф перегружен и т.п. На днях получил письмо большое от Елены Михайловны (первое получил еще в 1939 г.), она будет скоро здесь и сама, надеюсь увидаться. Пишет она, м. пр., что часть моих бумаг ты отдала ее приятельнице Лишневецкой, которая затем выехала из Ленинграда куда-то на Урал. Получила ли ты корзину от родных Лишневецкой — она не знает. Упоминаю об этом в связи с письмом Маруси Бархатовой²¹, о котором тоже тебе писал. Упоминает Елена Мих., что ее Маша сейчас на фронте добровольцем. Девочке только 17 лет и т.п. Меня просто потрясли эти „17 лет“. Ведь я эту Машу видел лет 5-ти в последний раз, а потом как-то даже не удосужился поинтересоваться ею. Ну, да разве это единичный случай, разве <к>чему-нибудь человеческ<ому> безотносительно к нашим бесконечным делам, деловым

тревогам и узко цеховой литературно-научной суете я проявлял серьезный интерес? Конечно, нет. Так мало времени оставалось на свою личную жизнь, что мы даже с тобою встречались только за обедом да чаем — работа съедала все без остатка, даже часы на театр и кино приходилось как будто бы воровать у сурового хозяина, чужого дяди. Ну, не хочется больше об этом думать, не смоешь этого даже кровью, не говоря уже о запоздалых сожалениях...

Наше короткое колымское лето подходит к концу — жарких было три-четыре дня, хороших дней было с десяток, остальные же особенно после 2-х—3-х часов напоминали хмурые, ветреные осенние ленинградские будни. И все-таки эту зиму жду с каким-то тяжелым чувством — устал от Колымы, хотя и не могу на нее особенно жаловаться: она меня щадила даже в самые тяжелые времена, а знакомство с цыггой за 7 лет было хотя и мучительное, но короткометражное. Морозы же в 60 градусов прошли только одною зимою, да и то вспоминаю их с интересом полярника, а не как жертва холодов, от которых был защищен и условиями работы, и хорошим обмундированием. Правда в феврале—марте 1942 г. едва остался жив (без всяких преувеличений считай это случайностью).

Сегодня, 22 июля, получил открытку от мамы, посланную Эксархиди 20 мая. Он еще не уехал, и потому его адрес не отпал. Больше ничего от мамы с января не получал, хотя она, вероятно, и писала не раз. С нетерпением жду телеграмм и твоих, и маминой о получении моих писем этого года, ушедших отсюда с первыми пароходами. Моя ненаглядная, если бы ты только знала, как я соскучился по тебе, как хочется мне хоть три-четыре денька побыть с тобою, а потом можно отдать за это хоть всю остальную жизнь, в которую я хоть и не верю иногда, но все-таки ни на что другое, кроме свидания с тобою, променять не захочу. Бодрись, моя крошечка, береги себя, помни, что без тебя мне ничего, ничего не надо.

Твой Юл.

19 август? 1943

Тосенька, радость моя, получил вчера вечером две открытки твои — июньскую и июльскую, пришли они вместе. Твоим корнетным письмом везет — все они мною получены (по открытке в месяц ты писала, а я их получаю сериями). Но мои письма где-нибудь залежались, писал я их немало — и заказных, и простых М.б. лежат на почтамте „до востребования” в твоём Пржевальске

На днях, моя родная, получил телеграмму за твоей подписью из Актюбинска. Никак не пойму, переехала ли ты к нашим или что-нибудь другое здесь. Во всяком случае, лучше бы тебе не быть одной, если уж надо переезжать из Пржевальска в связи с эвакуацией Института. Насчет Палехского музея, куда приглашает тебя Малюся, ничего советовать не берусь <...> Моя родная, ты не пишешь, где сейчас Лидия Ник., Вен. Ал., Юр. Никол.? Иногда мне хочется написать кому-нибудь из них (что вовсе не доказывает, что письмо будет написано). Где работает Павел Наум. и нельзя ли адрес у него узнать М.К. (иркутский)?²² Очень мне хотелось бы узнать подробности смерти Васи Комар<овича> и Вас. Вас. Гиппиуса^{22a}. О Васе мне хотелось бы и написать когда-нибудь, очень уж цельная фигура и в положительном, и отрицательном аспектах, подлинный архаист 20—30-х годов ХХ века. Вообще, как ты знаешь, меня тянет к мемуарам и нужны только вехи вроде таких опорных личностей, как Юра Маслов²³, Вася Комар., Юр. Ник., а из учителей — Сем<ен> Афан<асьевич Венгеров>, Шляпкин, Серг<ей> Федор<ович Платонов>, А.С. Николаев, Пресняков, Модзалевский, Сакулин, чтобы вокруг разместилось все прочее академическое, университетское, литературное и проч. наших лет, мертвое, живое, отмирающее. С волнением слежу за боевой хроникой под Белгородом, Брянском, Харьковом и Смоленском, вспоминая пушкинские строки „И до единой все обиды Отплачены тебе, тиран“. Крах Гитлера, такой осязательный в своем даже генезисе, сулит такие перспективы возрождения мира, о котором мы даже и не мечтали. Эти надежды только и позволяли жить, а сейчас обязывают не терять бодрости, энергии и веры. Вот тебе, дорогая моя, и переход от общего к частному, от государственного к личному. Физически я чувствую себя очень хорошо, последствия цынги ликвидированы еще весною, а никакие другие слезы ко мне не пристают. Бытовые условия вполне удовлетворительные, продовольственные трудности на Колыме значительно легче преодолеваются, чем на материке, ибо, с одной стороны, у нас деньги дороги, а, с другой, много рыбы и централизованное снабжение мукой и крупой. Спекуляции почти нет. Рыба стоит от 5 до 6 р. кило (кета, навага). Вместо дефицитного масла — жир нерпы, не очень вкусный в сыром виде, но полезный, достаем его по 25 р. кило. Я неожиданно для самого себя овладел поварской техникой — сам готовлю себе и рыбу во всех видах, и фасоль варю, и гренки, и манную кашу. Зимой ничего этого не было и в помине, но мы с Эксархиди (который, к сожалению, осенью уезжает к семье своей в Семи-

палатинск) вели общее хозяйство неплохо, учитывая обстановку. Я много читаю (кстати, мне очень понравился роман Габе „Тысячи падут“, гораздо сильнее „Падения Парижа“), как писал тебе уже не раз. Недавно перечел „Саламбо“ и вспомнил, как ты читала этот роман когда-то в Одессе. Когда вспоминаю я эти времена, они кажутся мне не реальностью, а чем-то прочитанным в старых книгах. Недавно в „Известиях“ прочел о производстве Котляра Л.З. в генерал-лейтенанты. Ты, конечно, не забыла этого нашего жильца 1930 г. <...> Несколько раз просил о присылке адресов московских — Сони (Кузнецк. мост, д. ?, кв. ?) и Иры (Тверской бульвар, д. ?, кв. ?)²⁴ на всякий случай. 24 августа — сегодня ночью неожиданно выпал снег, необычно рано даже для Магадана. Утром снегом отсвечивали уже только окрестные сопки, сияло солнце, я бодро шагал по грязи на работу, вспоминал почему-то нашу последнюю поездку в Сестрорецк (в октябре?) к Тыняновым и не сомневался, что мы с тобой еще вместе посмотрим все те места, кот. нам были дороги (и Лузановку, и Детское, и Петергоф, и Сестрорецк, и Кисловодск, и даже Вознесенск)²⁵. Крепко, крепко всех обнимаю и целую, с нетерпением жду открыток „с продолжениями“, если письма теряются в пространстве. Твой Юл.

31 августа — 8 сентября 1943

Тосенька, голубушка, солнышко мое, вчера послал письмо тебе на Актюбинский адрес мамы, на всякий случай, ибо смущен был телеграммой из Актюбинска с твоей подписью*. Но ты, вероятно, в Пржевальске, а если и уехала, то не забыла оставить в почтамте распоряжение о доставке корреспонденции по новому адресу. Моя родная, меня бесконечно трогают твои заботы, но очень, очень прошу без моих просьб ничего не делать для меня. Я живу в лучших условиях, чем ты, и научился обходиться тем, что имею. Тамара перевела мне достаточно для ближайших месяцев на всякие случайности, а там видно будет. Смущает меня неполучение тобою моих многочисленных писем — пересмотрел только что десяток квитанций на Пржевальск — вещественные доказательства моего усердия. От тебя получил, видимо, все открытки, до 7 июля включительно. От мамы новых писем ни одного, телеграммы и переводы дошли все своевременно. Тосенька, я здоров и бодр, лето прожил очень легко, осень встречаю

*Только что получил телеграмму от мамы, из которой понял, что ты в Пржевальске.

всем обеспеченный, работа и начальство подходящие, выработка 160 %. Зимой было тяжелее новая зима (надеюсь, последняя на Колыме) не тревожит. Мучают только волнения за тебя, моя радость, беспокойство за твою непрактичность и неумение думать о себе. Порадовался, что ты нашла новых друзей в Пржевальске. Как ни изверился я в людях (правда, и раньше их никогда не переоценивал), но должен признать, что в самые тяжелые моменты жизни неожиданно встречал и участие, и активную поддержку со стороны самых неожиданных людей (именно „неожиданных“), а те, на кого обычно рассчитывал, оказывались совсем чужими. Только этому участию я обязан и жизнью уже трижды за последние годы, ибо северные экспедиции, выпадавшие на мою долю, мало подходили по своим условиям к моему физическому складу, не говоря уже о сверхпрограммных казусах.

Тосенька, радость моя, читаю ранние тома Герцена, перечитываю „Былое и думы“, много думаю над этими вещами — и не только оттого, что мечтаю о такой же эпопее, но потому, что в образе Наташи нахожу много схожего с тобою — поразительный духовный такт и внутреннее изящество, словом, то, что так редко встречаем мы сейчас в женщинах, да и прежде, чем были очень и очень бедны все исторические формации. Богатство прочих интеллектуальных свойств, физическое обаяние, блеск способностей и дарований — все это, может быть, не менее значительно, но уже, так сказать, из другой оперы. А в тебе все было освещено той грацией вечно женственного (и м.б. мало женского), что навсегда заворожило в Наташе такого диаметрально противоположного ей человека, как Герцц. Если давно не читала, обязательно перечти „Былое и думы“ (в новом отдельном издании лучше, чем в Полн. собр. соч. Герцена). Моя дорогая, моя любимая, я думаю, что эта зима будет последней в нашей разлуке, иначе бы с бы трудно жить. Я просил тебя как-то написать мне о Марусе Бархатовой, кот. прислала мне как-то открытку из Ленинграда (разумеется, я ответил сразу же, хотя даже отчества ее не знал). Изредка переписываюсь с Еленой Мих., о чем тебе тоже писал. Просил прислать адреса Юр. Никол. и Лид. Никол. (на всякий случай). Из маминной открытки узнал, что твоя Тамара²⁶ не с тобою в Пржевальске, как я думал раньше. Обещала ты мне написать свою эпопею за эти годы — обязательно это сделай, но не в одном письме, а с продолжениями, учитывая возможность потери писем и важность для меня восстановить хотя бы основные линии твоих приключений с зимы 1940 г. Кстати, дошли ли до тебя мои письма весны и лета 1941 г. (предвоенные)? Я писал тебе как-то под

впечатлением сборника новых и старых стихов Анны Андреевны и старинных стихов Жуковского^{26а} (там книги были большой редкостью, я месяцами жил каким-нибудь одним случайным томом). Никогда я не был так далек от людей и так близок к внешнему миру явлений (лес, река, бескрайние снежные пространства, медленное пробуждение жизни весной, смена красок и звуков, птицы и звери, не боящиеся человека), как в 1941—1942 гг. Кажется мне, что никогда так долго не приходилось и быть наедине с собою. Случайные и редкие печатные страницы были единственной связью с потонувшим миром...

Тосенька, бесконечно дорогая и любимая, такая далекая и любимая, такая далекая и всегда самая близкая, крепко, крепко обнимаю и целую тебя. Надеюсь, что Эксархици из Семипалатинска снесется с тобой (он уезжает на днях). Адрес мой прежний и для писем, и для телеграмм — Местпром, мас<сово>-обувной цех. О получении писем пиши нашим в Актюбинск, а меня извещай телеграфно время от времени. Твой Юл.

18—22 сентября 1943

Роднэч моя Тосенька, только что получил твою телеграмму о получении трех моих писем. Бесконечно обрадовала меня и новая весточка от тебя и получение хотя бы трех моих посланий из многих, писанных за время с апреля по сентябрь. Виноват отчасти я и сам, не надо писать длинных писем, но каждый раз, когда сажусь за письмо к тебе, об этом забываю и забалтываюсь. Твои открыточки счастливее — я получил их все (последняя от начала июля). Уже началась у нас осень, но, как обычно в Магадане, сентябрь еще хорош, а морозные утренники меня даже бодрят. Моя любимая, ты всегда со мной — и сегодняшняя, и такой, какой была перед разлукой, и такой, какую я знал „на заре туманной юности”, на вечере у Раи Мангуби²⁷, и в старом Петербурге, и в Одессе, и на Вознесенском вокзале. Где-то у Хемингуэя есть замечательное наблюдение — молодая женщина теряет мужа, от горя не знает, за что раньше взялась, плохо соображает даже, что произошло, — и вдруг возвращают ее к жизни мелькнувшие в памяти несколько ласковых слов, которыми называл ее он и с которыми уже никто никогда к ней не обратится. Ведь только для него одного она всегда оставалась „маленькой Мэри”. В этом на первый взгляд пустяке — один из секретов счастливых браков, вечной прива-ланности к единственно-любимой.

Тосенька, родная моя, я писал уже, что очень обрадовала меня твоя дружба с москвичами. В наших условиях дружеская

поддержка не только облегчает жизнь и удовлетворяет потребность в близком человеке, но нередко и выручает в самых тяжелых и даже безнадежных ситуациях. Мне пришлось удостовериться в этом на собственном опыте последних лет, когда случайная встреча или мимолетное знакомство превращались в такую поддержку, на которую никогда не имел бы права рассчитывать в обычных условиях. В этом отношении у меня сейчас даже некоторое горе — отъезд двух приятелей на материк. Из них одного ты знаешь — это Эксархиди, едущий к семье в Семипалатинск на этих днях, другой — Ива Федорович — доктор, с которым я знаком был с 1937 г. и возобновил знакомство с зимы этого года. Одиночество меня сейчас хотя и не очень беспокоит, но все-таки бесконечная зима без хороших людей, с которыми можно и словом перекинуться и достать что-нибудь сверх программы для стола и закусить вместе (не говоря уже о более существенном), — это не очень весело. Моя дорогая, помни, что я сейчас в материальном отношении лучше устроен, чем был (к зиме готов — теплое белье, пальто, валенки, небольшой запас крупы, жиров, деньги), а потому до весны можете быть уверены в моем полном благополучии. Весной здесь вообще легко, благодаря дарам моря. Не вздумай посылать деньги, это было бы мне очень неприятно прежде всего потому, что я не мог бы даже воспользоваться присланным, а на сберег. книжке у меня скопилось очень много за лето.

Пиши мне, моя ненаглядная, и сейчас, и зимою, пиши лучше открыточки и простые письма. Пиши о всех своих <...> Я просил тебя сообщить мне адреса Юр. Ник. и Лид. Ник-ны (на всякий случай). Неужели погиб Роман Михайлович?²⁸ Не хочется верить вестя о его смерти, слишком уж много потерь и без него — и Вася Комар<ович>, и Вас. Вас. Гип<пиус>, и Мих. Карл<ович> Клеман, и Дмитрий Петрович <Якубович>.

Последняя открытка от тебя была датирована началом июля, от мамы и Тamarочки доходят до меня только телеграммы и деньги, а писем нет с января. Изредка перебрасываюсь письмами с Еленой Мих., но до сих пор видеть ее не мог. От нее узнал, что часть автографов ты передала в Ленинграде ее приятельнице, но она не знает, получила ли ты их назад от ее родных, живущих на той же квартире. Я писал уже тебе о получении мною открытки от Маруси Бархатовой. Не знаю, что ты оставила ей на хранение из моих рукописей? Нет, нет, да и вспомню о недописанных работах, и потянет к ним, но, впрочем, бывает это редко. Если в Ле-

нинграде все погибло — возвращаться к прежнему не буду, попробую другие жанры и более актуальные темы.

Тосенька, узнай от Павла Наум<овича Беркова> подробности о смерти Вас. Вас. Я его очень ценил и как ученого и как человека, хотя встречался и не очень часто, даже работая рука об руку последние годы. Это огромная потеря для нашей культуры, без всяких преувеличений. С волнением слежу за подвигами наших войск на фронтах, не сомневаюсь, что зимняя кампания будет последней на нашей территории. Береги себя, моя радость, моя единственная, до нашей встречи, которая отодвигалась до сих пор как в старых сказках разными препятствиями и кознями темных сил. Но и в сказках счастливые концы придвигались если не с логической, то с фаталистической закономерностью, воля к жизни побеждала всех и все, даже время. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя, моя ненаглядная Тосенька. Пиши почаще. О получении писем моих и об их содержании пиши маме, на случай, если в Актюбинск мои письма не дойдут. Твой Юл.

28 октября 1943

Дорогая моя Тосенька, так избаловался я в сентябре частыми письмами, что сейчас уже нервничаю без них. Сам тоже после отъезда Эксархиди стал писать реже, но ты, вероятно, еще не заметила этого, ибо в августе—сентябре я завалил тебя своими посланиями. От тебя получил десять открыточек, т.е. все, что ты написала до середины августа. Горько, горько мне было между строк чувствовать и твое одиночество, и незаслуженные испытания, выпавшие на твою долю, и все лишения, кот. приходится тебе выносить, моя радость. Слов для утешения настоящих у меня пока нет, но твердо верю, что они скоро найдутся. Был вчера случайно на концерте, музыка как-то подняла настроение своей неизменностью, своим консерватизмом: несмотря ни на что и вопреки всему она звучит так же и точно о том, о чем звучала и в 1914 и в 1920 и 1930 гг., как звучала и сто и полтора года лет назад. Я весь ушел в прошлое, вспоминая все концерты, кот. слушал с тобою, все оперы, кот. мы любили, кажется, одинаково, начиная с оперы Музыкальной драмы и кончая первыми рядами Мариинки. Так обидно, что мы при тех „колоссальных“ возможностях видеть и слышать все — пользовались этим так редко. Последние спектакли, кот. мы с тобой видели, были, кажется, „Кармен“ в Михайловском, „Эсмеральда“ в балете и „Таланты и поклонники“ (гастроли театра Симонова). Но самое сильное из музыкальных впечатлений были вещи сезона 1935 года — „Шико-

вая дама" в Михайловском (преьера Мейерхольда) и „Бахчисарайский фонтан" в балете. Помнишь ли ты это все, моя родная?

20 октября у нас установилась зима — осени в этом году почти не было. Условия моего быта прежние, в некоторых деталях даже лучше, чем прежде: я чаще бываю в городе, не так связан работой. Если бы одет был лучше, то мог бы даже „жуировать жизнью", была бы только охота. Но охоты нет и, конечно, не будет. На днях собираюсь зайти к Елене Михайловне (она, говорят, совсем старушка), с которой пока что только переписываемся очень часто: я задаю ей вопросы — она старательно отвечает на них, восстанавливая пробелы моих сведений о зиме 36—37 г.

10 ноября 1943

Дорогая моя Тосенька, только что получил телеграмму о твоём переезде во Фрунзе. Хочется думать, что на новом месте тебе будет не хуже, чем в Пржевальске, но все-таки сердце защемило новой болью за тебя. Когда-то кончатся наши скитания, и мы возвратимся в Ленинград, возвратимся вместе и уже навсегда. Это страшное слово „навсегда", прежде казавшееся мне какой-то отвлеченностью, сейчас уже стало конкретным понятием совсем небольшого наполнения. Хотелось бы только заполнить его до отказа так, как это подсказывает и разум, и чувство, и воля.

Тосенька, родненькая, пиши мне подробно о своем быте и устройстве, не так, как ты писала о Пржевальске. Ведь я даже названия твоего института не знаю... Я писал тебе много в сентябре, а в октябре мало, последнее письмо (заказное) ушло отсюда в первых числах ноября, когда тебя уже не было в Пржевальске. Если ты оставила на почтамте заявление, то все тебе перешлют, но лучше напиши заявление второе из Фрунзе. Зачем ты посылаешь деньги? Я ведь очень просил не делать этого, а сейчас просто требую. Когда была в этом надобность, я ведь не стеснялся, а сейчас со всех сторон наслали столько, что хоть обратно отправляй. О себе могу сказать, что живу по-старому, всем хорошо обеспечен, здоров, настроение было до последних дней хорошее, сейчас как-то затосковал. Готовлю письм<a> о себе, хотя не верю в их успех. Е<в>гению Вик<торович>у и Ильюше²⁹ не писал, да и вообще с трудом берусь за перо в последние годы. Могу писать только тебе и маме, всем прочим нет ни настроения, ни даже желания. Моя любимая, береги себя, заботься о себе, не волнуйся за меня и верь в меня, остальное „приложится". Вычитал я как-то замечательную сентенцию Лао-Тзы: „Слабость велика, сила —

ничтожна. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит". Диалектика этих мыслей просто удивительна по своей глубине и неотвратимости. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя. Вось твой.

6 декабря 1944.

Дорогая Тосенька, пишу тебе последнее, вероятно, в этом году письмо, так как едва ли будет еще пароход до прекращения навигации. Моя радость, писал тебе в ноябре очень часто по новому твоему служебному адресу. От тебя получил все до единой твоей открыточки, последние от 15-16 и 20 сентября. Сейчас стоит под разгрузкой пароход, который еще должен доставить нам октябрьскую корреспонденцию. Жду ее с нетерпением — ведь это самое важное для меня в моей колымской жизни. Нового у меня ничего нет и не предвидится в ближайшее время, но настроение установилось бодрое и уверенное, чего не было ни летом, ни осенью. Холода еще не совсем установились, но ледяной океанский ветер замораживает мозги — хорошо, что мне почти не приходится бывать на воздухе, так как до места работы от моего жилья две минуты ходьбы. Материальные мои дела обстояли весь этот год очень хорошо, надеюсь, что и в будущем году будет не многим хуже, во всяком случае если останусь в Магадане. Пиши мне и зимою, хотя бы по открыточке в месяц — шось или ледокол будет, или получу их даже летом, но все вместе они порадуют меня больше, чем диетическими рационами. От мамы и Тамары получил месяц назад телеграмму и деньги, а последние письма были от середины сентября. <...> Передай от меня привет, самый искренний и сердечный, Кавериним, Анне Андреевне, Малюсе и С.А.^{29а}, Спиридоновым и уж, конечно, Мане и Ирочке. Очень мне любопытно, во что обратилась Наташа Шатуновская?³⁰

А вот это сохрани для моей будущей работы о Раевском³¹: у него был весьма небольшой запас мыслей, но очень четких и легко приложимых. В этом большое преимущество тех, кто руководит умами (или претендует на это). Люди *слишком* широкого духовного склада запутываются в бесконечных сложностях, теряются, снова находят себя и опять колеблются: они научились сомневаться. В некоторых случаях они поэтому даже следуют за людьми более узкими, которые никогда не колеблются. Секрет успеха его эмагогии и был прежде всего в том, что он не колебался, что его примитивная, но исключительная в своей четкости полит.

мысль не знала противоречий и в своей элементарности была доходчива, как таблица умножения и Отче наш.

Бой Кремлевских часов мы слышим в Магадане в 8 ч. утра (разумеется, по радио) — тогда лишний раз вспоминаю, как я далек от тебя, моя радость. Не видел я тебя уже 8 лет — это еще страшнее. И все-таки каждый час, каждую минуту я ощущаю тебя около себя, как будто бы мы и не расставались. Вот откроется дверь — и я тебя обниму и расцелую, вот даже чувствую вкус пегербургского снега на меху твоего пальто... Сплю я последние дни очень нервно — с 4-х уже не хочется лежать, но печка еще не загашена и вставать ни к чему — тогда начинаю вспоминать. Сегодня воскресил Ленинград после твоего первого приезда — Коломенскую, курсы Лохвицкой, Музыкальную драму, Александрино, Ивановскую, Пушкинские вечера в университете, Зверинскую улицу, Мин-во народного просвещения, первые архивные открытия, Невский в феврале—марте, твое переселение ко мне от Коры перед отъездом в Вознесенск.

Иногда кажется, что я мог бы весь этот материал воплотить в слова чего-то в роде „Былого и дум“, но для этого нужны были бы условия, которых уже не может быть на нашем веку. Иногда мне кажется, что меня жизнь успела побаловать, — я много очень видел, многое узнал, многого добился, был очень счастлив благодаря тебе, больше даже, чем, может быть, заслуживал. А концы... концы счастливые бывают только в сказках. Благополучие (даже в высшем смысле, не только элементарно-мещанском) неразрывно связано с пошлостью. В глубине души я, конечно, и не хотел бы тех условий, в которых можно писать мемуары, т.е. безмятежного покоя. Мне еще хотелось бы живого дела, я еще, видимо, не догорел, хотя с большим удовольствием цитирую строфы Киплинга:

Сумей поставить в радостной надежде
На карту все, что приобрел с трудом.
Все проиграть — и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том.

Сумей заставить сердце, нервы, тело
Тебе служить, хотя в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: „Иди!“

Так вот я и вхожу в 1945 год, моя радость. Я уже поздравлял тебя с этой датой в предыдущих письмах. Сейчас ровно месяц до Нового года. Если сохранился у нас хоть какой-нибудь экземпляр Тютчева (у меня их было несколько), обязательно перечти

„Стоим мы слепо пред судьбою” (на новый 1855 год), особенно последние строфы, очень волнующие (и всегда волновавшие меня), как и почти все у Тютчева. Писал тебе 24 октября, 5, 17 и 26 ноября. Получила ли ты эти письма?

8 января 1945

Дорогая Тосенька, не успело еще уйти на пароход вчерашнее письмо, как принесли мне твою открыточку от 23 ноября. Бесконечно огорчило меня неполучение тобою моих летних и осенних писем, которые посылал на адрес Ирочки. Писал в августе и сентябре не реже трех раз в месяц. Надеюсь, что хоть октябрьские успеешь получить, которые отправлял уже на твой служебный адрес. Моя родная девочка, пиши мне всегда так подробненько о своем быте, как в последней открытке. Для меня очень-очень важно знать, что в комнате твоей 11 градусов, что получила телогрейку, что ходишь в кино и пр. и пр. Из таких мелочей составляется мое представление о твоей жизни во всех ее конкретностях. Кстати, о кино. До 1942 г. я не бывал здесь в кино, но в тайге случайно увидел „Суворова” и „Алекс. Невского”, после чего изменил свое отношение даже к сюжетным картинам. Хроникальные сейчас для меня основная связь с миром, но и многие исторические считаю удачными, напр. „Пархоменко”, из американских „Большой вальс” очень понравился. Очень разволновали в свое время музыкальные „Киноконцерты”. Музыка — ведь самое консервативное из искусств — в том смысле, что звуковые воспоминания и ощущения не изменяются с годами — и „Кармен”, и „Пиковая дама”, и ария Гремина, и баллада герцога, и „Однозвучно звенит колокольчик” звучат для меня сейчас точно так же, как звучали в 1912, 1922 и 1932 гг., — в то время как и „Анна Каренина”, и Бальзак, и Блок, и Достоевский с каждым разом читаются иначе, т.е. в разное время ощущаются как новые завоевания, как освоение еще неизвестных островов на каком-то знакомом архипелаге. Для большой литературы это является огромным плюсом, но музыка для меня (может быть, просто потому, что я ее чувствую очень элементарно) как замерзшие звуки в „Путеш. барона Мюнхгаузена”. Помнишь, как этот враль, описывая русские морозы, рассказывал о том, как после оттепели внезапно оттаяли слова, сказанные в давно прошедшие дни. Так сейчас для меня на Колыме оттаивают иногда в кино или даже у радиоприемника сбывки музыкальных фраз и ощущений давно прошедших дней. И тогда чувствуешь себя и моложе, и бодрее, и увереннее... Моя родная, я спрашивал тебя о Добровольских. Сейчас идруг

вспомнил о Горчинских, которых не вспоминал с 37 г.³² Живы ли они? Передай привет С. Абр., Малюсе, Ел. Дмитр. Ужасно рад, что Анна Андреевна жива и здорова. Так мало осталось настоящих людей. Кстати, Елена Мих. шлет тебе поздравление с Новым годом. Я ее не видал с осени, но недавно получил письмо. Собираюсь повидаться с ней в конце месяца. Но пишет она письма гораздо содержательнее, чем рассказывает. Слушать ее утомительно, как старые пластинки в патефоне.

На днях написал Ирочке и маме. Адрес Мики: бухта Находка, п/я № 89, Санчасть. Пиш / для него записку, которую перешли.

Очень рад, что ты наладила переписку с Нюсей, но за кого вышла замуж Люся — я так и не понял из твоей открытки. Напиши при случае. Только что получил твою телеграмму о получении моего письма — это для дня моего рождения!

Зима у нас стоит не очень суровая, точнее — морозы тихие, ветры с Ледовитого океана повернули, видимо, в другие стороны и к нам возвратятся не раньше февраля. Настроение у меня хорошее, условия материальные лучше, чем были прошлой зимой, а мне и тогда казались они великолепными. Крепко, крепко тебя обнимаю и целую, моя радость. Твой Юл.

Очень меня обрадовала твоя телеграмма. В день моего рождения собираются ко мне вечером гости, а подарки получил уже авансом: две банки колбасы американской, яичный порошок, кофе, банку сгущенного молока, кило риса. Как видишь, и у нас есть дефицитные гастрономические изделия (в самом деле, их на вольном рынке в Магадане больше, чем в Ленинграде, и стоят они много дешевле). От Панаи получил телеграмму с упоминанием о получении им письма от тебя. Просто трогательно такое отношение со стороны совершенно, казалось бы, далеких по духу людей, но которые гораздо более самоотверженны, чем инженеры человеческих душ, с которыми прошла бо́льшая часть жизни. Впрочем, о какой тут говорить „самоотверженности“, когда речь должна идти о самых элементарных требованиях чуткости и порядочности. Но это, пожалуй, еще больше дефицитно, чем рис. Говорят, что в Ленинграде есть коммерческие магазины. Я писал уже тебе, чтобы ты продала все, что можно, из оставшейся обстановки и моих вещей. Еще и еще раз прошу об этом. При случае узнай у Пав<ла> Н<аумовича>, где И.К. Луппол³³ и Долинин-Искоз? Жив ли Ник. Вас. Измайлов? Твой Юл. 10.1.

4 марта 1945

Дорогая Тосенька, поздравляю тебя, моя радость, с днем рождения. Ни о чем так не мечтаю сейчас, как о том, чтобы с тобой быть в этот день, хотя бы в будущем году. Видишь, как я стал скромен в своих надеждах! Писал тебе очень много, но, видимо, ты еще не получила даже половины моих посланий. Судя по последней телеграмме, ты прочла только октябрьские письма. Я же получил все до единой твои открытки, последняя от конца ноября. Это письмецо посылаю на авось, не рассчитывая на скорое его получение, но выбора нет, а послать тебе хоть несколько строк очень захотелось. Сегодня же посылаю телеграмму тебе. От мамы и Тамары получил телеграммы с новым адресом (Пирововская), по которому очень прошу написать им обо мне. Все у меня благополучно и по-старому, только болезненное самочувствие уже недели две из-за цынготного состояния (фурункулез на ногах и общее понижение тонуса, выражаясь высоким медицинским штилем). С весенним солнцем все пройдет без всяких лекарств.

Милая моя женушка, ты меня очень-очень радуешь своим настроением и отношением к внешним условиям быта. Я стою примерно на таких же позициях. Спасибо и за новости из мира наук и искусства. Передай привет Сол<омону> Абр<амовичу> и Павлу Наумовичу. Я очень тронут их отношением к себе.

Очень понравился мне последний том Добролюбова (стихи), сделанный С.А. и Бухштабом³⁴ и случайно попавшийся мне здесь. Малюсе я писал, отвечая на ее (очень хорошее) письмо. Пиши мне, моя радость, почаще и поподробнее о себе. Продай все, что бережешь для меня, — и сделай себе все нужное. Я спрашивал как-то о разных знакомых. Любопытно, где Искоз и Шилов А.А.³⁵, — о них давно нигде не было упоминаний. Зима была у нас в этом году милостивая. Крепко, крепко целую тебя. Твой Юл.

Привет Анне Андреевне, Кавериним, Лене и Кате (твоей)³⁶.

20.V и 5.VI 1945.

Дорогая Тосенька, давно-давно от тебя нет даже коротеньких телеграмм. Правда, я в этом году почему-то уже был более спокоен за тебя, чем прежде, и не так болезненно переносил интервалы в нашей переписке, но все-таки мне очень доставало восточек от тебя, особенно после получения телеграмм от мамы, Тамары, Ирочки и Мани. Все тоньше и тоньше кажутся мне нити, свя-

зывают меня с заколымским миром, — мне кажется порой, что я не очень бы удивился, если бы они и совсем оборвались, — психически я уже, может быть, и подготовил себя к этому, привыкнув к безвоздушному пространству, из которого пока что не вижу выхода. Но эти настроения (к счастью или несчастью) не больше, чем законная дань затянувшейся заполярной зимовке, „северная болезнь”. Чтобы не заразить тебя, моя родная, моя ненаглядная, моя единственная надежда и радость, я откладываю это письмо до выздоровления, то есть до завтра или послезавтра, когда приступы хандры будут отбиты новыми впечатлениями, — может быть, разгрузят почту с прибывшего на днях первого парохода, или солнышко проглянет сквозь изморозь и тоскливую пелену туманов, или хоть книжку хорошую принесут...

5.VI. Прошло около двух недель, как я начал это письмо. Только что получил твою телеграмму о получении моего мартовского письма. Вчера получил декабрьское письмо и январскую открытку от мамы и Тамары.

Моя родная, я очень виноват перед всеми за унылые письма, вполне понятные, но все-таки не заслуживающие прощения. Мне хотелось только, чтобы вы не переоценивали перспектив личного порядка, а сохраняли ясное представление о том, что мы не очень скоро будем вместе. Но все-таки будем, а это уже немало, особенно после того, что всем нам пришлось пережить — тебе и маме не меньше, чем мне (так мне по крайней мере сейчас кажется).

Тосенька, материально я ни в чем не нуждаюсь, обеспечен очень хорошо всем необходимым, а часто даже сверх всяких норм. Работой доволен, отношением к себе тоже. Близких людей нет, но дружеское отношение прежних сослуживцев очень облегчает внешние стороны быта. Сейчас я физически чувствую себя великолепно, но зимой, мучила цинга (раны на ногах опять вскрывались, нарывы под ногтями и пр.). Хорошо еще, что зубы не болели. Лечил себя сам ягодами, кот. привозили из тайги (из-под снега), — съедал по килограмму в день (бруснику). Лето в этом году запоздало, а весны и вовсе не было. Сейчас очень хорошие стоят дни — точнее, утра, ибо с 2-х часов начинается ветер. Лед еще кругом не стаял, хотя река и вскрылась. Берега и долины у магаданских сопок покрытые двухметровым снегом, обледенели от дождей и оттепели — этого явления еще не приходилось наблюдать мне здесь. В прошлом м-це я сшил себе летний легкий костюм из дешевой американской ткани цвета „хаки”, которую перекрасили знакомые химики в темно-синий цвет. Сейчас надо еще покрыть чем-нибудь старую телогрейку. Читаю по-прежнему до

больно много — особенно сейчас, в белые ночи, когда до 12 часов светло, как днем. Попались мне две старые книжки „Знамени” — одна со статьей Тынянова о Дорохове, другая с некрологом, писанным В. Шкловским³⁷. Ужасно горько стало мне за Юрия Николаевича, так тяжело умиравшего, так одиноко и заброшенно оказавшегося в последний год свой жизни на больничной койке в чужом городе. Заново переживал я эту утрату и как свое личное большое горе; м.б., самое большое за последние годы^{37а}. Из материалов о Ленинградской блокаде мне очень много дала киноповесть Ольги Берггольц и некоторые попутные высказывания Шкловского. Не помню, что за письмо мартовское ты получила? Я как-то посылал с летчиком знакомым письмо в Хабаровск, чтобы оно попало на материк до открытия навигации, очень запоздавшей в этом году. Возможно, ты именно его и получила, но почему-то с большим опозданием. Разбор почты, доставленной первым пароходом, идет уже несколько дней, но твоих писем еще нет, равно как и маминых и Ириных, о которых знаю из их телеграмм.

Вижусь я довольно часто с Еленой Мих., кот. очень тебе кланется. В.И. Шухаев сейчас главным декоратором Дома культуры, а жена его завед. модными дамскими рукоделиями в ателье. Освободились они к 1 мая, но раньше будущего года не рассчитывают выбраться под Москву, ибо выезд из Колымы запрещен пока что, как ты знаешь. Крепко, крепко целую тебя, моя радость. Привет Нюсе, Малюсе, Сол. Абр. и всем хорошим людям. Я тебя спрашивал как-то, где Шилов и Долинин-Искоз. Напиши. Твой Юл.

16 июня 1945

Дорогая моя Тосенька, получил три твоих открыточки декабрьских (о доме отдыха) и февральскую. Почта еще с первого парохода продолжает разбираться, жду дальнейших весточек от тебя. Моя радость, каждая твоя строчка меня волнует как живое прикосновение самого дорогого, самого лучезарного, что было в прошлой жизни. Вот сейчас мне трудно поверить в продолжительность нашей разлуки, после твоих писем я не сомневаюсь в близости нашей встречи, а без них пессимистическое восприятие явлений почти парализует жизнь. Перспективы пока остаются, конечно, довольно безотрадными, особенно учитывая специфику и личного порядка, и географическую линию. Выезд из Колымы ни для кого сейчас невозможен до зимы, как ты и без меня знаешь, а что будет в будущем году — сказать пока еще трудно, особенно мне. <...>

Весть о кончине Елены Александровны меня не удивила: я все-таки не мог представить себе ни ее, ни Инночку³⁸ без Юрия Николаевича. Опять всколыхнулись воспоминания: весна 1915 г., набережная Невы у сфинксов, дождь и солнце, молодой Юрий Николаевич в студенческой тужурке и провинциальная брнетка, с которой он знакомит меня как со своей будущей женой. Я реагирую кислотовато, он, конечно, это чувствует и все-таки добивается моего мнения о „ней”. Я отмалчиваюсь, но не возражаю из деликатности. Она, вероятно, тоже хорошо помнила этот день, решающий в их жизни (она оставляла тогда своего первого мужа^{38а}, он шел на разрыв со своей семьей), и втайне понимала, что я прав был, расценивая их будущее не в розовых тонах. Может быть, поэтому она и относилась ко мне лучше, чем я к ней. <...> Мне ужасно хотелось бы написать когда-нибудь о Юрии Ник. по-настоящему. Ведь так мало было у него близких людей — а мне он был и дорог, и понятен еще в студенческие годы старого Петербурга. И никто не заменит уж той пустоты, которую я всегда буду чувствовать в жизни без него..

Одна ли ты живешь или с Марусей? Хватает ли тебе того, что получаешь на своей работе или приходится докупать, продавая вещи? Я бы очень, очень просил тебя не отказывать себе ни в чем из-за вещей, особенно моих. Я просил тебя много раз ликвидировать отрезы, кот. ты сохраняла для меня. Мои материальные возможности вполне удовлетворительны, а зимою были даже совсем сверх нормы хороши (понадобится мне не раньше августа кое-что). Упоминаю об этом, чтобы ты не беспокоилась обо мне. Физически я чувствую себя сейчас прекрасно, хотя весной очень изводила меня цынга. Особенности географического положения и в этом отношении дают себя знать, тоже сверх счета и срока, как и в других областях юридического быта, более чем своеобразного.

За академическим юбилеем слежу с большим вниманием. Конечно, это был бы хороший повод вспомнить и обо мне, но ведь кроме <В.П.> Волгина некому (кстати, где Луппол? Спроси Павла Наумовича, кот. передай и привет заодно). Я спрашивал тебя как-то о Шилове, Долиnine, Десницком — просто потому, что нигде о них не встречал упоминаний в газетах. С Еленой Мих. вижу сейчас очень часто. Она работает на швейной фабрике по соседству. <...>

Читал на днях воспоминания Бисмарка, я неожиданно наткнулся на анекдот, ближайшим вариантом которого является гаршинская „Фиалка”. Так как ты расшифровывала черновики

этого наброска, то по праву тебе принадлежит и этот материал³⁹. Обязательно напечатай и тексты, и вступительную заметку (посоветовавшись хотя бы с Павл. Н. или Ильюшей). Оно и актуально получается, ибо Б<исмарк> приводит этот анекдот для доказательства исторической мощи и непоколебимой стойкости духа русского народа.

Я тебе и раньше посылал кое-какие свои заметки и выписки, но они, вероятно, затерялись после твоих скитаний. Я с недавнего времени опять стал читать с карандашом в руках, но уже не посылаю (м.б., сам привезу). Очень меня волнует неполучение мартовских и апрельских писем с материка. Говорят, что часть корреспонденции подмокла и вообще поэтому не дойдет. Но я все-таки не теряю еще надежды. Прошу тебя опять нумеровать открыточки, хотя они до сих пор всегда доходили полностью. Не знаю, как с моими письмами? Я их слал в ноябре—декабре много на твой служебный адрес. Что пишет Малюся? Что поделывает Сол. Абр.? Где живут сейчас Каверины? Не собираюся ли возвращаться?

Рассказывая о своем пребывании в Петербурге в 1859 г., Бисмарк в десятой главе первого тома своих воспоминаний, писанных в самом начале 90-х годов и опубликованных в 1898 г., говорит: „В первые весенние дни (1859 г.) принадлежавшее ко двору общество гуляло по Летнему саду, между Павловским дворцом и Невой. Императору бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что „так приказано“; император поручил своему адъютанту осведомиться на гауптвахте, но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой и летом отряжают часового, а по чьему первоначальному приказу — установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик-лакей, состоявший уже на пенсии, кот. сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по Летнему саду мимо караульного, сказал: „А часовой все стоит и караулит цветок. Императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник и приказала следить, чтобы его не сорвали“. Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит из года в год. Подобные факты вызывают у нас порицание и насмешку, но в них находят свое выражение примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе. Невольно вспоминаешь в этой связи часовых, которые в Петербурге во вре-

мя наводнения 1824 г. и на Шипке в 1877 г. не были сняты, и одни утонули, а другие замерзли на своем посту". „Мысли и воспоминания". М., 1940, стр. 194. <...> Твой Юл.

23 ноября 1945

Дорогая Тосенька, я очень давно не писал тебе, думал даже, что и совсем перестану тебе писать, — так огорчало меня и твое молчание, и твои открыточки, такие скупые на слова и холодные, как колымские льдины. Тосенька, больше так никогда не поступай, ты и не представляешь себе, как бурно реагировал я на твое отношение к переписке (в конце концов единственной пока что форме связи между нами), вернее на то, что считал твоею нечуткостью. Не забывай все-таки, в каких условиях я живу (ты ведь должна понимать, что я эти условия несколько идеализировал, чтобы ты не беспокоилась сверх нормы, да и вообще я оберегал тебя от всего, что могло бы тебя встревожить в моем неопределенном тяжком положении), как обострены во мне все ощущения, как трудна отчужденность и отрешенность, какая потребность в точке опоры — и моральной, и интеллектуальной, и даже физической. Все эти годы я тебя ощущал около себя постоянно, и днем, и ночью, в горе и в радости, борьбе с опасностями и искушениями, в периоды полной безнадежности и в минуты больших подъемов. И вот, когда нас стал разделять какой-нибудь год, если не меньше, я вдруг перестал тебя чувствовать, перестал понимать, а отсюда или выхода вовсе нет — или попытка вырваться из заколдованного круга любой ценой. Так вот, Тосенька, я чуть было этого не попробовал, и виновата была бы только ты, если бы мои попытки замутили то, что до сих пор оставалось „единым и неделимым" в наших отношениях. Моя радость, твои открытки от конца сентября и начала октября (из дома отдыха) меня вернули к прежнему — я хоть силуэт увидел прежней Тосеньки, хоть почувствовал ее немного опять — если не около себя, то не очень далеко. А полученная недели две назад открытка от 30 августа была совсем другого тона — ты писала мне так, как пишут московским кузинам или какой-нибудь очередной Митиной жене, которую ты, конечно, и в глаза не видела (да и видеть не стоит). Эта открытка и вызвала взрыв, подготовлявшийся полуторагодовой перепиской, которая показалась мне обидной и своими интервалами, и своим тоном — („так духи смотрят с высоты на ими сброшенное тело"). А я вот этого „тела" не сбросил, сбрасывать не собираюсь, таков, каков был, — таким и остался, даже, м.б., еще претенциознее (в области личных отношений, конечно,

а не по линии материально-бытовой, карьерной и т.д., на что смотрю почти диогеновски). И ты должна быть для меня тем, чем была всегда, т.е. всем. Знаешь, Ник. Леон. в летнем письме очень хорошо описал тебя, но очень уж вышло похоже на Блока:

Прошли года, но ты все та же,
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина...

Может быть, я тебе уже писал об этом (а Ник. Леон. ответил в середине августа, послал ему и для тебя листочек). Кстати, ты так и не отмечаешь, какие письма дошли до тебя. М.б., лучше было бы писать на адрес Ел. Дм. или Малюси — тогда телеграфируй их адреса. Очень был тронут, Тосенька, твоими переводами, но очень огорчило твое непонимание адреса — я до сих пор ничего не получил, кроме платонического утешения, что когда-нибудь буду иметь право на них. Ужасно досадно, что ты лищаешь себя необходимого, не помогая и мне. Я очень бы хотел, чтобы ты отдохнула в настоящем санатории, а не на Островах. Возможность отдыха в Риге стоила бы тысячу рублей, моя родная. Ведь если ты себя не будешь беречь, не будешь о себе заботиться, то огорчишь меня еще больше, чем своими письмами типа открыток этого года. Наше будущее ведь сейчас уже вышло из стадии проблематичных туманностей — оно начнется точно в 1946 г. Я писал тебе, что ориентируюсь на те города, где есть филиалы Академии — Иркутск или еще лучше на какой-нибудь из волжских городов — Саратов или Казань.

Тосенька, навигация скоро прекращается, не забывай меня хоть телеграммами. Спасибо тебе за справки о старых знакомых. Очень огорчила меня смерть А.А. Шилова, хотя он никогда не был мне близок.

Я писал тебе, какое хорошее впечатление произвел на меня том Добролюбова (стихи), редактированный Сол. Абр. и Бухштабом. Не знаю, кого благодарить за два номера „Звезды“. Читаю я много — но больше по истории техники, стратегии и тактики. Перечитывал Дос-Пасоса и Хемингуэя — другой беллетристики давно не держал в руках.

Чувствую себя зимой, как всегда на Колыме, лучше, чем весной и летом. Зима очень хорошая — много снега, морозы не выше 30—35 градусов. Одет я хорошо, хотя до сих пор не расплатился за теплые вещи (у меня новые валенки, меховая шапка, телогрейка, брюки). Следовало бы и питаться лучше, так как за последние месяцы трещины в моем бюджете сильно понизили

минимум, обеспеченный прежде, а в долги я входить не могу и не хочу. Очень боюсь рецидивов цынги весной, а ничего противоцинготного у нас сейчас нет (или то, что есть, недоступно). Странно, что так поздно дошла до тебя выписка для „Фиалки” Гаршина. Помнится, я еще посылал какие-то выписки и заметки. Очень меня тянет к прежним работам — хочется многое закончить и обобщить по-настоящему, на что раньше не хватало пороуху. А сейчас голова работает гораздо лучше по линии обобщений, итогов, резких и четких формулировок, чем это было прежде, когда я, задавленный материалом, не писал, а отписывался.

Дорогая Тосенька, я очень вырос за эти годы, как это ни странно на первый взгляд... Я послал тебе как-то письмо для Лид. Ник. Если оно и не дошло, передай и ей, и Вен. Ал. самый горячий привет от меня. Что стало с Наташей? Каков Коленька?⁴⁰ Ты не писала мне, что погиб Дима Эйхенбаум, о чем я мог догадаться только по глухому упоминанию в письме Ник. Леон. (я очень и люблю, и ценю Н.Л.).

26 ноября 1945

Дорогая моя Тосенька, получил твою открыточку от 20 сентября — после визита к Анне Андреевне. Перед тем получил двойную открыточку от 15—16 сентября. Так порадовали меня это строчки, столько бодрости влили, точно тебя неожиданно увидал, моя радость. Так мне стыдно за мои упреки в осенних письмах, что и сказать не могу, но надеюсь, что ты меня уже простила и поняла лучше, чем я сам мог бы объяснить это в письме. Писал тебе в ноябре чуть ли не четыре раза — интересно, дошли ли все эти письма? Если не дошли — ничего не потеряешь: я писал в них одно и то же.

Моя радость, поздравляю тебя с Новым годом, в который я верю все-таки больше, чем в предшествующие. Это не очень много, но я еще боюсь быть оптимистом. От тебя прошу только бодрости и внимания к себе самой. Мне больше ничего не надо. Если бы я спокоен был за тебя, я бы много был сильнее — и не только духом, но и просто физически. Поэтому я и просил тебя в предыдущем письме ликвидировать все остатки обстановки (кабинет, книжные шкафы), отрезыв и пр. — и потратить на то, что облегчило бы хоть немного твой быт — продукты, платье и т.п. Мои материальные возможности много лучше твоих, не только оттого, что в Магадане снабжение лучше материковского и цены на все много ниже ваших, но и потому, что живу я не один, а друзья мои очень облегчают пока что внешние формы существования.

От мамы и Тамары получаю письма хоть и не очень часто, но все-таки в курсе всех их дел. Мика в бухте Находка (около Владивостока) — от него тоже получаю письма. Зима у нас уже давно установилась, но настоящие холода еще не беспокоят. В октябре я имел возможность часто бывать в центр. библиотеке и хорошо вошел в курс газетных и журнальных новостей за весь год. Нравятся ли тебе воспоминания Федина о Ленинграде 1920—1927 гг.? Мне кажется его книга на редкость бестактной, но очень искренней. В этом отношении она „томов премногих тяжелей“. Над чем работает Анна Андреевна? Передай ей самый сердечный привет от меня. Я ее очень часто вспоминаю и не раз перечитывал за эти годы в самых неподходящих для ее книг условиях (в 1940—1941 г.). Совсем, совсем по-новому (или точнее, еще и совсем другое выявилось в них) стали звучать ее вещи, ничего не теряя, а приобретая ту многозначность, которая отличает подлинное от подделки, вечное от преходящего. Моя радость, отчего ты не пишешь ничего о Добровольских, Филипповых, Дуде? Передай привет Спиридоновым, Сол. Абр., Малюсе и уж, конечно, Нюсе. Твой Юл.

20 декабря 1945

Дорогая Тосенька, я писал уже тебе о получении открытки от 10 октября из дома отдыха и 2-х предшествующих за сентябрь. Пришли все они в обратном порядке, одновременно и немножко меня примирили с тобой. Пишу так потому, что очень-очень больно ранило меня твое отношение к переписке, твоя скупость на слова, твое частое молчание о самом главном для меня, самый тон открыток, какая-то неуловимая отчужденность, которую повеяло после твоего возвращения в Ленинград и от ощущения которой я до сих пор не могу избавиться. Я писал уже не раз, как больно и горько мне было это отношение, как лихорадило меня от мыслей и представлений, связанных с тобой и тобою вызванных, но сейчас все эти настроения отошли куда-то очень далеко: я переболел, раны зарубцевались, лихорадка прошла — я почувствовал себя и крепче, и свободнее. Разумеется, ты была и осталась для меня самым дорогим и близким существом, без которого не может быть для меня будущего (не только счастливого, но даже приемлемого). Но ощущения (почти физического) твоего присутствия около меня, связи постоянной — самой тесной и непосредственной, как было все эти годы, днем и ночью, в радости и бедах, — больше нет. Последний год нашей разлуки пройдет для меня как-то иначе — хуже или лучше — не

знаю, но совсем по-другому. Отчитываться буду уже не в письмах, а только после возвращения к тебе. Ты к этому не привыкла — вся моя жизнь всегда отражалась в письмах к тебе — между тем как из твоих открыточек я мог судить только о фактах внешнего порядка (да и то лишь по их отражению или еще точнее по теням, отброшенным на слова). Вероятно, и мои письма станут такими же, как твои открытки.

Как-то летом Елена Михайловна прислала мне старые стихи Юры Маслова^{40а}. Ты, кажется, их тоже не знаешь. Вот они:

Двадцатые годы...

Прекрасные женщины,

Острые умы...

Как любили мы это время!

Оно слилось с нашей жизнью.

Ты бы не удивилась,

Если б я встретил на улице Баратынского

И он спросил о твоём здоровье.

Ты была влюблена немного

В Александра Тургенева,

Он тебе снился

И дарил, улыбаясь, розы...

И вот сон стал явью:

Я — декабрист в пустынной Сибири,

И ты не можешь приехать

В мое изгнание.

Слушай, проснемся!

Ведь это было

Сто лет назад...

Дорогая Тосенька, я писал тебе 23 ноября (заказное), перед тем посылая только листочки в письмах к Н.Л., маме и Ире (8 августа, 18, 24 авг.; 8 сент., 22 октября). Это письмо ты получишь уже не раньше будущего года, т.к. пароход будет лишь в конце декабря. Этим пароходом уезжает в Варшаву одна сослуживица, пробывшая здесь на моем положении много лет, но сейчас вызванная на родину. Она захватит и письмо. Спасибо за переводы, из которых последний получил Ив. Павл. очень быстро. В этом году мне пришлось под конец очень туго, да и перспективы неважные. Очень хотелось бы не менять до конца адреса, но с весны начинается сезон по основному металлу, и Магадан лихорадит мобилизациями по всем линиям. Поэтому и денег нужно больше. Сейчас чувствую себя очень хорошо, как всегда почти в хорошую зиму. На этот раз она у нас очень снежная, но морозы

10 градусов, без ветра; даже пурга не страшна, благо ходить почти не приходится, а фабрика рядом с жильем. Еще раз благодарю за справки о старых знакомых. Но почему ты молчишь о Добровольских? Когда исчез Фед. Ник: Филиппов? Ведь я вовсе не знал об этом. Где сын Дуды? Привет Малюсе, Лене, Сол. Абр., Нюсе и всем, кто меня помнит. Крепко, крепко тебя целую. О получении письма телеграфируй.

Начало февраля 1946

Дорогая Тосенька, последняя твоя открыточка была от 10 октября (из дома отдыха). С тех пор, впрочем, не только от тебя, но и от мамы писем не было. Получал только телеграммы (в т.ч. и твою поздравительную с Новым годом и днем рождения). Сейчас могу уже поздравить и тебя, моя родная, с днем рождения — март не за горами — пожалуй, и записочка эта попадет к тебе не раньше, а позже этой даты. Неужели следующий март мы будем уже вместе? Как-то не могу себе реально этого уже представить — пожалуй, впервые за девять лет я в представлениях о тебе потерял чувство конкретности. Еще в прошлом году, посылая тебе через знакомого летчика поздравительное письмо (навигация тогда остановилась в конце декабря), я еще нервничал так, как будто бы расстался с тобой совсем-совсем недавно, чувствовал тебя близко и только не в силах был обнять тебя. Разлука представлялась досадной случайностью, все барьеры между нами, казалось, должны были механически отпасть с месяца на месяц, а дальше — дальше все представлялось если и не совсем в розовом свете, то, во всяком случае, в очень бодрых и ясных тонах. А сейчас, когда в самом деле осталось каких-нибудь несколько месяцев до конца нынешней фазы моего быта, я совсем потерял ориентировку. Чувство огромной растерянности, неуверенности, сомнения во всем и во всех настолько овладело мною, что я давно сам себя уже и не узнаю и плохо понимаю. Разумеется, это обычная для моих условий психическая травма (я вспоминаю, что где-то читал об этом в воспоминаниях Веры Фигнер), но от этой ассоциации мне нисколько не легче. Проще всего было бы прийти в себя где-нибудь под Москвой или на Волге, но самый выезд отсюда очень непростое дело. Меня прежде всего попытаются задержать на какой-нибудь работе (материально обеспеченной, но не своей) на Колыме. Без вызова на материк можно уехать только по инвалидности, которой у меня, к счастью, пока нет. Кто же может вызвать кроме Ак. наук? Надеюсь только на Волгина, который по должности располагает возможностями моего

перемещения на работу по специальности где-нибудь в филиалах Академии. Ну, да это все еще не так молниеносно, чтобы заранее опасаться неудачных результатов. Новая жизнь начинается не так просто и легко — это надо помнить, а остальное приложится. Будь только ты здорова и бодра, моя радость. Получение этого письма (№ 2) подтверди телеграммой. Навигация прекратилась 24 января. Посылаю письмо через Эрванта Довлатяна, улетающего в Тифлис (это общий друг — мой и Эксархиди, когда-то мы жили втроем очень-очень дружно). Пиши, Тосенька, не реже двух открыток в месяц, — я уже привык к этой жесткой норме! Пришли адрес Малюси и Елены Дмитр. (на всякий случай). Деньги присылай в марте Александровичу, до тех пор как-нибудь сведу концы с концами. С каждым месяцем это становится труднее из-за растущей дороговизны или, вернее, отсутствия продуктов на рынке. Привет Нюсе, Малюсе, Ел. Дм. и всем тем, кто меня помнит. Твой Юл.

20 мая 1946 г.

Дорогая Тосенька, сегодня 20 мая, а от тебя последние открытки датированы февралем (две) и январем (31-го), причем последнюю получил только вчера, а февральскую еще месяц назад. Я писал тебе, моя родная, что получил письмо от Ник. Леон. — большое, но очень туманное (ответ на мое августовское), а ответа на февральское еще нет, хотя пришел уже второй пароход и привез даже апрельскую почту. Впрочем, разборка идет у нас медленно, иногда затягиваясь на месяц. То, что ты писала о П.И. Чагине, меня очень взволновало — он может сделать не меньше Вяч. Петр.⁴¹ Ведь нужен будет вызов на конкретную работу, это в его возможностях по линии классиков, редактур и т.п. И.Б., и в самом деле. Тогда не стоит ориентироваться на Дальний Восток, а ехать куда-нибудь поближе к Москве, в надежде на дальнейшее продвижение. Ты знаешь, что до конца пятилетки за Дальстроем закреплены все его нынешние кадры, и вольные, и невольные, поэтому так трудно из Магадана выехать. Отпускают только инвалидов по ВТЭКу. Вот почему так важен будет для меня вызов на работу по специальности в Ак. наук, в Гослитиздат или даже просто от Союза писателей. На днях получил очень хорошее письмо от Нины Влад.⁴², о которой я тебя совсем недавно и сам спрашивал. Отвечу ей завтра. Она спрашивает, не нужны ли мне книги какие-нибудь, не может ли она помочь мне чем-нибудь и т.д. и т.п. Очень меня тронули в этом письме строки о том, как она ценит и помнит все то, что я сделал для нее, как

„внушала всегда это и дочери” и пр. Хоть ничего особенного я для нее и не сделал никогда, а все-таки приятно, особенно сейчас. По не скрою от тебя — больно кольнуло меня, что ее Лялька уже ... студентка 1-го курса. Не хочу и не могу думать, что и сам я приближаюсь к возрасту Сем. Афан. Венгерова, на которого смотрели мы с Юрой Масловым уже только как на патриарха, как историческую реликвию. Ну, какой же я патриарх и какая реликвия? Мне кажется, я совсем, совсем недавно стал взрослым, мне был только начинать по-настоящему жить. Тосенька, а какая ты сейчас? Я ведь даже не представляю. Судя по письмам Ник. Леон., изменилась очень мало, такая же очаровательная, как была. А вот по твоим собственным письмам я сказать ничего не могу — просто не чувствую тебя в них, оттого и сержусь, и нервничаю, иногда даже не могу удержаться от того, чтобы и не сказать тебе об этом. Писал я тебе последний раз 2 апреля почтой и 8—20 апреля записку переслал через маму. В самом начале мая получил перевод на 300 вместе с Тамириным на столько же. Крепко, крепко тебя целую. Твой Юл.

25 мая 1946

Дорогая, родная моя Тосенька, только что получил твою открыточку от 10 апреля и огромное письмо, в ту же ночь написанное Ник. Леон. в вагоне. Он подробно пишет о всем том, что сделано и что на следующий день должно быть „доделано” (дополнит. подписи Леонова). Больше, конечно, ничего нельзя придумать, а меня особенно трогает и волнует участие друзей, сохранивших настоящее большое чувство ко мне после стольких лет выппада моего из жизни Большой земли. Даже если — паче чаяния — сейчас бы замедлился благоприятный результат обращения Тихонова и других, то он будет иметь благоприятное влияние на осенние мои мытарства после выхода на свет божий в обычном порядке. А главное, поможет выезду из Магадана. Даже если навигация уже прекратится, можно будет хлопотать о самолете (чему бывали у нас примеры) в Хабаровск, откуда уже гораздо проще сесть в скорый поезд.

Моя дорогая, мне бесконечно больно за те огорчения, которые я причинил тебе своими письмами. Ну, да я очень подробно мотивировал причины своей воображаемой обиды, так что тебе самой ясно, что я „заслуживаю снисхождения”. Моя родная, все твои переводы получил — благодаря только им и Тамириной поддержке (уж не знаю, откуда она выкраивала то, что посылала), я смог поддержать себя на приличном уровне, что сейчас важнее всего.

Прежде я очень пренебрегал вопросами самосохранения и жил спартанцем, да, впрочем, жить было в материальном отношении легче в 1942—1944 гг.

Моя дорогая, пиши подробно о себе. Где работает Нюся? Переписываешься ли ты с ней? Как твоё здоровье? Т.е. точно отвечай мне, чем хвораешь или хворала, зачем Ира посылает тебе лекарства из Москвы, следишь ли ты за собою, чем дополняешь свое питание в столовой? Я буду очень, очень огорчен, если не ответишь. Говорят, что навигация будет у нас этим летом иметь большие перебои, — нет свободного транспорта, который нужен в других местах. Поэтому не скупись на телеграммы. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя, моя радость. Привет всем друзьям. Твой Юл.

Только что получил записочку от Елены Михайловны — она очень давно не получает никаких известий от Маши, подозревает всякие ужасы и, судя по словам ее приятельниц, может не пережить этой неизвестности. Ел. Мих. просит тебя лично зайти к Елене Николаевне Тагер (Невский, 25, кв. 18) и узнать, в чем дело? Кто такая эта Е.Н. Тагер, я не знаю. Моя родная, я здоров и бодр сейчас вдвое. Только бы ты была здорова — больше мне ничего не надо. Крепко тебя обнимаю и целую. Твой Юл.

Твоих мартовских открыток еще не получал, но это у нас в порядке вещей: свежая почта предупреждает разбор завалов.

21 июня 1946

Дорогая Тосенька, с начала апреля от тебя не получаю ни строки. Не знаю и судьбы своих писем, которые направлял тебе разными способами — и почтой (20 апреля и 1 июня) и случайным самолетом (2 апреля) и пароходными оказиями на имя Ирочки (26 мая).

Я писал тебе, как меня взволновало последнее письмо Ник. Л. о бумаге на имя Лав. Пав. <Берия>. Мне кажется, что даже если результат ее будет не очень положителен, то все-таки самое участие, принятое в этом деле друзьями и знакомыми, дает перспективу выбраться отсюда. А то я уж готов был на магаданский вариант ближайших лет вольного быта, как ни тяжел он в некоторых отношениях (но только — в некоторых, в нем есть одна хорошая деталь — в нем никакой роли не играют причины, по которым тот или иной работник Дальстроя оказался доставленным сюда с материка. Судя по письмам почти всех уехавших знакомых, на Большой земле очень болезненно приходится ощущать свое прошлое чуть ли не на каждом шагу).

Тосенька, родная моя, только что получил твою телеграмму — ты беспокоена моим молчанием. Точно на такую же телеграмму я дней пять назад отвечал маме. Видимо, письма еще до вас не дошли, а первые могли и затеряться в пути. К телеграммам я прибегаю в крайнем только случае по разным причинам, в т.ч. и материальным. Для того чтобы сзодить концы с концами, мне обычно приходится учитывать каждый грош. Не думай, что я живу плохо, я очень стараюсь себя беречь, всегда сыт, достаю и чай, и сахар (это самые основные мои траты), но достается это ценой некоторых лишений, о которых не хотелось никогда мне говорить, чтобы не причинять тебе и маме дополнительных огорчений.

Осенью я твердо рассчитываю на изменение своего юридического положения. Но эта перемена, если я, ориентируясь на отъезд, откажусь принять предложение работать на Колыме, сразу ставит остро все материально-бытовые вопросы: и о жилье, и о зимней одежде и т.д. и т.п. Для дороги нужен полушубок (представь себе, что я с 1942 г. обходился в Магадане одной телогрейкой, хотя бывали и очень большие холода). Бурки и валенки у меня есть, зимняя хорошая шапка тоже, есть белье, но это и все. Правда, костюм и не нужен, гимнастерка и френч заменяют его с успехом, но и это ведь только „пока что“. Продолжительность дороги от Магадана до любого пункта центральной полосы не менее пяти недель (из них дней 6 пароходом, потом около 2-х недель ожидание посадки в поезд в бухте Находка). В зимних условиях это очень все тяжело. Пишу очень подробно обо всем этом, чтобы ты ясно учитывала последствия даже оптимального варианта, т.е. выезд сразу же после освобождения на материк. Но это „сразу“ зависит только от бумаг, получение к-рых может быть обеспечено московскими хлопотами, о которых писал мне Ник. Леон. Без них я обязан оставаться на Колыме, получая работу в Дальстрое по договору или без такового, живя в общежитии, т.к. комнату получить сейчас крайне трудно. Конечно, если бы приехала ты, то устройство наше было бы обеспечено в этом отношении. С нетерпением жду твоих соображений.

26 августа 1946

Дорогая Тосенька, в первых числах августа (1 и 8-го) отправил тебе одно письмо, разделившееся на две части и ушедшее двумя разными пароходами. Сегодня пишу опять, не получая от тебя после открытки от 27 мая ни слова (да и эта открытка была за весь май единственная). От мамы и Тamarы не имею никаких известий с конца апреля, предчувствую, что с мамой что-нибудь

случилось. Телеграммы о выезде Тамары в Измаил давали разные адреса для ответа — поэтому у меня оборвалась связь и с ними. Такой изоляции, как этим летом, у меня не было с конца 1942 г. Тосенька, роденькая, осталась у меня только ты, но и эту связь я ощущаю сейчас совсем не так, как было это до прошлого года. Вивовата в этом, вероятно, не одна ты — какую-то опустошенность душевную, как мальчик Кай у королевы снегов (помнишь эту сказку Андерсена — она очень меня смущала какими-то смутными предчувствиями и ассоциациями с детства — я ее с раннего детства и запомнил, никогда потом уж не перечитывая — просто в руки не попадалась „Королева снегов”), почувствовал я вдруг после девяти лет разлуки, каждый день которой прежде ты была около меня и не давала мне ни падать, ни сдаваться. Думаю, что и та дезориентация, которая получилась у меня накануне освобождения, та растерянность, которую я чувствую сейчас в большей степени, чем это нужно для трезвого начала новой жизни, значительно обострена переживаниями осени и зимы прошлого года. Я ведь уже столько лет не знаю, чем ты живешь, чего хочешь, чувствую, что весь быт твой как-то не реален, что двигаешься и мыслишь ты иногда только по инерции или в полусне. Сумею ли я тебя разбудить, дам ли тебе зарядку для новой жизни или сам буду нуждаться в ней, в этой зарядке, ибо „инерции” никакой не имею, давно выбитый из колеи? Вчера отправил деловое письмо Николаю Леонидовичу, прося переговорить его совершенно конкретно о возможностях моей работы в том или ином филиале Ак. наук. Это вопрос очень срочный, ибо с ним связано получение мною пропуска на выезд в том или ином направлении. Если возможности работы в Москве или Ленинграде пока что исключены или очень затруднены, я несколько не возражал бы пртив любого большого республиканского или областного центра (Саратов, Ташкент, Алма-Ата и т.п.), при условии конкретной работы, обеспечивающей мне самое скромное существование. Не сомневаюсь, что через год-полтора я из любого пункта выберусь в Ленинград, так как знаю, что и как делается для того, чтобы быть не просто терпимым, но необходимым работником в наших академических условиях. На первых порах мне нужна все-таки работа в учреждении (институте), а литературные заработки — это вопрос уже второго плана, хотя вес в бюджете последние будут иметь больший, чем первая. Говорить надо с Волгиным, Мещаниновым, Грековым. М.б., Ильюша мог бы в этом направлении действовать энергичнее, чем Н.Л. Я бы сам написал ему об этом, но не знаю адреса. Не связать-

ся ли тебе по этому вопросу с ним самой возможно скорее? Нужен вызов от Ак. наук на работу в определенном институте или конкретном филиале. Ты телеграфировала уже, чтобы я ждал твоего июльского письма (спасибо за два перевода, полученных Ваней, всего на 750 рублей). Вероятно, в нем будут твои соображения о месте, которое ты считала бы для меня наиболее удобным для жизни после возвращения. Помни, что освобождаюсь я 5 ноября, до конца навигации останется только два-три парохода, попасть на которые крайне тяжело. Для самолета до Хабаровска или до Якутска нужно специальное ходатайство Ак. наук или Презид. Союза писателей (на имя нач. Дальстроя генерал-лейтенанта Никишова, копия мне) и деньги (билет на самолет до Хабаровска стоит очень дорого, 1200 или 1400 руб., но экономит 7—8 дней пути и избавляет от трюма в зимних условиях морского пути), затем дорога в эшелоне около месяца через Сибирь и Урал. Сейчас я чувствую себя физически очень неплохо, но нервы в крайне расстроенном состоянии. Материальные условия мои, благодаря тебе, сейчас стали очень хороши, я заметно поправился и вообще стараюсь накапливать силы для зимних странствий и предстоящих мытарств переходного периода. Кстати, учти, Тосенька, и предупреди Тамару, что большая часть майских и июньских писем сюда не дошла, так как погибла во время пожара на пароходе. Если что было в письмах существенно — надо повторить. Моя радость, неужели я тебя скоро смогу обнять не во сне, а наяву? Неужели я скоро смогу рассказать тебе все, что со мною было, чему я научился у горя в лапах, у несчастья в плену?.. Я писал тебе, что написал очень удавшийся мне историографический этюд „Памяти Н.О. Лернера”, решая там попутно много больших и острых проблем нашего пушкиноведения⁴³. Крепко тебя целую. Твой Юл. Получение письма подтверди телеграммой.

21 января 1947

Дорогая Тосенька, здорова ли ты, моя радость? Ужасно болит сердце за тебя. Так было бы хорошо, если бы хоть в твоём здоровье был уверен сейчас. А мои дела таковы: получил несколько хороших адресов в Александрове и в Коломне. Завтра, 22-го, еду в А-в (с Наташей). Надеюсь там и остаться до прописки, а может быть возвращусь только за вещами, если найду хорошую комнату со столом (как обещают Андрониковы, которые меня туда сосватали). Здесь же пишу спешно для „Литературного наследства” вступительную статью к воспоминаниям о Лермонтове⁴⁴. Если оформлю это договором, то и совсем будет хорошо для

юридического положения в Александрове. Ты знаешь, что Н.И. Мордовченко привез мне в Ленинграде на вокзал телеграмму от ректора Саратовского университета с предложением подать заявление, что я сейчас уже и сделал. Гуковский прислал мне даже черновики этого заявления и письма (полуофициальные) на имя того же ректора. Юл.

25 января 1947

Дорогая моя Тосенька, 22-го приехал в Александров. Дорога длинная, выехал в 11 ч. 30 м., через два часа в Загорске, где поезда в Александров надо ждать полтора часа. В 4 ч. 30 м. был в Александрове. Воспользовавшись адресом, который дала Андроникова, нашел пристанище в Заречной слободе, у самой монастырской стены, где отсиживался Грозный со своими опричниками. Здесь чудесно: настоящая русская Подмосковная, без дачного привкуса. Люди, у которых остановился, простые и удобные. Если б была у них для меня отдельная комната, я бы ничего лучшего не желал. Но и так ничего: я у них пропишусь, буду ночевать и кормиться в дни приездов, а там видно будет. Не повезло мне только в одном: военкомат не взял меня на учет без комиссии, а комиссия будет только в четверг. Без отметки военкомата отказались поставить штамп на паспорте о прописке, хотя в книгу домовую меня уже и внесли... Был в Госбезопасности, где зарегистрировали (этот визит тоже обязателен, его результатами я доволен — хоть и Александровская явка, но явка).

Итак, сегодня я возвращаюсь в Москву, в среду выезжаю опять сюда и заканчиваю „оформление“. В Москве буду писать и писагь — для Ильюши. Авось закончу. Еще одно дело: предупреди Каверинных, что из Саратова должны быть бумаги для меня на их адрес. Пусть передадут тебе. Не забудь о магаданском переводе. Крепко, крепко целую тебя, моя радость. С нетерпением жду вестей о твоём здоровье и работе. Твой Юл. 24 января. Александров (опускаю в Москве).

А.И. Оксман к Ю.Г. Оксману

17 июля 1940

Дорогой мой Юлечка, я несколько запоздала с письмом, потому что думала быть в середине месяца в Луге, чтобы отправить посылку и заодно побывать у Кав<еринных> и Тын<яновых>, но

приехал Вова 11/VII вместе со своей женой Надей и взял посылку для отправки ее из Лодейного Поля. Надя простая и хорошая бабеночка, спокойная и, верно, здоровая. Мар<ия> Яковл<евна>, верно, хотела бы другой жены для Вовы, но кто может судить, что лучше человеку. Вова очень хороший мальчик и прекрасно относится к Мар. Яковл., он всегда о ней заботится и, видимо, очень ее любит. Это большое утешение для Мар. Яковл. в ее горестях.

Юлечка, я получила все письма, о которых ты писал, за исключением октябрьского. Я послала тебе письма: 14/V, 4/VI, 25/VI, 12/VII из Лодейного Поля. Последнее письмо отправила 30/VI, телеграммы 5/VII я не посылала, как обещала. Мой дорогой, ты спрашивал об автографах. Они целы, те, кот. я знаю*. Счета Савельича я не видела, я такого не знаю и не встречала среди бу-маг⁴⁶.

Юлечка, я очень устала, я работаю очень много. Сейчас я работаю специалистом на своей станции, получаю 550 р., можно еще всегда подработать, но я не гонюсь за большим заработком, у меня просто не хватает сил. В общем хозяйстве у меня идет не так уж много денег и того, что я зарабатываю, вполне хватает на жизнь.

Юлечка, я еще не звонила Anne Андреевне, я писала тебе, что мы перестали встречаться после того, как поговорили как-то откровенно, оказалось, что мы очень чужие⁴. Я писала тебе о том, что умер Дмитрий Петрович Якубович и я до сих пор не собралась к Нине Георгиевне, это просто противно мне самой, но после работы я валюсь с ног и ни на что не бываю больше способна!

Мой родной, мой дорогой Юлечка, крепко тебя целую, мой единственный.

Твоя А. Оксман

6 декабря 1945

Юлечка, дорогой, получила письмо от Ирочки, она вложила твое письмо к ней, привезенное в Москву. Очень расстроилась я из-за денег⁴⁸, за редкие письма не суди меня строго. Я по-преж-

*А я спрашивал о тех, которые забрал в августе 1936 г. Драницын, когда я был в Москве. <Знак сноски и текст на нижнем поле письма — рукой Оксмана>. Жду более подробного ответа! <Рукой Оксмана на боковом поле вдоль фраз об автографах.>⁴⁵

нему перекаत्याваюсь со дня на день. Была у Анны Андр<еевны>, она просила кланяться тебе. Лид<ия> Никол<аевна> плакала, когда читала твое письмо⁴⁹, она хочет ответить, очень хорошо, что ты ей написал. В последний приезд Никол<ая> Леон<идовича> мы с ним долго думали, что нам делать. Они (Степановы) на эту зиму остались в Москве, Кавер<инь> проживут в Л-де зиму, на лето поедут под Москву. Будь здоров, дорогой. Крепко тебя целую.

Т<ося>

30 марта 1946

Юлечка, дорогой, получила твое декабрьское письмо, поздравительную телеграмму. Я уже писала тебе, как огорчили меня твои осенние письма, ты плохо меня понял и не учел все трудности моего положения. Вернулись Каверины из Москвы, Лид. Ник. звонила, собираюсь быть у них на днях, медлю из-за недочетов своего внешнего оформления. Получаю письма от Ник. Леон., он и Каверин не забывают тебя и вместе с Ираклием грызли землю в Москве, как выразилась Лид. Никол. О жизни своей мало пишу, потому что живу как во сне. Задумываться не хочется, вернее, головы не хватает задумываться. Никол. Леон. неверно написал тебе обо мне⁵⁰, доведется увидеться, — огорчит тебя мой вид, да в сущности это уже не так и важно, и во всяком случае вполне закономерно, только бы увидеться, а там разберемся, как и что.

Будь здоров, дорогой.

Т.<...>

10 апреля 1946

Юлечка, дорогой, последнее время не оставляет тревожное состояние, с февраля, после поздравительной телеграммы нет вестей от тебя. Я послала в этом, сорок шестом, году 3 перевода Ване, всего на 700 р. (200, 300, 200). Вернулись Каверины из Москвы, была у них, тронули они меня своим участием, особенно Лид. Никол., она твой настоящий друг, кое-что они предприняли. Я не даю воли надеждам. Скоро должен приехать в Л-д Ник. Леон., он расскажет что и как. „Звезду” тебе посылал Солом<он> Абра<мович Рейсер>, он проведен в докторанты Академии наук Я вся в комочек сжалась. Как не грех тебе было так неверно мои письма понять.

Крепко тебя целую.

30 мая 1945

Милая Лидия Николаевна!

Много раз начинал письмо к Вам, но как-то руки опускались и слов не находил сколько-нибудь подходящих для выражения тех чувств, которыми хотелось бы поделиться с Вами. Вот и сейчас, получив зимнюю почту с большой земли и узнав о кончине Елены Александровны, я опять пережил то ощущение безнадежности, бессилия и пустоты, потери последних нитей, скреплявших прошлое и настоящее с каким-то будущим. Сейчас это будущее я просто никак не ощущаю. Вместо него какое-то безвоздушное пространство. Юрий Николаевич был для меня не просто близким человеком, а, вместе с Антониной Петровной, самым родным и дорогим существом. В самые страшные минуты нашей разлуки, в часы смертного томления (их мне пришлось ощущать — дело прошлое — не раз и притом совсем, совсем недавно) я мысленно разговаривал — не прощался, а именно разговаривал — только с ним. С ним же прежде всего я мечтал и увидиться после своего возвращения, только с ним хотелось бы наметать планы будущего (ну, конечно, не настоящего будущего, которое бывает у людей до 40, а тех пяти-шести лет, на которые все же можно точно рассчитывать для полноценной работы), только с ним хотелось (да еще, пожалуй, с Вен<иамином> Алек<сандровичем>) поделиться впечатлениями последних (самых, конечно, насыщенных живой жизнью и настоящим опытом) лет. Из писем Ант. Петр. я знал, что его перевезли из Перми в Москву. Из случайных номеров разных журналов и газет, которые удавалось прочесть, мне попались как раз те выпуски „Знамени” и „Огонька”, в которых были очерки о Дорожове и прощание Пушкина о Петербургом. Мне казалось, что это было и его прощание с Петербургом, с молодостью, с жизнью. Вместе с Юр. Ник. прощался этими строчками с прошлым и я, прощался и с городом, в котором прошла наша молодость, в котором завязалась наша дружба, в котором оборвалась наша жизнь (ведь после П<етербурга> началось „житие” в разных формах и для него и для меня, с просветлениями и затемнениями, но все же не жизнь). Я прочел в „Знамени” то, что написал о Ю<рии> Шкловский и, как всегда в его писаниях, почувствовал „второй план” его некролога, который дал мне гораздо больше первого, как всегда не очень членораздельного. И горько, горько стало мне, гораздо больше, чем тогда, когда опрокидывалась восемь

лет назад моя собственная жизнь... Простите, милая Лидия Николаевна, бессвязность моего письма. М.Б., напишу в другой раз лучше. М.Б., еще и увидимся с Вами, и вспомним, и поговорим, и поплачем. Сердечный привет Вен. Ал., Наталке и Коленьке.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Письмо (открытка) из тюрьмы в Ленинграде.

² Неоднократно упоминаемал в письмах М.М. Штерн (Малюся) — троюродная сестра Оксмана, друг Ю.Г. и А.П. на протяжении многих лет; библиограф, чьи справки вызывали благодарность и восхищение Ю.Г.

³ Работы Оксмана относятся к числу основополагающих в литературе о „первом декабристе“. Здесь может идти речь об издании записок В.Ф. Раевского. Вероятно, для этого неосуществившегося издания первоначально предназначалась статья Оксмана, опубликованная лишь посмертно в сб.: В сердцах Отечества сынов. Иркутск, 1975. С. 212—225 (прим. — с. 324). Ср. письмо от 6 декабря 1944 г.

⁴ Возможно речь идет о 3-м томе „Временника Пушкинской комиссии“, который должен был сдаваться в производство в конце октября или ноябре 1936 г. В академическом издании Пушкина И.М. Троицкий участвовал в комментировании писем, М.К. Азадовский (Оксман высоко ценил его и неоднократно спрашивал о нем в дальнейших письмах) комментировал сказки; ему же принадлежат статьи о них во „Временнике“. (Как известно, по распоряжению властей издание стало выходить без комментариев). О других изданиях, которыми мог в это время заниматься Оксман, см. прим. 6.

⁵ На копии указание А.П.: „Открытка из тюрьмы на ул. Воинова“.

⁶ По-видимому, речь идет об одном из двух тургеневских изданий, названных в следующем письме к Оксману от 2 окт. 1936 г.: „Уважаемый Юлиан Григорьевич! Институт литературы просит Вас срочно сообщить, в какой стадии работы находятся редактируемые Вами издания Института: 1. Полное собрание писем Тургенева, тт. I, II, III. 2. Письма Писемского. 3. Г.И. Успенский. Исследования и материалы. 4. И.С. Тургенев. Исследования и материалы. 5. Архив Добролюбова. <...> Ученый секретарь Н. Свириш“. Из этих пяти намечавшихся изданий вышли в свет второе и третье (оба в 1938 г.), разумеется, без имени Оксмана. Он же был, как писал сам в одной из последних своих статей, „руководителем всей архивной, текстологической и комментаторской работы“, связанной с ПСС Добролюбова, первые три тома которого вышли под его редакцией в 1934—1936 гг. (см.: Добролюбов Н.А. Русские классики. Издание подготовил Ю.Г. Оксман. М., 1970. С. 546). Ср. прим. 34.

⁷ Двое последних — сестра и ее сын.

⁸ Младший брат Эммануил Григорьевич. Был репрессирован (см. письмо от 8 янв. 1945 г.), по-видимому в 1937 г.

⁹ Ср. ПТЧ, с. 90.

¹⁰ Двое последних — тетка по матери Софья Яковлевна и двоюродная сестра — упоминаемая в заметках А.П. Мария Соломоновна Альгер (см. вступит. статью),

¹¹ Писательница Е.М. Тагер (о ней же в нескольких позднейших письмах), вдова университетского товарища Оксмана и Тьянова поэт Георгий Маслова (см. прим. 23 и 40а). В мемуарных заметках 60-х годов Оксман писал: „<...> Елена Михайловна и я неожиданно встретились в Магадане. Оба мы были в заключении, жили в разных лагерных пунктах. Виделись не более двух-трех раз, но переписывались время от времени (через заключенных женщин, работавших в Промкомбинате, в пошпочных мастерских)”. Е.М. Тагер была арестована по „делу” ленинградских писателей (Заболоцкий, Стенич, Выгодский и др.; см. *Заболоцкий И.* История моего заключения // Даугава. 1983. № 4).

¹² Мать А.П. (см. вступит. статью) и сестра Анна Петровна.

¹³ См. письмо А.П. от 17 июля 1940 г. Д.П. Якубович умер 30 мая 1940 г.

¹⁴ 29 июня 1940 г. А.П. писала мужу: „Мне хочется написать тебе о отношении к тебе, к твоему делу, о трогательном участии, о настоящей боли Ник. Леонид., о большой конкретной помощи, кот. он мне всегда оказывал. Это совершенно исключительный человек”. В 50-х годах отношения стали более далекими (ср.: *Каверин В.А.* Литератор. М., 1988. С. 138).

¹⁵ См. письмо А.П. от 17 июля 1940 г. Дружеские отношения с Ахматовой установились с конца 20-х годов и возобновились после возвращения Оксмана с Колымы. В частности, благодаря своим старым связям он содействовал выходу сборника Ахматовой 1961 г. (см.: *Чужовская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. Paris, 1980. С. 321, 355, 377). В начале 60-х годов он в курсе работы поэта; пушкиноведческие штудии ее встречает восхищенно. 1 авг. 1962 г. Ю.Г. Оксман писал жене из Комарово: „Около Анны Андр. сменяющиеся почитательницы. Она сама топит печь, горда, что делает это лучше всех. Вид у нее очень бодрый. Много говорит о тебе, уверлет, что часто вспоминает о встречах с тобою в Ленинграде”. 22 янв. 1963 г. в письме к М.М. Штерн из Москвы: „Часто бываю у Анны Андреевны, которая сейчас в большом подъеме — переделала свою поэму, приготовила к печати весь цикл „Реквием”, написала воспоминания о Мандельштаме, несколько новых заметок о Пушкине”.

¹⁶ В.Л. Комарович, университетский однокашник Оксмана и Тьянова; М.П. Алексеев (с которым Ю.Г. был знаком со времени работы в Одессе, 1919—1923) и его жена (о ней см. также в письме от 20 мая 1946 г.).

¹⁷ А.П. работала на метеостанциях.

¹⁸ Историк литературы В.С. Спиридонов и его жена Софья Александровна. Его работы по Белинскому были особенно важны для Оксмана — составителя „Летописи жизни и творчества В.Г. Белинского”.

¹⁹ И.С. Зильберштейн, которого Ю.Г. знал с одесских лет.

²⁰ О Е.В. Михайловой см. в заметках А.П., приведенных во вступит. статье.

²¹ 5 июля 1943 г. Ю.Г. писал жене, находившейся в эвакуации в Пржевальске (Киргизия): „Кстати получил очень хорошее письмо от какой-то Маруси Бархатовой, которая живет сейчас в нашей бывшей квартире в Ленинграде. Сообщает о моих бумагах, которые надеется сберечь до нашего возвращения. Я ответил ей <...>” С М. Бархатовой (также работавшей на метеостанциях) А.П. подружилась в годы после ареста мужа.

²² П.Н. Берков и М.К. Азадовский. В 60-х годах Ю.Г., описывая времена и нравы, упоминал и о том, как изменился Берков по сравнению с 30-ми годами, когда он позволял себе некорректные публичные высказывания по поводу находившегося в заключении Оксмана. Спустя много лет он пробовал объясниться, уже будучи с Ю.Г. в хороших отношениях, но тот прервал его: „Нет, ничего не хочу слушать. Это был совсем другой Берков“. На выход книги „От „Капитанской дочери“ к „Запискам охотника“ Берков откликнулся рецензией „Ю.Г. Оксман — литературовед“ (Вестник Ленинградского ун-та. 1962. № 14), проникнутой пиететом (но не содержащей даже намека на десятилетний перерыв в работе ученого).

^{22a} Эти ученые умерли в блокадном Ленинграде в 1942 г.

²³ О поэте и филологе Г.В. Маслове см.: ПИЛК, с. 136—138, 450—453; ПТЧ, с. 90—93, 99; Stanford Slavic Studies, с. 26—27, 30 (прим. 4), 65.

²⁴ Двоюродная племянница; см. о ней в заметках А.П., приведенных во вступит. статье.

²⁵ Лузановка — пригород Одессы; о Вознесенске, где прошло детство Ю.Г., см. в наброске его автобиографии (ПТЧ, с. 81—83). О Кисловодске он писал жене из этого города 16 февр. 1959 г.: „Ведь с Кисловодском связана вся моя жизнь с 1909 г., когда я первый раз гостил у дяди Саши в Георгиевске и Пятигорске и видел старый аристократический курзал, с царскими сановниками, гвардейскими генералами, актрисами императорских театров и т.п. А с 1925 г. и я стал ежегодным гостем Кисловодска. Помню, как мы жили здесь с тобою, моя радость <...> А вот сейчас такое ощущение, что пришла настоящая старость и за 50 лет все закружилось“.

²⁶ Сестра А.П. — Тамара Петровна Семенова.

^{26a} См. стихи Жуковского в письме от 4 апр. 1941 г. Упоминаний об Ахматовой в известных нам письмах этого времени нет. 8 июля 1943 г. Ю.Г. писал: „Случайно попался мне томик стихов Ахматовой 1940 г. Читал — как дневник Лины Андреевны, даже с чувством некоторой неловкости за неделикатное вторжение в интимный быт (если не читала — обязательно прочти стихи 1939—1940 г.)“.

²⁷ Гимназическая подруга А.П.

²⁸ Р.М. Волков, о котором см. заметку Оксмана в КЛЭ.

²⁹ Е.В. Тарле и И.С. Зильберштейн.

^{29a} С.А. Рейсер, в течение многих лет профессионально (а после женитьбы на М.М. Штерн и родственно) связанный с Ю.Г.

³⁰ Двоюродная племянница.

³¹ См. прим. 3.

³² Специалист по библиографии русской литературы XIX в. Л.М. Добровольский работал с Оксманом в ПД. Историк литературы П.А. Горчинский, многолетний директор библиотеки Петербургского—Ленинградского университета, был репрессирован в 1936 г. и в том же году умер.

³³ И.К. Луппол, как и Оксман, входил при Горьком в директорат ПД в качестве заместителя директора (в 1935—1940 гг. был и директором московского Института литературы им. Горького). Умер в заключении в 1943 г.

³⁴ 6-й том ПСС Добролюбова, подготовленный С.А. Рейсером (которого

Ю.Г. приветствует в предыдущем абзаце) и Б.Я. Бухштабом (М., 1939; первые тома вышли под редакцией Оксмана — см. прим. 6).

³⁵ Библиограф А.А. Шилов умер в блокадном Ленинграде в 1942 г.

³⁶ Подруга А.П. — Ек. Серг. Белоброва.

³⁷ Знамя, 1943, № 4 и 1944, № 1—2 (здесь же упоминаемая далее в письме киноповесть О. Берггольц и Н. Макогоненко „Они жили в Ленинграде“).

^{37^a} В письме от 27—30 окт. 1945 г., сообщая, что удалось „почти целый день провести в библиотеке за просмотром газет и журналов“ (ср. в публикуемом письме от 26 ноября 1945 г.), Ю.Г. писал: „<...> Подивился скудости информации о смерти Юр. Ник. Сейчас как-то притупилась у меня острота этой потери, но просто оттого, что не могу об этом думать. И как вспомню — так страшно становится от безвоздушного пространства вокруг нас“.

³⁸ Речь идет о жене и дочери Тынянова.

^{38^a} Как сообщил нам В.А. Каверин, этот брак длился год или полтора: муж, петербургский студент по фамилии Каченович, был сыном богатых торговцев мукой; как меньшевик, сидел в тюрьме и до и после революции и в 1921 г. был расстрелян.

³⁹ Речь идет о тексте для трехтомного ПСС Гаршина под ред. Оксмана; первые два тома этого издания не вышли из-за ареста Ю.Г., том писем вышел ранее — в 1934 г. „Фиалка“ и четыре других незавершенных рассказа Гаршина, подготовленные к печати в начале 30-х годов, были опубликованы уже после смерти исследователя: Лит. наследство, Т. 87. М., 1977. С. 159—177; там же А.П. Оксман и К.П. Богаевская опубликовали (с предисловием и примечаниями последней) несколько писем Гаршина из собрания Оксмана.

⁴⁰ Дочь и сын Л.Н. Тыняновой и В.А. Каверина. В следующей фразе говорится о сыне Б.М. Эйхенбаума.

^{40^a} См. прим. 11 и 23. В 60-х годах Е.М. Тагер и Оксман продолжали собирать стихи Маслова. Вскоре после ее кончины в июле 1964 г., сообщая об этом М.М. Штерн, он писал: „Я случайно только не был у нее (после поездки в Ленинград. — М.Ч., Е.Т.), хотя привез ей некоторые стихотворения Маслова, найденные мною у некот. сибиряков, с кот. он общался в 1919 г. Я мечтал напечатать его стих-ни — и кое-что сделал уже для этого сам. Кое-что должна была подготовить к моему приезду и сама Ел. Мих.“.

⁴¹ С директором Гослитиздата П.И. Чагиным и акад. В.П. Волгиным (о нем см. также в письмах от 18 июня 1945 г. и нач. февраля 1946 г.) Ю.Г. был связан в 30-х годах активными деловыми отношениями.

⁴² См. прим. 16.

⁴³ Этот эпюд не был опубликован. Ю.Г. читал его у М.А. Цявловского сразу по возвращении из Магадана (сообщ. К.П. Богаевской).

⁴⁴ 12 марта 1947 г. Ю.Г. сообщал жене, что эта его „работа вернулась из отд<ела>. печати ЦК, куда ее послали из „Лит. наследства“, с одобрением. Только вычеркнули четыре страницы из моей большой статьи, да две страницы изъяли у самого Арнольди. Нельзя, оказывается, писать, что Лер<монтов> не ладил с властями и что Николай сказал „Собаке — собачья смерть“. Впрочем, я с этим совершенно согласен“. Однако работа не была напечатана — в лермонтовском томе „Лит. наследства“ (т. 45—46, 1948) раздел воспоминаний современников не имеет вступительной статьи и не содержит

записок Арнольди. Впоследствии, в 58-м томе (1952) была опубликована работа Оксмана „Лермонтов в записках А.И. Арнольди“, а в сб. „М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников“ (1964) он комментировал мемуары нескольких лиц.

⁴⁵ Об изъятии пушкинских автографов во время обыска у Оксмана в 1936 г. см. во 2-м фрагменте заметок А.П.

⁴⁶ Ю.Г. спрашивал А.П. об одном из пушкинских автографов его собрания — копии с документа XVIII в., использованного в „Капитанской дочке“ („реестр“ Савельича в гл. 9). Копия была опубликована Оксманом в 1949 и затем в 1952 гг. См: его кн.: „От „Капитанской дочки“ к „Запискам охотника“. Саратов, 1959. С. 94—100. Об этом и трех других автографах поэта из собрания Оксмана, поступивших после его смерти в ПД, см. в статье Р.Е. Терехвиной в „Ежегоднике РОПД на 1974 год“ (Л., 1976. С. 105—109).

⁴⁷ Ср. в письме от 29 июня 1940 г.: „Ан. Андр. я еще не звонила. Мы встречались с ней раньше довольно часто, но потом, вернее последние 2 года, перестали встречаться. Впрочем, последние годы я вообще мало с кем встречаюсь, уж очень как-то разошлись интересы, да и времени нет“.

⁴⁸ Речь идет, вероятно, о том, что денежный перевод не был получен Ю.Г. (ср. об этом в 3-м фрагменте заметок А.П.).

⁴⁹ Публикуется в наст. изд. (см. далее).

⁵⁰ См. в письме Ю.Г. от 23 ноября 1945 г.

В.С. Баевский

„Я НЕ БЫЛ ЛИШНИМ“

(Из воспоминаний о Б.Я. Бухштабе)

Борис Николаевич Бухштаб принадлежал к семье, игравшей заметную роль в культурной жизни России второй половины XIX и XX века. Он был сын врача, доктора медицинских наук, сотрудника И.П. Павлова, двоюродный брат выдающегося литературоведа Г.А. Гуковского. Однажды я процитировал Тютчева: „Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые...“. Б.Я. улыбнулся, выдержал паузу и сказал:

— Гегель писал о мирных периодах как о белых страницах истории. Я хотел бы пожить на таких белых страницах.

И рассказал о своем дяде, который родился в 1848 г. в семье многодетного аптекаря, кончил гимназию, Харьковский университет по юридическому факультету, стал крупным одесским адвокатом, гласным городской думы и умер за несколько месяцев до начала первой мировой войны. О нем с уважением отзывался Чехов: „Это один из интеллигентнейших людей в Одессе“¹.

Учился Б.Я. в Ленинградском университете и систематически посещал занятия в ГИИИ — Гос. институте истории искусств.

— Там я одновременно слушал Тынянова, Эйхенбаума, Томашевского, Энгельгардта, Гуковского, да и не только их, — со вкусом рассказывал Б.Я. — Вот как читал нам философию Радлов. „Прихожу я раз домой после прогулки, а в гостиной у меня сидят Владимир Сергеевич Соловьев и Лев Александрович Лопатин“. После такого начала лекции рассказ о философии Соловьева звучал совсем интимно. Б.Я. гордился своими учителями. Когда я начал писать о „Евгении Онегине“, он поддержал меня в таких словах: „С радостью слежу за тем, как расширяются Ваши исследовательские интересы; особенно рад, что Вы взялись за Пушкина. В поколении моих учителей почти все были пушкинистами — и какими!“ (письмо от 17.6.78).

Я познакомился с Б.Я. на большой научной конференции в Коломне под Москвой в феврале 1968 г. Еще когда я был студентом и во время каникул подряд, том за томом штудировал „Библиотеку поэта“, для меня из всей серии выделился Фет, подготовленный Б.Я. Это было издание 1937 года под редакцией Эйхенбаума. Меня поразило, как Б.Я. уверенно решал сложнейшие текстологические вопросы, как прокомментировал сложные тексты, как воссоздал во вступительной статье странную судьбу поэта. На меня подействовала даже сама фамилия Бухштаб, как и фамилия Рейсер, узнанная тогда же, своей внутренней формой обращенная к книжному делу. Бухштаб и Рейсер представлялись мне, студенту, чуть ли не научными учреждениями. И вот после моего доклада на конференции учреждение под названием Бухштаб подошло ко мне, заговорило неожиданно высоким голосом и предложило обменяться адресами.

В 1978 г., за несколько лет до начала нынешнего тыняновского ренессанса, мы с Б.Я. вместе с нашими женами совершили паломничество в Резекне, на родину Тынянова. Естественно, что я расспрашивал Б.Я. о его учителе. Впрочем, я не раз заговаривал о нем и раньше и потом. Против ожидания, Б.Я. говорил о прошлом необыкновенно осмотрительно, как бы перед лицом истории, опасаясь малейшей неточности, не то что нескромности.

— Я никогда не вел дневника, а полагаться только на память нельзя, память подводит. Вот Лидия Яковлевна!..

В Лидии Яковлевне Гинзбург Б.Я. видел летописца своего поколения, самого одаренного и наиболее полно реализовавшего ученого.

Вот почему я могу привести совсем немного высказываний

Б.Я. о Тынянове. Зато они весьма независимы и неожиданны. Таков был стиль мышления Б.Я. вообще.

Здесь уместно упомянуть об источниковедческой базе моих собственных воспоминаний. Я опираюсь на записи, которые делал, к сожалению, далеко не регулярно, но непременно на свежую память, в тот же день. Поэтому за точность передачи слов и мыслей Б.Я. ручаюсь. Кроме того, я использовал 132 письма Б.Я. ко мне (крайние даты 3 июля 1968 г. — 12 марта 1985 г.). Где только можно, я предоставляю слово самому Б.Я., оставляя себе роль не столько хроникера, сколько комментатора. К сожалению, часть писем Б.Я. я не смог пока разыскать в своем плохо упорядоченном архиве.

— Тынянов, конечно, был гениальный ученый, а как о романисте я о нем этого не скажу.

— Из его прозы лучшее, несомненно, „Подпоручик Киже”.

Я сказал, что больше всего люблю „Смерть Вазир-Мухтара”.

— Я „Кюхлю” предпочитаю „Смерти Вазир-Мухтара”, — ответил Б.Я. — С „Вазир-Мухтара” началась вычурность Тынянова. Я спросил, был ли Тынянов блестящим лектором.

— Конечно. Но говорил он без особого внешнего блеска.

— Чем же он брал?

— Мыслью.

Вскоре после нашего знакомства Б.Я. мне писал: „Ваш вопрос, есть ли у меня студенты, занимающиеся стиховедением, свидетельствует о Вашей неосведомленности в моем положении. Я почти никогда не преподавал литературу в вузах, где есть спецкурсы, семинарии, вообще что-нибудь, кроме общих курсов литературы, и вообще почти всю жизнь литературоведение было моим приватным занятием в свободные часы. Я ученик Эйхенбаума и Тынянова и поэтому был в свое время „отлучен от воды и огня”, не желая каяться и отмежевываться, хотя среди „младоформалистов” был диссидентом и в семинаре Эйхенбаума и Тынянова яростно нападал на своих учителей. Когда с формализмом дело затихло, появился новый „пункт”. И характер мешал всю жизнь. В результате, кроме двух лет преподавания в Институте истории искусств в юные годы и двух лет работы в Омском педагогическом институте в годы войны, я в специальном учебном заведении не преподавал. Еще два раза читал на почасовых спецкурсах в университете. Свыше сорока лет назад я поступил библиографом в Публичную библиотеку, и с тех пор моя жизнь была связана с Публичной библиотекой, а потом с Библиотечным институтом...” (25.11.68).

Пять лет спустя Б.Я. вернулся к этой теме. „Настроение у меня кислое, работоспособность крайне низка от нервов и утомления. Библиография, к которой я привязан, как каторжник к ядру, совсем опротивела, на литературоведческую работу не хватает сил, времени и желания” (11.3.73).

Б.Я. начинал одновременно и как литературовед, и как литературный критик, и как детский писатель — автор живых повестей о народовольцах, рассказов о жизни крестьянских детей (фабула одного из них близка к фабуле некрасовского „Генерала Топтыгина”). Позже он от беллетристики отошел, но чувство слова, ощущение структуры фразы сохранил и изоширил, перенося в историко-литературные труды.

В обширной области истории русской литературы Б.Я. считал своим период 40—80-х годов XIX века, 50 лет между Лермонтовым и символистами. В этом периоде господства романной прозы он занимался поэзией Некрасова, Тютчева, Фета, Козьмы Прутова, Добролюбова и малых поэтов. Из прозаиков в поле зрения Б.Я. постоянно пребывали Салтыков-Щедрин и Лесков. Естественно, что время от времени Б.Я. делился любопытными замечаниями о писателях, которыми занимался.

Он требовал строгой адекватности выводов исходным данным. Нередко он упрекал меня и других историков литературы в том, что в увлечении темой мы „переживаем”, стремясь извлечь из материала больше, чем в нем объективно заключено. Это слово „переживает” я слышал от него не однажды. Нечего и говорить о том, как претила ему любая подтасовка фактов в нашем многострадальном литературоведении. Нередко он иронизировал по этому поводу, считая, что наши классики достаточно хороши и без грима.

— Широко цитируются воспоминания Чернышевского: „Я пользовался каждым случаем, чтобы внушать Некрасову необходимые понятия, и он не обижался, хотя был на семь лет старше”. Но не дается их продолжение: „Но как только я замолкал, он начинал говорить о своей карточной игре, о выигрышах и проигрышах”.

Однажды Б.Я. поделился со мною своим неосуществленным замыслом.

— Я собирался написать статью „Что такое обломовщина”. Эстетические оценки сами по себе Добролюбова не интересовали. Ему важны были только политические соображения. Поэтому он

мог дать какую угодно оценку в политических целях. В одном письме он говорит, что еще не решил, как писать о романе Гончарова, хвалить его или ругать. Эстетическая критика нужна была Добролюбову только для доказательства того, что данное явление литературы правдиво отражает жизнь. Причем делает он это крайне упрощенно. Вот он пишет: Гончаров подробно описывает бакенбарды и одежду Захара, квартиру Обломова — значит, он реалист и правдиво воспроизводит русскую жизнь.

— А талантлив он был бесспорно, особенно учитывая, что писал все это мальчишкой, — с утлением добавил Б.Я.

Очень любил Б.Я. Салтыкова-Щедрина и время от времени его цитировал. Однажды сказал:

— Надо бы составить сборник афоризмов Салтыкова-Щедрина. Помните? „Когда я приподнимаю завесу будущего, я одновременно другой рукой зажимаю нос“.

Столь же любил он и Лескова.

— Никто так не знал самые разные слои русской жизни, как Лесков и Чехов, — сказал мне как-то Б.Я. Эта фраза оказалась вступлением к следующей устной новелле.

— Андрей Николаевич Лесков соединял пиетет перед художественным даром отца с сыновней неприязнью, доходившей до ненависти. Однажды он читал главу из воспоминаний у Томашевских. Он сказал, что никто лучше Лескова не знал столь разнообразных слоев русского общества. Я осторожно заметил: „Пожалуй, Чехов“. — „Да-а, возможно. Но насколько у Николая Семеновича ярче!“ Когда мы вместе вышли от Томашевских — оба мы жили на Петроградской стороне — Андрей Николаевич спросил: „А не напоминают мои воспоминания карамазовщины?“

Нечего и говорить, что книга А.Н. Лескова об отце стала и великолепным произведением русской литературы, и бесценным научным источником, и прекрасным сыновним памятником отцу.

Считая себя специалистом в области истории русской литературы середины XIX века, Б.Я. прекрасно знал всю новую и новейшую русскую литературу. Выдающихся советских поэтов 20—30-х годов, поры своей молодости, он особенно остро чувствовал и любил.

В 24 года он выполнил работу о Пастернаке, которую без преувеличения следует назвать блестящей. Она нимало не устарела за полвека. Язык, стих, образная сфера и тематика поэта показаны здесь в движении и развитии. Она была задумана как небольшая книга для издательства "Academia", которое публиковало

труды сотрудников ГИИИ под грифом этого учреждения. 21 декабря 1928 г. двоюродная сестра Пастернака, ленинградский филолог О.М. Фрейденберг писала поэту: „Секретарь литературного отделения Института истории искусств Борис Васильевич Казанский, добрый мой приятель, просит, чтоб я передала тебе просьбу института и его. Институт выпускает о тебе исследование Бухштаба, и у них принято, чтоб в начале книги шла статья самого автора. Она может быть автобиографическая <...> либо принципиальная, либо о поэзии вообще или о своей и т.д. Так вот, просят тебя прислать им такую статью и спешно, кажется (не помню) ”². Б.Я. мне рассказал, что он приехал в Москву, принес Пастернаку свою рукопись, а потом пришел второй раз за ответом. Пастернаку работа не понравилась, он не выразил желания писать статью и способствовать опубликованию книги.

— По-видимому, тогда уже наметилась его переориентация, — коротко пояснил Б.Я.

Этот эпизод имеет полную аналогию в рассказе Харджиева. В 1932 г. редакция „Литературной газеты” заказала двум молодым филологам, ему и Тренину, статью об эволюции поэта. Поэту она не понравилась и напечатана не была³.

Пастернак всю жизнь искал пути к большому читателю. Как раз в 1928 г. он переработал свои ранние книги стихов именно в расчете на новую аудиторию, сформировавшуюся после революции. Работы молодых критиков, исследовавшие истоки и стилистику „Близнеца в тучах” и „Поверх барьеров”, привлекали внимание как раз к тому в его творчестве, что он теперь осуждал (безусловно, несправедливо!), от чего он уходил.

Могу заметить, что за полтора года до смерти Пастернак говорил мне о своей ранней лирике с удовольствием. Есть и другие свидетельства такого рода. Последняя книга Пастернака „Когда разгуляется” некоторыми сторонами неожиданно сближается с „Близнецом в тучах”, в конце намечается возвращение поэта к своим истокам. Любопытно, как бы он оценил ранний труд Б.Я. в 1959 г.?

Мало кто теперь знает, что в 1928 г. в виде рецензии на одно из изданий „Сестры моей жизни” и „Тем и варяций” была опубликована небольшая статья Б.Я. о Пастернаке. В ней дана точная и с сегодняшней точки зрения характеристика поэтической манеры Пастернака, указано его место в литературе и в читательском сознании⁴.

У меня состоялся еще один разговор с Б. Пастернаке. Суть его передает единственная фраза Б.Я., записанная тогда мною.

— В молодости я преклонялся перед Пастернаком. А потом мне стало казаться, что он — иллюзионист. Он может одухотворить любой предмет и даже любое качество, сравнить все со всем.

Я тогда занимался Пастернаком и устанавливал строгие закономерности, по которым движутся казалось бы беспорядочные ассоциации Пастернака, а Б.Я. высказывал по этому поводу сомнения. Кажется, мы так и остались каждый при своем убеждении.

Колоритны были некоторые подробности, сообщенные Б.Я. о Маяковском, но они теперь известны по воспоминаниям Р.О. Якобсона и Л.Я. Гинзбург. Здесь мне хочется запечатлеть один мимолетный случай. Б.Я. гостил у меня в Смоленске, и я повел его в музей Коненкова. Там стоят две огромные, каждая в два человеческих роста, пафосные, в самоуверенной позе, деревянные статуи Маяковского и его же бюст в бронзе. Переходим мы от одного экспоната к другому, и борьба разноречивых чувств отражается на лице моего гостя. И он произносит:

— А ведь я был с Маяковским знаком, и он называл меня Боря.

Неоднократно заходила речь о Мандельштаме. Б.Я. любил вспоминать в разговоре его строки, иногда, увлекшись, не мог оторваться и читал стихотворение целиком. Помню, с каким вкусом, с какой экспрессией прочитал он однажды в зимний холодный день, у себя дома, в уюте и тепле их с Галиной Григорьевной прочной квартиры, среди надежных книг: „Вы, с квадратными окошками, невысокие дома, — Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима“. И до конца.

В 1973 г. в очередной раз приехал в СССР К.Ф. Тарановский. Б.Я. и Галина Григорьевна пригласили на обед его, Л.Я. Гинзбург и меня с женой. Празднично накрытый уютный овальный стол, неторопливый обед, чай из самовара (настоящего, не электрического!), литературный разговор. Кажется, я первый заговорил о Мандельштаме. Л.Я. Гинзбург была знакома с Мандельштамом и замечательно о нем писала как исследователь и мемуарист, у Б.Я. тоже есть яркая работа о нем. В „Листках из дневника“ Ахматова написала: „Из ленинградских литературоведов хранили верность Мандельштаму — Лидия Яковлевна Гинзбург и Борис Яковлевич Бухштаб — великие знатоки поэзии Мандельштама“⁴⁴. Тарановский тогда не то кончал, не то только что кончил свою книгу о Мандельштаме. Я оказался среди лучших в мире знатоков

поэзии Мандельштама, и мне захотелось вовлечь их в специальный разговор. Я заговорил о стихотворении „Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...“, которое люблю со студенческих лет. Меня занимала возможная связь стихотворения Мандельштама со стихотворением Вяземского „Друзьям“. Помимо совпадения лексики и ритмико-интонационных фигур у меня был еще один, как мне казалось, сильный аргумент. В конце стихотворения Мандельштама неожиданно появляются итальянские вина: „Веселое асти-спуманте иль папского замка вино“ (т.е. шипучее — потому и веселое — асти-спуманте или *le vin de Papé*). Между тем у Вяземского есть рассказ о том, как именно эти вина экзотичностью своих названий поразили в детстве его воображение⁵. Выстраивается целый ряд ассоциаций, ведущих от стихотворения Мандельштама к Вяземскому.

К.Ф. Тарановский первый напал на меня. Мнение Л.Я. Гинзбург, которая исследовала и издавала прозу Вяземского, было чрезвычайно весомо. Она выразила глубокое сомнение по поводу моего предположения, сказав, что отнюдь не исключает случайного совпадения. Я еще надеялся на поддержку Б.Я., но он решительно заявил, что я „пережимаю“. Не были приняты и другие мои суждения: о том, что метафора „военные астры“ подразумевает эпoletы, и о том, почему стихотворение Мандельштама написано не обычным для „здравной темы“ трехстопным амфибрахием, а стихами удвоенной длины, редчайшими в русской поэзии.

Некоторое время спустя на прогулке мы с Б.Я. снова заговорили о Мандельштаме. Я рассказал, что нашел у себя на балконе труп ласточки и не мог понять, отчего она погибла. А на другой день стал свидетелем ожесточенной битвы. Весною две ласточки свили гнездо на моем балконе. Теперь в нем жались три птенца, стая ласточек, как эскадрилья штурмовиков, атаковала гнездо, а хозяева гнезда его самоотверженно защищали. «Вот тебе и „Грудь краснобела, касаточка, Летняя гостья, певичка!», — процитировал я Державина.

Мгновенно сработала великолепная ассоциативная память Б.Я., и он стал приводить строки из Мандельштама, в которых ласточки изображены отнюдь не идиллически:

— А вы обратили внимание, у Мандельштама: „Мы в легионы боевые Связали ласточек...“? Очевидно, Мандельштам. тоже наблюдал что-нибудь подобное.

Разговор происходил после выхода в свет книги Тарановского "Essays on Mandel'stam" и перекинулся на нее. Б.Я. сказал:

— Я написал Кириллу Федоровичу, что у него Мандельштам выглядит эрудитом, тогда как он эрудитом не был. Он наклеивал знания то тут, то там, а не приобретал их систематически. Тарановский же многое усложняет. Например, у Мандельштама золотушный дрозд. Вы наблюдали когда-нибудь дрозда? У него телуше в пятнышках. Откуда вдруг павлиний крик в „Концерте на вокзале”? Да просто в Павловске был павильон с павлиньим вольером. Это из тех реалий, которые могут прояснить только старые петербуржцы.

Особенно часто и подолгу мы беседовали об Ахматовой, вместе побывали на ее могиле в Комарове. Б.Я. подарил мне фотографию, сделанную в Комарове: они с Ахматовой рядом неторопливо идут среди деревьев. Это едва ли не последний снимок Ахматовой. Многое из того, что рассказывал мне Б.Я., постепенно стало широко известно из воспоминаний, появившихся в печати; кое-чего еще неудобно касаться. Однако несколько эпизодов могу здесь передать.

— Я подарил Ахматовой Фета, — рассказал Б.Я., имея в виду второе издание в „Библиотеке поэта”, так что рассказ относится к 1959 или 1960 году. — Она прочла все: стихи, статью, комментарии. Исправила: „У вас этишкет — полоса, идущая от шапки улана⁶. В действительности от шашки, я знаю, мой муж был уланом”. Муж — Гумилев. Я сказал: „Значит, это была опечатка в источнике моих сведений, „шапка” вместо „шашка”. Конечно. Ведь военный убор шапкой не называли”. Анна Андреевна тут же: „Кроме Пушкина! Сиянье шапок этих медных...”. Так точно она мыслила!

Как-то она сказала Б.Я.:

— Есть три автора в вашем поколении, которые известны как переводчики, а в действительности являются большими поэтами. Это Тарковский, Петровых, Липкин.

При посещении кладбища в Комарове разговор, естественно, коснулся последних лет Ахматовой и ее смерти. Б.Я. сообщил, что Ахматова, как-то по-детски радуясь, рассказывала ему о письмах, которые приходят к ней от читателей ее поэзии из-за границы, об иностранных изданиях, о свидетельствах мировой известности.

В разговоре участвовала Галина Григорьевна. Она вспомнила, как в 1946 г. на торжественном заседании, посвященном двадцатипятилетию со дня смерти Блока, Ахматова читала стихи. «Это был ее апофеоз. Величественная красавица, в черном с серым

платье, седая... Зал встал и минут пятнадцать ей аплодировал. ...А потом прозвучал доклад о журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

Снова заговорил Б.Я.

— Когда гроб с телом Ахматовой доставили в Ленинград, здесь, в Никольском соборе, состоялась очень торжественная панихида при огромном стечении народа и духовенства. На ее похоронах тоже была масса народу.

— Я стоял где-то там... ничего не видел и не слышал, — печально добавил Б.Я.

В июле—августе 1978 г. мы с женой вместе с Б.Я. и Галиной Григорьевной отдыхали в Латвии на турбазе „Эзерниеки“. Здание с комфортабельными двухместными номерами стоит посреди озера и вместе с прибрежными деревьями отражается в нем. В близлежащий лес можно пройти только по узкому перешейку. После завтрака мы брали лодку, я садился на весла, и мы отправлялись делать географические открытия. Архипелаг крохотных островков получил у нас название Бисерного, а сами острова были окрещены островами Четырехстопного ямба, Трехударного дольника и так далее. Проливы между ними мы называли проливом Элегии, проливом Баллады, проливом Сонета. В середине дня с Балтики часто набегали тучи. К вечеру они сдвигались к востоку, сосны становились золотыми, и мы с Б.Я. шли на прогулку вдоль берега, потом по перешейку в лес. Вскоре после нашего водворения в „Эзерниеки“ Б.Я. сказал мне, что хочет использовать наш совместный отдых для того, чтобы получше узнать современную поэзию. На тесной тропе меня касались то плечом, то локтем полстолетия русской культуры, спрессованные в моем спутнике. Я медленно, внятно читал стихи. Кончив стихотворение, я довольно долго держал паузу, потом читал следующее. Иногда в паузе Б.Я. подавал реплику. Он получал видимое удовольствие от этой процедуры, даже когда поэт не особенно ему нравился.

Оглядываясь на шестнадцать лет дружбы с Б.Я. — а это были его последние годы, его старость, — я вижу не только богатство его интересов и гибкость ума, но и глубину эмоциональной жизни, мудрость сердца, твердость характера — то, что смело можно назвать красотой и молодостью души. Не то чтобы он не ощущал старости — очень даже ощущал, но душевные и телесные страдания еще более обогащали его духовный мир, давал ему новый опыт, укрепляя его незаурядную волю. При всех внешних призна-

как склероза сосудов ничуть не замечалось симптомов склероза туши.

Когда-нибудь скажут и напишут о Б.Я. и круге его друзей больше, чем я. Думаю, что определяющим при оценке их этики должно быть понятие надежности. Б.Я. был абсолютно надежен во всех решительно своих проявлениях. Мне хочется тут по-новому осмыслить старое выражение *comme il faut*. Б.Я. был человек *comme il faut* в этом новом смысле. Он всегда знал, как следует поступить, и всегда поступал так, как следовало.

Были в его долгой жизни эпизоды, когда от его стойкости зависели судьбы других. И в этих трудных обстоятельствах он вел себя безукоризненно. Перед лицом болезни, боли, смерти он держался как рыцарь без страха и упрека. Когда стало отказывать зрение, Б.Я. деловито принял меры против надвигавшейся слепоты. Вскоре после нашего знакомства (ему было тогда 64 года) он мне написал: „О моем зрении в отношении переписки не беспокойтесь: я пишу на машинке, почти не глядя, т.к. почти освоил т.н. слепой метод” (25.11.68). Он перенес несколько операций, несколько длительных болезненных сеансов лечения глаз.

— Что, Борис Яковлевич, намучились?

Пожимает плечами:

— Мы же мужчины.

— Больно было?

— Наше дело терпеть.

Абсолютную надежность демонстрируют научные труды Б.Я. Разумеется, некоторые его выводы со временем подвергаются переоценке, текстологические решения пересматриваются. Так движется наука вообще. Но в пределах человеческих возможностей он точен и надежен, как мало кто. Он медленно работал, в области своих занятий добывал исчерпывающие знания, годами строил статью, своим красивым, выразительным почерком записывал по три-четыре варианта чуть ли не каждой фразы. Потом твердо стоял на своем. Не достигал мировых стандартов, а устанавливал эти стандарты. К нему приезжали за советом иностранные исследователи Фета, Лескова, других писателей, которыми он занимался. Однажды в разговоре он сформулировал какое-то подобие своего *сге*’).

— От ошибок не застрахован никто. Не исключено, что позже ты сам увидишь недостатки своей работы. Но в то время, когда ты отдаешь ее в печать, ты должен быть уверен, что лучше написать не можешь.

Мне кажется, что именно со стремлением к надежности сообщаемых сведений была связана своеобразная манера речи Б.Я. в быту. Он четко, в медицинских терминах, говорил о болезнях, в политических терминах — о политике, в психологических терминах характеризовал людей, при описании отдыха возникали географические или ботанические термины.

Обращаясь к Б.Я. за помощью разного масштаба, я знал, что никогда не получу отказа. Он далеко не всегда мог помочь во всем объеме того дела, о котором шла речь, но всегда принимал эффективные меры. Больше того. Ему было присуще активное стремление помочь, нередко не дожидаящееся обращения за помощью. Б.Я. был надежным другом.

По совету Б.Я. и С.А. Рейсера я предложил свои услуги „Библиотеке поэта“ в качестве составителя и комментатора собрания стихотворений Пастернака. Одно время Б.Я. хотел, чтобы я занялся несравненным Лесковым. Но тут я его не послушался по разным причинам. Подарил я Б.Я. свою статью со вкраплениями воспоминаний о Н. Рыленкове. Б.Я. прислал заинтересованное письмо: „Статья мне понравилась, возбудила <...> интерес к мало мне известной поэзии Рыленкова, и я подумал, что хорошо бы Вам, когда повысвободятся руки, написать книжку о Рыленкове — в Смоленске, вкратце, нетрудно будет ее издать. Ваши личные воспоминания о Рыленкове, надо думать, не ограничиваются тем, что Вы написали, надо было бы их использовать полнее. Я особенно оценил разговор об Ахматовой, дающий, очевидно, правильную ориентацию для понимания поэзии Рыленкова“ (2.11.73). Этот совет Б.Я. не пропал втуне. Я не написал о Рыленкове книгу, но издал большой том его стихов в Большой серии „Библиотеки поэта“ и напечатал в „Звезде“ свои воспоминания о нем.

Нередко я огорчался, что живу вдали от Б.Я., не могу забежать к нему обсудить свежую литературную новость, навестить во время болезни, прийти поздравить в праздник. Иногда это огорчение бывало столь острым и я столь отчетливо представлял себе, как подъезжаю к дому на Светлановской площади, поднимаюсь на пятый этаж, сяду сперва лай Жульки, затем знакомые лаги, что я писал об этом Б.Я. Будущие читатели этих строк, надеюсь, не посетуют на мою нескромность, если я процитирую одно из ответных писем Б.Я. „Мне тоже недостает Вас — и больше, чем кого бы то ни было“ (5.9.81).

Вскоре после того как мы познакомились, Б.Я. написал мне: „Я сообщил Вам основную мысль моей статьи лишь в нескольких словах, — и все же получил от Вас ценнейшее указание<...> Буду

рад, если Вы опять поспорите со мной" (15.9.68). Эти слова отражают не объективное значение моих замечаний о работе Б.Я., а важные особенности понимания им дружбы. Он строил дружбу только на основе полного равенства, а чувство благодарности, которое он испытывал при малейшем проявлении дружеского участия, было несоразмерно велико. Он радовался не столько тому, что именно он стал объектом дружеского внимания — тут у него еще непременно примешивалась немалая доля неловкости, — сколько тому, что в мире существует и снова и снова эманурует замечательное чувство дружбы. Органическая скромность Б.Я. проявлялась в том, что он крайне низко ценил, а чаще просто не замечал свое сочувствие и помощь другу, и многократно переоценивал сочувствие и помощь своих друзей.

При всем этом он был абсолютно нелицеприятен. В частности, абсолютно нелицеприятно оценивал мои работы и даже не особенно заботился о том, чтобы сгладить форму своего несогласия, считая такие заботы недостойными нашей дружбы и того дела, которым мы занимались. В редчайших случаях он принимал написанное мною безоговорочно. Часто критиковал слабые тезисы или аргументы статьи, предлагая какие-то решения взамен. Его критика редко была односторонне деструктивной. Только однажды после его замечаний моя статья мне вообще разонравилась, и я ее так и не напечатал.

Конфликт между научной принципиальностью и презумпцией доброжелательности возникал у Б.Я. довольно часто, но я не знаю ни одного случая, когда бы он поступился объективностью оценки из пиетета перед авторитетом, из соображений дружелюбия, гостеприимства и тому подобных.

К.Ф. Тарановский прочитал в Ленинграде доклад о Мандельштаме. Это случилось после того званного обеда, который я описал ранее. Я уехал в Смоленск и на докладе не был. Вскоре пришло письмо Б.Я. «На доклад Кирилла Федоровича (о стихотворении „Я по лестнице приставной...“ и параллельном ему) пришло много народу. Лидия Яковлевна и я возражали ему, и я не знаю, не огорчили ли его» (27.9.73). В этом же письме Б.Я. сообщает о судьбе двух своих статей по теории стиха, из которых одну называет антижирмунской, а другую антитомашевской. Как ни высоко ценил он этих выдающихся ученых — В.М. Жирмунского и Б.В. Томашевского, он не поколебался оспорить их взгляды, которые считал ошибочными.

Доброжелательность была у Б.Я. в крови. Человек должен был недвусмысленно скверно себя повести, чтобы Б.Я. на него рассердился. Зато тут уж он не особенно выбирал выражения:

— Ах, так он просто ссучился? Бывает, бывает.

В устах Б.Я. невозможно себе представить недоброжелательную фразу о человеке другого пола, другой среды, другой страны, другой национальности. Если только мало-мальски позволял контекст, он говорил не „женщина”, но непременно „дама”. Когда мы собирались на отдых в Эзерниекки, а потом там жили, он с восхищением говорил о латышах, которых узнал и полюбил прежде. Я побывал на симпозиуме в Ереване, и Б.Я. мне писал: „Рад, что Вы побывали в Армении. Это край чудес, где все время ощущаешь себя на арене древней истории. Были ли Вы в Эчмиадзине, в Вартноце, в Гарни, в Гегарте? Были ли в ереванской опере? Дала ли Вам погода вполне насладиться дивной архитектурой Еревана?” (27.12.73). Мы с женой провели в Армении отпуск, и снова Б.Я. откликнулся: „Не сомневаюсь, что вы досконально изучили и использовали дивную Армению” (1.9.82). С горечью и непременно с юмором ронял он изредка замечания об антисемитизме. Он рассказывал, как одного его дядю, очень близорукого человека, во время первой мировой войны врач признал годным. „Что же я на войне увижу?” — спросил он врача. — „А не важно, чтобы вы видели, — ответил врач. — Важно, чтобы вас увидели”. Однажды я сказал Б.Я., что у него, конечно, нет трудностей с печатанием.

— Почему это нет? — спросил он.

— Ну, все-таки профессор Бухштаб.

— Для одних я профессор, — ответил Б.Я., — а для других Бухштаб.

Б.Я. был человек живой, любил „легкую поэзию” во всех ее проявлениях, много и с удовольствием читал наизусть стихи обэриутов, басни Эрдмана и Вл. Масса, увлеченно рассказывал об этих людях. Однажды заметил, что Олейников в жизни был неожиданно очень мрачный человек.

— Его звали Николай Макарыч, а я говорил ему, что ему следовало бы называться Николай Макабрыч.

Великолепный юмор лишил Б.Я. даже тени ригоризма и нравственного педантизма. Склонность видеть комическую сторону событий скрашивала его жизнь, особенно в трудные последние годы.

Теперь я должен сказать, что этот человек *comme il faut*, этот рыцарь без страха и упрека, защищенный панцирем иронии и сознанием прожитой не напрасно долгой жизни, в глубине был раним и хрупок. Здесь как нельзя лучше подошло бы объяснение

в понятиях аналитической психологии, которую Б.Я. знал и ценил: его *animus* начисто лишен той брони уверенности в себе, той защищенности, которой обладала его *persona*. В сочетании с высоким чувством ответственности за каждое печатное слово это приводило к тому, что работал он медленно и трудно. Он отнюдь не был чужд сомнения в себе, сей пытки творческого духа. Ему нужна была поддержка, хотя со стороны этого и не было видно. «Я погряз в институтских нагрузках и в подготовке полного собрания стихотворений Добролюбова для большой серии „Библиотеки поэта“. На стихосведение, да и вообще на научную работу, времени не остается, и, чтобы себя не мучить, не хочу и думать на эти темы. Если когда-нибудь голова и руки поосвободятся, постараюсь додумать и изложить некоторые вольные мысли, относящиеся к систематике русского стиха» (18.10.68). Б.Я. осуществил этот замысел в статье „Об основах и типах русского стиха“⁷, ее-то он и называл позже „антижирмунской“. „Я работал всегда — и до потери зрения — трудно и медленно. Статья о Тютчеве не представляет исключения. Я должен сдать машинопись к 1 января, но об этом и думать нечего“ (16.12.82). „Рецензия на книжку Жирмунского у меня не вытанцовывается“ (10.12.73). Постепенно и тульское издание Тютчева, для которого писалась статья, вышло⁸, и рецензия на книгу акад. В.М. Жирмунского об Ахматовой была напечатана⁹, но полного удовлетворения Б.Я. все равно не получал. „Посылаю Вам отгиск той статьи, которую, кажется, Вы один одобряете“, — написал он мне, даря „Об основах и типах русского стиха“. В действительности далеко не я один оценил эту работу должным образом, когда она была опубликована. Как он радовался похвалам! „Ваши и других ценимых мною ученых отзывы о моих последних публикациях — самое (если не единственное) радостное в моей нынешней жизни“ (26.2.79).

Через меня Б.Я. получил предложение взять на себя подготовку собрания сочинений Лескова. Вскоре он стал выражать сожаление, что согласился на эту работу, а в одном из его писем и усмотрел завуалированный упрек: „Мое согласие было очень легкомысленным, статья совершенно не выходит, тяжело с размерами комментариев и вообще грозят неприятности. Вы-то это вызвали из лучших побуждений, но мне надо было проявить большую осторожность“ (5.8.72). В ту пору я еще недостаточно знал эту особенность Б.Я. — проходить через стадию обостренной неуверенности в своих силах при осуществлении почти каждой серьезной работы. Я был обеспокоен и озадачен. Когда работа была завершена, в очередном письме я прочитал: „Хотя Вы меня

ободряли и предсказывали победу в „матче со слезой”, все же Вас — особенно как инициатора этого „матча” — наверное, печалили мои lamentации по поводу статьи о Лескове. Поэтому особенно Вам я рад сообщить, что статья о Лескове закончена, одобрена И.В. Столяровой и Л.Я. Гинзбург и отдана в машинку. Я боялся, что не хватит мне материала на три листа, а пришлось сокращать. Действительно, было трудно не перечитать, а *переслушать* почти всего Лескова за короткий срок, но когда уже есть результат, — былых трудов не жалко” (5.2.73).

Лев Толстой говорил, что человек подобен дроби, у которой числитель — то, что человек собою представляет в действительности, а знаменатель — то, что он о себе думает. Б.Я. был большой человек, потому что числитель его был велик, а знаменатель необыкновенно мал. Нет счета чудовищно заниженным самооценкам Б.Я., которые я мог бы привести. Он словно бы специально выискивал самые обидные выражения.

Вот он познакомился с безвестным провинциальным литературоведом вдвое моложе себя, и тут же, в первом письме новому адресату, спешит предупредить, что его мнение — это мнение „дилетанта в стиховедении и невежды в языкознании” (3.7.68). За десять лет его мнение о себе не стало лучше: „Исторической поэтикой я никогда не занимался и стыдно сказать, до какой степени ничего не читал, но, если Вы этого хотите, прочту Вашу статью и, из этой области и выскажу свое невежественное мнение” (10.1.77). За таким вступлением обыкновенно следовали глубокие, полезные замечания. А потом оказывалось, что можно пасть еще ниже, чем до дилетантизма и невежества. В ленинградском доме ученых я прочитал доклад о статистических методах исследования стихотворной речи. Б.Я. взял слово первым и начал так:

— Позвольте мне сказать несколько слов, хотя в стиховедении я меньше чем дилетант.

Смею заверить, что в подобных высказываниях Б.Я. не было и тени рисовки. Просто какими-то ему одному ведомыми путями его мысль снова и снова приходила к такому печальному выводу о его научных возможностях.

Зато как трогательно благодарил Б.Я. за самую ничтожную помощь в научной работе, даже за попытку такой помощи!

В некрологе „Литературной газеты” Б.Я. назван старейшим советского литературоведения. Осмыслить систему его литературоведческих взглядов нашей науке необходимо. Б.Ф. Егоровым написана статья о Б.Я. как исследователе Некрасова. Галина Гри-

горьевна попросила меня подготовить к публикации работу Б.Я. о Тютчеве, которую он уже не успел завершить. Я почувствовал необходимость сопроводить материал статьей „Б.Я. Бухштаб — исследователь Тютчева”. Необходимы и непременно будут написаны статьи „Б.Я. Бухштаб — исследователь Фета” и „Б.Я. Бухштаб — исследователь стихотворной речи”. Последнее тем более необходимо, что две основные работы Б.Я. о стихе опубликованы в зарубежных изданиях.

Я приближаюсь к концу моих записок об этом необыкновенном человеке, с которым свела меня жизнь, и передо мной проходит череда наших встреч.

Вот Б.Я. выступает официальным оппонентом на защите, а по окончании процедуры дарит соискателю альбом Пиросманишвили. Мне приходилось и участвовать в защитах, и присутствовать на них, но я как-то не припомню другого такого случая, чтобы оппонент делал подарок соискателю.

Вот Б.Я. с Галиной Григорьевной и я с женой в гостях у С.А. Рейсера — ближайшего друга Б.Я. на протяжении почти шестидесяти лет. Старые друзья необыкновенно оживлены, светятся радостью. Не замечаю, как разговор становится литературным, и вот уже они вспоминают ранние стихи Ахматовой.

— Я на правую руку надела Перчатку с левой руки.

— А перчатку с левой руки вообще невозможно натянуть на правую руку.

— Почему это невозможно? В сильном волнении вполне возможно.

— Как же ты наденешь? Большой палец будет мешать.

И? прихожей приносится перчатка с левой руки, и под общий смех два маститых профессора по очереди натягивают ее на правую руку.

И вот наша последняя встреча в больнице...

Но как истинно последнее свидание я осознаю нашу предыдущую встречу 18 февраля 1984 г. Мы сидим рядом на диване в небольшом уютном кабинетике Б.Я. Вечер, свет приглушен. Многое уже переговорено, Б.Я. утомлен, надо бы дать ему отдых, встать и уйти, но сделать это трудно. Он не любит меня отпускать, все удерживает, да и меня ноги не несут. В голову лезет, как я его ни гоню, проклятое тютчевское предостережение о бездне двух или трех дней. Может быть, Б.Я. сейчас думает о том же теми же словами. Наши реплики разрываются паузами, в которых обмен мыслями не прерывается, а становится более плотным. Б.Я. г:

мыслях о прошлом, он удручен малостью сделанного. Я горячо возражаю, и одно достоинство в своем прошлом он под моим напором находит:

— Я был честным. Да, я был честен.

После некоторой паузы продолжает:

— Но я себя не нашел. Вот Лидия Яковлевна!.. А я что ж? Я, конечно, второразрядник. Но все равно я вполне не осуществил-ся.

— А в чем вы видите свое истинное призвание? — спрашиваю осторожно.

— В литературной критике. В молодости я чувствовал в себе темперамент критика, но скоро понял, что все, что хочешь, честно сказать нельзя. А честен я был. И стал историком литературы, хотя у меня не было нужных способностей.

Я энергично протестую.

— Не было нужных способностей. Памяти не было, из-за этого способностей к языкам.

Я возмущен.

— Кроме как на стихи, не было у меня памяти, — настаивает Б.Я. — Потом оказалось, что как историк литературы я тоже не могу быть до конца честен, и пришлось уйти в библиографию.

Я напоминаю Б.Я. его книгу о Фете, которую я так люблю, его поразительные историко-литературные, библиографические и текстологические разыскания.

— Моего самого интересного разыскания я так и не написал, — сетует Б.Я. и рассказывает мне о том, что занимало его долгие годы. У меня замирает сердце: Б.Я. хочет, чтобы вышешенные им мысли не угасли вместе с ним, и теперь доверяет их мне. Речь идет о последних днях жизни Добролюбова. Ах, не случайно они именно сейчас всплывают в памяти Б.Я. Он полагает, что стихотворение „Милый друг, я умираю...“, которое принято считать последним произведением Добролюбова, написано не им, а Некрасовым как бы от имени умершего друга. У Б.Я. подобран ряд аргументов. Добролюбов совсем не так писал о своей близкой смерти, а с горечью, в интонациях Лермонтова и Гейне („Пускай умру — печали мало...“). Зато именно в таких выражениях Некрасов через два года написал „Памяти Добролюбова“. Автографы почти всех стихотворений Добролюбова сохранились, автограф стихотворения „Милый друг, я умираю...“, который естественно было бы сбересть как святыню, неизвестен. В посмертном четырехтомном собрании сочинений Добролюбова это стихотворение печаталось в каждом томе в качестве эпиграфа, а в последнем

допечатано на последнем вклеенном полулисте. Однако есть веский аргумент против предположения об авторстве Некрасова, который не позволил Б.Я. опубликовать его мысли. В жандармском донесении о похоронах Добролюбова сказано, что над его гробом Чернышевский прочел стихотворение Добролюбова „Милый друг, я умираю...”. Именно Добролюбов назван автором. Жандарм мог это записать только со слов Чернышевского, а Чернышевский, конечно, знал истинного автора и мог скрыть его имя, только если по какой-либо причине так было условлено между ним и Некрасовым. Но здесь начинается область неведомого.

— Может быть, вы еще вернетесь к этой работе, — говорю я.

— Что Вы! У меня совсем уже не осталось органов для восприятия поэзии: ни зрения, ни слуха, ни памяти. Впрочем, что же жаловаться? Я ведь сверхсрочник... Летом, незадолго до смерти, мне сказал в Комарове Владимир Николаевич Орлов: „Меня уже нет”. Так и я должен сейчас сказать: меня уже нет.

Б.Я. снова угасает, уходит в себя.

— Впрочем, я не был лишним, — произносит он, как бы оправдываясь перед незримым судьей.

И тут же встрепенулся, глаза его ненадолго загорелись, и он, явно обрадованный точно найденными словами, достоверно определяющими значение его жизни, твердо повторил:

— Я не был лишним.

¹Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 9. М., 1980. С. 61.

²Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейдленберг. New York and London, 1981. С. 118—119.

³Харджиев Н.И. История одной статьи // Boris Pasternak. Essays. Stockholm, 1976. P. 7—8.

⁴Красная газета. Веч. выпуск. 1928, 10 февр.

^{4а}Воздушные пути. Вып. 4. Нью-Йорк, 1965. С. 30.

⁵Вяземский П.А. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1878. С. V. Зависимость текста Машдельштама от стихотворения Вяземского я позже отметил в работе, опубликованной в кн.: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции „Творчество А.А. Блока и русская культура XX века”. Тарту, 1975. С. 64—65.

⁶См. кн.: Фет А.А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 814.

⁷International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1973 (XVI).

⁸Тютчев Ф.И. Весенняя гроза. Лирика. Письма. Тула, 1984.

⁹Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1974, № 4.

М.О. Чудакова, М.В. Левин, Е.А. Тоддес.

К ВОПРОСУ О ПОКОЛЕНИИ 1890-х ГОДОВ И ЕГО МЕСТЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО М.Б. ВЕРИГО.

Поэтесса и живописец М.Б. Веригο начала свой путь в искусстве в 1910-е годы, и это оказался именно свой, со второй половины 20-х годов все более уединенный путь, которому на протяжении шести-семи десятилетий не суждено было открыто встретиться, пересечься на глазах читателей и зрителей с путями другими. Такая судьба отнюдь не была определена специальной художественной или личностной установкой, — изолированность творчества порождалась тем, что социальные и индивидуальные обстоятельства всякий раз оказывались сильнее естественного стремления художника к широкому общению с теми, кому нужно его искусство. „Мы с Вами, — писал М.Б. Веригο художник В.А. Милашевский 7 апреля 1965 г., — принадлежим к поколению с особой формацией нерв, как-то счень отличных от нерв предыдущего поколения (символистов, акмеистов). Мы не выразилиг себя в истории нашей культуры” (и прибавлял: „Следующее поколение „испуганных людей” — это почти уже антиличности”).

Магдалина Брониславовна Веригο родилась 10(23) января 1892 г. в Петербурге. Ее отец Бронислав Фортуналович Веригο (1859—1925) происходил из старого дворянского рода (предки его прибыли на Русь из Польши в XIII в.). Физиолог школы Сеченова, он вошел в историю науки как выдающийся ученый¹. Мать М.Б. Анна Степановна (урожд. Трудницкая: 1860—1938) была медиком и физиологом, брат Александр (1893—1953) — физиком², другой брат Сергей (1897—1919) — врачом.

С 1894 г. семья жила в Одессе, где Б.Ф. Веригο занял кафедру физиологии в Новороссийском университете. Обособленный дом укладом жизни напоминал усадьбу. Здесь М.Б. получила первоначальное образование. В 1904 г. она поступила в 5-й класс 2-й городской гимназии, из которой была исключена осенью 1906 г. за участие в общегородском комитете учащихся; в феврале 1907 г. попала на месяц в тюрьму в связи с действиями этого комитета по организации забастовки протеста против погромов. Тогда же ее отец должен был на время покинуть Одессу, чтобы избежать мести за помощь жертвам погромов. Гимназию М.Б. окончила экстерном в 1909 г.

Рано пробудившаяся самостоятельность интересов М.Б. в литературе и живописи привела к тому, что своим образованием

она обязана не регламентированным формам преподавания, но общению с товарищами, посещению музеев и возможности пользоваться моделями — в студии, училище живописи. В автобиографии (1972—1973) М.Б. пишет:

„Выставки посещались тогда не равнодушными, но страстными, пристрастными, возмущенными или восхищенными, взволнованными зрителями. <...> Многочисленные недорогие, прекрасно выполненные репродукции в форме открыток давали знакомство и с образцами живописи импрессионистов вплоть до „Олимпии“ Мане, и с картинами старых мастеров... Их доступная цена позволяла заводить у себя дома целые „музеи-альбомы“, и это способствовало широте представлений и выработке вкуса.

Очень большую роль в приобщении к живописи импрессионистов и в особенности постимпрессионистов сыграла для меня выставка картин современных европейских художников, с широким размахом организованная одесским скульптором Издебским (кажется, в 1909 г.). Сияние чистых тонов, сверкающие сопоставления контрастных цветовых пятен у Матисса и Ван-Донжена, сила цвета, достигнутая полупрозрачной жидкой масляной краской в сочетании с лаконичным и сильным цветным штрихом, открыли для меня новое богатство зримого мира, и кое-что из этого урока я стала пытаться внести в свои живописные поиски.

Моей мечтой стала поездка в Париж, в эту столицу новой живописи. Мои родители долгие годы соглашались послать меня туда, но неожиданно мне помог Н.К. Рерих”.

В это время М.Б., оставив юридический факультет Новороссийского университета, занималась в студии художника Ф.Л. Соколовича и в Одесском императорском училище живописи. Следует заметить, что ее родители принадлежали к поколению, воспитанному на передвижниках, — им были чужды поэзия символистов и новая живопись. Ознакомившись с серией литовских пейзажей М.Б., выполненных в 1911 г., Рерих, как говорится в автобиографии, „согласился с моим желанием ехать в Париж для занятий живописью и написал моему отцу одобрительный отзыв о моих работах, указав как наиболее подходящую мне Академию Рансон”.

Зимы 1912—13 и 1913—14 годов М.Б. провела в Париже. Ее преподавателями в Академии были такие мастера, как Валлотон, Боннар, Пюви де Шаван³. Жила она у своего дяди — экономиста и революционера-анархиста А.А. Карелина (1863—1926; после революции был членом ВЦИК). В 1912 г. в Париже несколько ее стихотворений вышли отдельной книжечкой под заглавием „Камень и металлы”.

Весной 1913 г. М.Б. с десятью работами принимает участие в выставке „Объединённых” в Одессе. Тогда же она получила премию на поэтическом конкурсе им. Надсона, имевшем целью поддержать начинающих авторов (см. статью В. Вдовина: *Вопр. лит-ры*, 1976, № 4, с. 220—221). Об участии М.Б. в выставке и конкурсе им. Надсона писал „Одесский листок” (1913, № 84, 9 апр. и № 84, 21 апр.). В 1914 г. цикл ее стихотворений был опубликован в одесском альманахе „Полигимния”.

Осенью 1915 г. стихи М.Б. были переданы Блоку. В записной книжке поэта имеется следующая запись: „Составить номер молодых для „Нового журнала для всех” (Минич, Ястребов, Вериго, Толмачев)”. 7 ноября 1915 г. Блок записал: „Магдалина Брониславовна Вериго (о стихах) — до 1-го часу!”⁴. М.Б. рассказывает о многочасовой (с 7 вечера) беседе: „Тратя свое время, как никто сейчас не тратит, он с удивительным вниманием отнесся к оценке моих стихов — на каждое из более чем полусотни стихотворений дал мне свои замечания”. Когда много лет спустя она стала писать воспоминания о встрече с поэтом, перед ней, по ее словам, встала задача — „соединить момент встречи с Блоком с его постоянным присутствием в моей жизни и не спутать одно с другим”. Воспоминания находятся в ее архиве. Блок передал одно стихотворение М.Б. („Кольцо”) в журнал „Любовь к трем апельсинам”, где оно и было опубликовано (1915, № 4—7).

В 1914 г. Б.Ф. Вериго по политическим мотивам был лишен кафедры в Одессе (семья продолжала жить в „Веригино”), а осенью 1917 г. принимает кафедру физиологии новооткрытого Пермского университета. В ноябре 1917 г. М.Б. приехала в Пермь со своим женихом молодым литератором Ф.П. Чудновским и обвенчалась с ним. Затем они вернулись в Петроград. Феликс Петрович Чудновский (1897—1919) был знаком с М.Б. в Одессе, с детства. Его отец Соломон Лазаревич Чудновский (1949—1912) — революционер-народник (после 1905 г. примкнул к кадетам), проходил по „делу 193-х”, журналист; мать Любовь Давыдовна (урожд. Чернова) по окончании Смольного института была педагогом, имела в Одессе гимназию (двоюродный брат Ф.П. Григорий Исаакович Чудновский известен как один из руководителей захвата Зимнего дворца во время большевистского переворота, член ВЦИК, участник гражданской войны на Украине, где он погиб в феврале 1918 г.).

В 1917—1918 гг. в петроградских журналах публикуются стихи и рассказы М.Б. и Чудновского⁵. Она познакомилась с М.А. Кузминым и Ю.И. Юркуном. Вернувшись в Пермь, М.Б. рабо-

тала в университетском кабинете древностей, а Ф.П. преподавал на драматических курсах при университете; оба печатались в журнале „Русское приволье”. В первые годы существования Пермского университета там сосредоточились замечательные интеллектуальные силы: гуманитарии Б.Л. Богаевский, В.В. Вейдле, Ю.Н. Верховский, Вас.Вас. Гиппиус, Б.В. Казанский, Б.А. Кржевский, биологи В.Н. Беклемишев, А.А. Любищев, Ю.А. Орлов, П.Г. Светлов и др. Со многими из них М.Б. поддерживала отношения тогда и всю дальнейшую жизнь.

При Колчаке университет в июне 1918 г. был эвакуирован в Томск. В сентябре 1919 г. умерли муж (год болевший „испанкой”) и брат Сергей (от тифа). Ощущение этого времени передано в стихах 20-х годов и ретроспективно — в публикуемом ниже мемуарном фрагменте.

В феврале 1920 г. М.Б. вступила во Всерабис и была избрана председателем Томского губернского отдела народного образования. „Я была единственной женщиной-делегатом на Всесибирском съезде работников искусств в Омске, — рассказывает М.Б. — Всех делегатов размещали в пустых магазинах. И мне дали витрину. Со стороны зала это было некое отдельное помещение, но когда я проснулась, то увидела, что я на улице — за зеркальными стеклами...” В Томске началась многолетняя дружба М.Б. с художниками В.А. Милашевским (1893—1976), А.Н. Тихомировым (1889—1969) и М.М. Беринговым (1889—1937). Следует назвать также томского художника футуриста О.Ф. Янкуса. Берингов, впоследствии участник АХРР, начинал учеником Рериха; был эсером, получил смертный приговор и провел три года в одиночной камере; в 1917 г. примкнул к большевикам. Позднее в Москве у него был обширный круг знакомств — от философа Я.Э. Голосовкера до военачальника Е.А. Щаденко, который поддерживал художника. В 70-е М.Б. написала повесть „Ave Magia”, прототипом одного из героев которой является Берингов.

За два томских года М.Б. выполнила более 100 живописных работ, выставляла некоторые из них. В конце 1921 г., направляясь в командировку, она взяла работы с собой, но при посадке в поезд они были украдены, вместе с рукописями ее и Чудновского. С 1922 г. М.Б. в Перми, где в течение трех лет преподавала рисунок и читала лекции по истории живописи в художественном техникуме и средней школе. В 1925 г. со вторым мужем (с 1923 г.) биологом Б.В. Властовым (1893—1964) переехала в Москву.

Она продолжала писать стихи и в 1923 г. предприняла попытку

издать книгу в Петрограде. Рукопись прошла цензуру, но не была напечатана из-за недостатка бумаги. В это же время М.Б. возобновила связи с Кузминым и Юркуном и эпизодически поддерживала отношения с ними. В 1929 г. благодаря рекомендательному письму Кузмина с нею встретился Пастернак. По словам М.Б., Пастернак был у нее, взял тетрадь стихотворений и значительное время спустя вернул, сказав, что считает ее лучшим молодым московским поэтом. Эта оценка была горька для автора, чей стихотворческий опыт превышал уже полтора десятка лет. В том же 1929 г. сборник стихов М.Б. был принят в издательство „Круг“, но на сей раз она сама не сочла книгу готсвой для печати.

В 30-е годы М.Б. писала прозу, в том числе мемуарную, переводила. О своей работе живописца она пишет в автобиографии: „В 1929 г.⁶ я предложила несколько своих картин на выставки ОМХа, но они не были приняты. По поручению жюри А. Лентулов передал мне лестный отзыв и объяснение причин отказа, вызванного разницей моего подхода к живописи с более реалистической платформой ОМХа, прибавив при этом, что они будут готовы принять меня, если я перейду на установки, более близкие к существующим у них. Но при всем желании бынести свою живопись на показ широкому кругу зрителей, я не находила для себя возможным изменить и приноровить к внешним требованиям свой способ работы, который соответствовал моему внутреннему миру. Поэтому я продолжала работать, идя своим путем“. Дальнейшее М.Б. поясняет в следующих словах: „В последние годы, когда еще более резко выявилась тенденция отвергать и преследовать все, что имело связь с направлениями импрессионизма и постимпрессионизма, я уже считала для себя безнадежными попытки выставить свои работы и получить связь с Союзом художников. Тогда же я была лишена и своего членства в Обществе Всекохудожника, как „формалист“. Однако мне при этом предложили устроить персональную выставку, если я изменю направление. Несмотря на создавшееся тяжелое для меня положение, я продолжала свою самостоятельную работу в живописи“.

Тяжелые военные годы, проведенные М.Б. в Аральске и Самарканде (куда эвакуировалась Военно-ветеринарная академия, профессором которой был тогда Б.В. Властов), оказались для нее плодотворными и в литературе и в живописи. Особое место в поэтической работе М.Б. занял перевод „Потерянного рая“ Дж. Мильтона (первые две книги); по рекомендации Б.А. Кржевского он намечался для публикации в журнале „Ленинград“ в 1946 г. По возвращении в Москву М.Б. переводила ранние произведения

Мильтона — диптих „Аллегро” и „Пенсерозо”, драматическую поэму „Комус”, третью книгу „Потерянного рая”, а также „Старого моряка” Кольриджа (1944—50-е гг.).

Духовным событием стала для М.Б. встреча с творчеством латышского скульптора Карлиса Зале. В 1957 г., впервые попав в Ригу, она увидела Братское кладбище и Памятник Свободе, и с этих пор тема Латвии и Зале на несколько лет стала главенствующей в стихах М.Б.⁷, а ансамблю Братского кладбища она посвятила специальную работу, основная часть которой публикуется ниже. Собирая сведения о Зале, М.Б. научилась читать по-латышски. Как известно, имя скульптора, столетний юбилей которого отмечается в 1988 г., долго замалчивалось: нельзя было говорить и о Памятнике Свободе. Столкнувшись с этим, М.Б. в эссе о своих рижских впечатлениях так писала о фундаментальной опасности, угрожающей культуре XX века:

„История знает случаи насильственного обращения с фактами, постановки грандиозных опытов изъятия из памяти людей целых эпох, изъятия из истории культуры этических и эстетических ценностей, вырубку лесов и садов культуры, расчистку их под новые насаждения. Технические средства нынешней цивилизации дают возможность осуществлять такое воздействие на историю в недоступных ранее масштабах. Способы массового внушения и всеобщая податливость этим внушениям достигли неслыханных ранее размеров. Это одна из самых значительных и характерных черт нашего времени, но недостаточно оцениваемая нами”.

Между тем память — стержневой мотив поэзии Вериге. После гражданской войны память становится исторической:

Борьба окончена и решена судьба
На многие года. Но полная луна
Глядит в окно ночами
И хочет память повторить стихами
Неповторимое...

В одном из стихотворений 1920 г. читаем:

Поставим сердцу камень,
Чтоб не забыть.
О, памятник! Гроза и пламень!..
Нет!

Поставим сердцу камень
На площадь мирных лет.
Ни горя, ни тревог —
Холодный гладкий камень.
Под камнем жизнь.

И будем ждать, пока
Окрепнет силой память
И камень отвалит
Окрепшая рука.

В этом плане и были восприняты и пережиты М.Б. памятники Карлиса Зале.

Личность М.Б. воплощает и символизирует целый слой отечественной культуры, выведенный в 20—30-е годы за раму видимого социального бытия, видимого участия в культурном процессе. Духовный склад людей этого поколения представлял и представляет собой живую ценность. Отсутствие их в активной социальной жизни сказалось необратимыми потерями в формировании нескольких поколений. „Во времена моего детства, — рассказывает М.Б., — люди были отмечены огромной разницей состояний, но относились к этому без исключаяющей другие чувства вражды. В дальнейшем, в пору моей юности мои личные наблюдения над различными группами людей давали мне возможность видеть, как изменялись в сторону все возраставшей ненависти отношения между ними”. Подобные свидетельства не только помогают реконструировать подлинную картину прошлого, возобновляя память о таких его сторонах, которые после целой эпохи социальных войн и идеологизированной ненависти часто представляются вовсе небывшими, — но и вносят вклад в формирование будущего, возвращая для новой жизни элементы, казалось бы, навсегда утраченного видения мира, образа мысли и чувствований.

В архиве М.Б. Вериго пять стихотворных книг, прозаические повести, воспоминания, мемуарно-биографические очерки о Б.Ф. Вериге и Б.В. Властове; стихотворения и проза Ф.П. Чудновского. Ряд ее картин находится в музеях Перми и Томска⁸.

х х х

Воспоминания „Томск, 20-е годы. Мемуары и мемории” написаны в начале 70-х годов и включают тексты трех типов. „Мемуары и мемории” соотносятся как Память и воспоминание, как характеристика времени в целом и описания конкретных событий и встреч. Особую часть книги составляют „свидетельства” — различные принадлежащие автору документы томского времени (удостоверения, мандаты и т.п.).

Печатается извлечение из начальных разделов книги.

Статья „Тема и стиль. Опыт анализа памятника: Братское кладбище в Риге” входит в ряд материалов, которые автор мыс-

лиг в составе книги „Карлис Зале — скульптор Латвии. Путь узнавания”. Сюда входит стихи о Зале, эссе „Невидимый памятник — неведомый автор”, записи бесед со знавшими Зале — художником Уго Скулме, архитектором Александром Бирэниеком, скульптором, учеником Зале Мартином Шмальцем, архитектором А.И. Трофимовым.

Публикуется большая часть статьи, содержащая искусствоведческий анализ мемориала.

¹ О нем см.: *Файтельберг-Бланк В.Р., Гуска И.И.* Б.Ф. Вериго (Жизнь и творчество), Кишинев, 1975. В книге использованы архивные документы и беседы с М.Б. Однако беллетризация существенно понижает ее общий уровень.

² Провел ряд исследовательских экспедиций в целях изучения космических лучей, в т.ч. полет на стратостате (1935). См.: *Знание—сила.* 1967, № 7. С. 15.

³ О другой парижской академии этих лет и о колоритной личности Ван-Донгена: *Ходасевич В.* Портреты словами. М., 1987. С. 73—80.

⁴ *Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 274, 276. Ср. запись 12 ноября о слушании стихов А. Толмачева (с. 277), В каталоге „Александр Блок. Переписка” (вып. 1, с. 476, вып. 2, с. 155) зарегистрированы письмо М.Б. от 10 февр. 1916 г. и ответ Блока от 17 февр. 1916 г.

⁵ Выявленные публикации: стихотворения М.Б. Вериго — *Вестник Европы.* 1917. Янв. С. 90. Апр.—Июнь. С. 96; рассказы и сказка — *Огонек.* 1918, № 7 — 9, 10, 13; стихотворения Ф.П. Чудновского — *Вестник Европы.* 1917. Февр. С. 100—101; *Аргус.* 1917. № 8. С. 16—19; очерк и рассказ — *Аргус.* 1917. № 7. С. 53; 1918, № 1. С. 33.

⁶ В другом варианте этого текста: 1930.

⁷ Примерно тогда же было написано стихотворение Наума Коржавина „Братское кладбище в Риге” 1962, нравившееся Ахматовой (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. Paris, 1980. С. 427). Ср. также стихи о Братском кладбище в его „Поэме греха”, 1972. См. его кн.: *Времена.* Frankfurt/Main, 1976. С. 164, 364.

⁸ В последние годы в связи с разысканиями искусствоведов-краеведов появились газетные статьи о М.Б. Вериго: *Скоморовская Н.* Пермь в ее судьбе // *Вечерняя Пермь*, 1981, 15 мая; *Микуцкая Т.* Открыли художника // *Красное знамя.* Томск, 1987, 29 янв.

М.Б. Вриго
ИЗ МЕМУАРНОЙ КНИГИ

Время, о котором я сейчас вспоминаю, было стремительное время. Оно обгоняло жизнь и сознание людей, подхваченных его потоком, оно не давало им возможности приостановиться и осмотреться, люди не успевали даже обернуться на тот берег, с которого их смыла буйная волна.

Грозен и ярок был воздух тех дней, когда так тесно, вплотную придвинулись друг к другу надежда и гибель, жизнь и смерть. И те, кто вдыхал его озон, неотвратимо менялись. Не волей своего решения они вышли из прежнего жизненного уклада, но они уже вышли из него и возврат к нему был невозможен, хотели бы они этого или нет.

Какой-то новый психический опыт, еще не всплывая к поверхности сознания, уже начал свой тайный путь, он уже коснулся подспудно, незримо разных сторон внутренней жизни. Люди еще думали, что они любят по-прежнему, по-прежнему чувствуют красоту природы и гармонию искусства, в них еще действовала инерция прежних отношений к миру, но прежнего уже не было. Им еще казалось, что они только случайно и временно утратили свое прежнее. Но они утратили его навсегда. Самым удивительным было то, что в большинстве своем они, в сущности, и не очень горячо стремились к утраченному, словно как-то не надеялись, что оно осчастливило бы их.

Не только для исторической оглядки, но даже и для простых летописных отметок не оказывалось нужных условий. Хронография тех дней писалась на макулатурных клочках дефицитной бумаги, и писалась не в виде долгосрочных каких-нибудь документов, а в форме коротеньких справок на потребу текущего дня, с не всегда достоверными номерами „входящих” и „исходящих”, проставленными наспех какими-нибудь случайными канцеляристами, вовсе не предвидевшими, что может когда-то эти бумажки улягутся в архив и руки будущих историков будут держать их, вопрошая как неліцеприятных свидетелей о том времени, которое само было еще только живою историей.

И может быть, рассматривая эту разнокалиберную фактографию листков, где на одной стороне даже не зачеркнуты были записи торговых ведомостей какого-нибудь дома Макушина или Алафузова или отчета консистерской типографии, а на другой — торопливые тексты делегатских мандатов, скажем, на Всесибирский съезд работников искусств, или командировочных удостове-

рений на пленум в Дом Профсоюзов, или на право ходьбы по городу после комендантского часа, или еще билеты на спектакль в тюрьме, поставленный силами заключенных, — билетики, отпечатанные на изнанке маленьких конфетных оберток, лицевая сторона которых была украшена сентиментальным голубеньким цветком, — будущий историк почувствует вдруг посвисты ветра далекого времени, и тесноту, и волю, и голод, и мужество тех дней.

И, ощутив живой голос былого, он пожелает снова войти в воды той реки, куда не входят дважды.

Взволнованный возникшим виденьем, энергией его дыхания, он захочет воссоздать его образ на широком полотне картины тех дней, укрепить и утвердить этот образ обильем и многосторонностью фактов, их аналогиями и параллелями, и на основании этих обильных данных вывести свое суждение.

Но иные намеренья и желанья руководят сейчас мною, очевидицей и участницей тех дней. Не широкое полотно картины хотела бы я предложить читателю, а лишь некоторые фрагменты этого возможного полотна, наподобие того как делают современные издательства, когда сопровождают репродукцию какой-либо картины ее фрагментами в укрупненном масштабе, чтобы, когда на них направляется фокус внимания зрителя, в них можно было бы уловить те черты, которые обычно ускользают, заслоненные более обширным целым. Недаром сейчас этот метод показа приобретает все большее значение: в таких увеличенных деталях обнажаются те живые эмоциональные черты, которые давали импульсы к осуществленью общего замысла.

И вот мне хотелось бы здесь, на страницах этих воспоминаний, дать некоторые приметы того времени, участницей которого я была. Когда не выцветшими архивными памятками были описанные мною мандаты, билеги и справки, а живыми деловыми ежедневными спутниками.

Томск — мальстрем

Лавина событий и перемен широким потоком шла через города и страны, метя их своим знаком. Не каждое место получало отметину одинаковой силы. Но город Томск был ею отмечен знаком особой яркости.

Большой, богатый, провинциально-тихий город, стоявший несколько поодаль от транссибирского пути, он как бы приблизился вдруг к магистральному ходу лавины, сделался вдруг могу-

чею воронкою мальстрема, водозорота, втягивающего в свое жерло толпы людей, попавших в сферу его притяжения.

Люди, заполнившие просторные улицы спокойного провинциального города, изменившие весь его облик, весь крепкий уклад его жизни, уроженцы различных мест, не знавшие Томска, незнакомые друг другу, эти люди вошли сюда совсем по-особенному: не как чужие и не как свои, не как гости, не как случайные пришельцы и не как новоселы, а скорее как посланные или позванные судьбою ради какого-то дела. Они вошли и жили здесь жизнью большого напряжения, повышенной тратой энергии. И воздух в то время, казалось, стал ярче, и ветер звонче, и время несло быстрее...

Они появились как стая птиц. Не тех перелетных, что легят ежегодно, повинувшись смене сезона, привычной трассой на свою вторую родину, но скорее как те кочующие стаи свиристелей и снегирей, которые в одно прекрасное утро являются вдруг среди снежных деревьев, перекликаются дружно между собой, не вылет здесь гнезд, не ищут долговременного приюта и, насытив воздух красотой и пением, исчезают опять.

Так и те внезапные пришельцы, столь решительно и быстро заполнившие Томск, проделав здесь какую-то работу, покинули город и уже не вернулись. Они и не могли бы вернуться: через какие-нибудь два-три года и они, и город уже стали другими. Когда они ушли, что-то окончилось, минуло; кончился какой-то период, изменился пласт времени.

Как художник, строящий картину, ощущает градации „планов“, расчленяющих и конструирующих ее пространство, так тот, кто всматривается в движение времени, в развитие событий, угадывает в них какие-то деления и межи, ищет признаки, которыми обозначаются различия в их зонах, и ставит вехи на рубежах переломов, чтобы картина истории соответствовала реальной силе и яркости.

Столица снега. Город моря
На первый лист заглавным словом
Я ставлю Смерть.
Перед порогом Жизни Новой —
С косою Смерть.

М. Вериго

В городе уже не было широких улиц, просторных тротуаров, обсаженных деревьями. Пешеходы шли в глубоких карьерах, прорубленных среди толщи сверкающих снеговых пород, они шли каньонами, ущельями, где полосы солнечного света перемежались

синевою тенью такой глубины и силы, какие возможны только в мире непомянутого снега. Древность, периоды напластований этих пород обнаруживались слоями различных оттенков на вертикальных отвесах прорезанных стен.

Новая архитектура, богатая по вариации форм, разнообразных, но выдержанных в одном и том же стиле, созданная из одного геологического материала, явилась на смену старой, которая сейчас не шла уже в счет.

Тяжелые прогибы, округлые выступы, карнизы и башни, лепные украшения из снега и льда, своевольно подчеркивали какую-нибудь раньше никем не замеченную деталь, отмечали ледяной бахромой узенький карниз над крыльцом, бровку дверей, наличник окна.

Люди, взбаламученные тревогами, бедами, переменами, надеждами, уже не боролись с победно вошедшей стихией зимы, они просто стали жить с ней бок о бок.

Но людей было много в этом городе снега, разных людей, и живых и мертвых. Потому что Город Снега был также и Городом Мора. Три грозных тифа — сыпняк, брюшняка и возвратный — справляли здесь свой пир и Пляску Смерти. Мертвых было так много, они как-то медлили уходить, казалось, продолжали участвовать в жизни, существовали бок о бок с живыми, и те не чувствовали себя отгороженными от них. А в некоторых семьях их было даже больше, чем живых. Они присутствовали везде: в обрывках разговоров встречных и в закутках лестничных клеток. Бывало, жесткая рука мертвеца, высунувшись из-под одеяла с носилок, хватала за рукав или шарф проходившего мимо пешехода на тесной улице.

На людном перекрестке у площади я как-то увидела издали лотошника, который нес перед собою на лямке, надетой на плечо, лоток, наполненный яркими бумажными цветами. Никто не оборачивался и не покупал у него этот пестрый веселый товар. Подойдя ближе, я увидела, что это был не лоток, а маленький гробик, в котором лежал укрытый розанами младенец. Яркое солнце весело и безжалостно освещало его синее личико и неподвижное лицо его отца.

В другой раз, переходя эту же улицу, я увидела двигавшуюся по ней похоронную процессию. Я присоединилась и прошла с ней квартал ради той бодрящей силы, которой было заряжено это мрачное шествие. На лафете стоял гроб: шедших за ним людей осеняло поднятое на высоких шестах черное полотнище, на котором твердыми крупными буквами было написано: „Мы

отомстим!" Это была смерть воина, смерть бойца, смерть, с которой можно бороться, которой можно грозить, которую можно победить. Люди молчали. Но трубы, отдохнув, запели ликующе и грозно. И те, кто слышал, вздохнули с облегчением и надеждой.

А какие лица встречались иногда в толпе!.. Казалось, они больше чем наполовину еще принадлежат Тифу и Смерти, и потому стесняются в обществе живых. В знак их крещения смертью у них были бритые головы и желтые лица. Но главным знаком их было особенное выражение глаз, в котором нельзя было обмануться и которое делало их всех такими сходными между собой: они смотрели так, как будто мир живых был позабыт и они старались и не могли его вспомнить, и все боялись поэтому сделать какую-то неловкость или промах. Они жались к стене, уступая дорогу, и странно пошатывались, если на них смотрели в упор.

Один из их мира однажды пришел и ко мне. Он стоял в передней, дожидаясь, пока меня позовут, бритый и желтый, в худой шикели, как все они. Мне не забыть, в какой растерянной и жалкой улыбке задрожало его лицо, когда он увидел, что я не узнала его. Он поцеловал мне руку холодными лиловыми губами так нерешительно, точно боялся, что я в испуге отдерну ее. Да, трудно было поверить, что это действительно он — недавний удачник и баловень счастья, дерзкий игрок судьбою. Но когда он рассказал, как он лишился всего, даже своего имени и сходства с самим собой, я увидела, как прежняя беспечность и удаль опять засквозили в его улыбке. Он положил на стол исхудалые слабые руки и сказал:

— У меня не осталось ничего, кроме жизни. Но я жив, и скоро у меня будет все опять.

Он был из тех, для кого встреча со смертью только досадная случайность, и он уверенно торопился снова занять свое место среди живых. Возможно, уже через месяц у него стали курчавиться волосы и бледность заменила желтизну на щеках. Возможно, появились и какие-то удостоверенья, карточки и другие признаки, утверждающие его право на жизнь. Если только он действительно остался в живых. Я ничего о нем не слышала больше.

Мне случалось не раз в те дни слышать рассказы о том, что происходило с заболевшими тифом. Тиф нападал на всю жертву решительно и быстро, не тая своего лица, и захваченный им понимал очень скоро, что с ним произошло.

И так как то время было временем великого переселения и передвижения народов, то редко кого болезнь захватывала дома. Почувствовав пожар в крови, заболевший устремлялся домой, к

семье, к близким, которые теперь как раз были где-то далеко и часто даже неизвестно где. Но теперь ему начинало казаться, что он очень точно знает, где они, и, торопясь, пока еще не потерял память, он втискивался в какую-нибудь ледяную теплушку поезда. Иногда он все-таки потом возвращался к жизни и, выйдя из беспамятства, оказывался в каком-нибудь чужом городе, оборванный, голодный, без документов, без права на жизнь, которая вернулась к нему. Но чаще его снимали с поезда уже без признаков жизни на какой-нибудь случайной станции в пути. Хоронить зимой было трудно, оттепелей до весны не предвиделось, и мертвых складывали штабелями вблизи вокзала.

Вот сейчас я вспомнила о том, как спустя двадцать лет мне еще раз пришлось услышать о тех мертвецах.

Был сорок первый год, шла Отечественная война; я причесывалась в парикмахерской, когда завыла сирена.

— Пойдете в бомбоубежище? — спросил мастер.

— Пожалуй, нет. — Не боитесь? — Боюсь. — А я вот не боюсь. Потерял страх, и все тут. А со страхом, может, как-то и лучше было... И знаете, как я страха лишился? Это в двадцатом году было, в Томске или в Тайге, сошел я с поезда ночью, стал пробираться к вокзалу, чтоб в помещеньи согреться. Освещения нет, ну, ощупью иду вдоль поленицы и пальцы завязил в сучки. Тут кто-то фонариком посветил, и вижу: это же не дрова, а покойники сложены... И я, значит, рукою кому-то в рот угодил... Навалено их там было видимо-невидимо. Ну как о них, знаете, думать и волноваться? Это одного можно очень жалеть, а если их сотни? На всех жаленья не хватит. Тут уж другой получается смысл. Испробуй, пожалей такую ораву! Это же как мошкара. Вот я о себе, как о мошке, подумал, без сочувствия; муторно стало, но только без страха.

Парикмахер этот был крепкий человек лет шестидесяти, деловой и дельный; может, и выпить не дурак, особенно если с балычком.

Голоса из метели

Но вот сквозь завесы метелей на улицах города стали все чаще видны расклеенные здесь и там большие листы плакатов, объявлений, написанных наспех корявою кистью призывы к трудовому объединению, к товариществу, к союзу. Они были как дружеские руки, протянутые из сумрака вьюг, как голоса привета и бодрости. И люди, пробиравшиеся сквозь буран, приостанавливались, задерживались около них, стояли кучками, не торопясь уйти, и перечитывали слова, внушавшие надежду.

На одном из них я прочла: „Товарищи художники! Идите на общее собрание секции Изо! Оно будет там-то...”

И я пошла на их зов.

<...>

М.Б. Вериго

**ТЕМА И СТИЛЬ. ОПЫТ АНАЛИЗА ПАМЯТНИКА:
БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В РИГЕ**

<...> На рубеже XX века, когда заканчивается развитие чисто-го импрессионизма, уже повсеместно обнаруживается потребность в искусстве синтетического характера, в котором умозрительное абстрагирующее начало выступает как управляющее непосредственным впечатлением.

Тут, как бы из недр самого импрессионизма, возникают два направления искусства, использующие его наследие и логически развивающие уже в самом импрессионизме наметившиеся задачи: 1) плоскостное, действующее красочными плоскостями искусство Матисса, Гогена и других художников, так или иначе примыкающих к этому направлению, и 2) объемное искусство кубистов, родоначальником которого был первый великий кубист Сезанн, мысливший в отношении объемов и пространства так же синтетически, как и Матисс в отношении использования красочных плоскостей, и так же, как Матисс, стремившийся свести разнообразие объемов и пространственных отношений к возможно более сжатым категориям.

Оба эти направления тяготели к живописи монументального характера. И если плоскостное направление во многих случаях стремилось к связи с еще более синтетическим и монументальным, а именно — с архитектурным комплексом (и даже в своих станковых картинах постоянно обнаруживало черты стеновой живописи), то второе — кубистическое направление само стремилось стать в какой-то степени архитектурой.

Однако в первом десятилетии и нашего века еще не возникает ни темы, ни формы крупных монументальных произведений. Стремление к монументальности довольствуется в то время лишь экспериментальными поисками частного характера. Обращаются к тем или иным архаичным образцам и стилизуют свои пробы на их основе. И хотя внутренние побуждения уже порождают возможность появления тем и образов, близких к монументальным формам, ни в первом десятилетии, ни в следующем еще не появ-

ляется таких произведений, которые имели бы широкое общенародное значение. <...>

Можно видеть, как в ходе истории искусства тема памятника возникает с особенной силой в переломные эпохи, когда очертания горизонтов будущего уже перемешают за нашей спиной рубежи и мы уже оказываемся отделенными, отрезанными от прошлого; но мы понимаем, что выйти из него надо не механически, не физически только, что надо сознательно отделить себя от него, а это в большинстве случаев значит — пожертвовать им ради участия в процессе жизни.

Найти средства выразить такую тему в искусстве значит — определить стиль искусства своего времени. Потому что, если частные, ограниченные темы еще можно бывает выражать, пользуясь теми или иными средствами из арсенала прежнего, относящегося к предыдущей эпохе стиля, и это будет еще давать известное удовлетворение, как развитие какой-нибудь частной черты недалекого прошлого или как бессознательно радующее воспоминание о нем, то для произведения большого охвата необходимо найти новый, соответствующий внутренним запросам времени стиль, иначе тема такого произведения окажется не осуществленной реально, а лишь рассказанной чуждым ей по существу языком — случайно к ней приспособленными образами.

Для нашего времени с его тревогой о стиле, с его чувством острого разрыва настоящего с недавним прошлым, с пронзительно сближенным соседством возможностей, надежд, жажды жизни и нависшей губительной угрозы, с его уроком и памятью небывало губительных войн, голода, мора, болезней, социальных катаклизмов, — тема памятника приобретает особое значение, так как именно в ней мы можем надеяться найти разрешение и утешение этих грозных коллизий и в формах этой темы найти те черты стиля, которые смогут стать языком искусства нашего времени.

И вот, как бы отвечая на вызов времени, из ясных глубин человеческого духа возникает произведение огромной лирической силы и мудрой воли. Перед нами Братское кладбище павших воинов, кладбище-Памятник в Риге, созданное скульптором Карлисом Зале в сотрудничестве с архитекторами А. Бирзниеком, П. Федерсом.

Гармоническая цельность этого очень обширного по масштабам творения, продуманная связность всех его деталей, сочетание высоких взлетов фантазии с трезвою и дисциплинирующей мыслью придают ему властную убедительность. Посетитель попадает в Город Мертвых не сразу; довольно долгий путь постепенно

подготавливает его. От большой асфальтированной площади, перед которой останавливается городской транспорт, длинные параллельные аллеи высоких темных деревьев ведут к плоской пустынной террасе перед главным входом. Отсюда, с высоты террасы, уже сразу открывается общий вид кладбища — картина глубоко продуманного архитектурного единства.

По бокам стройных пропилен главного входа, с его тройным проемом прямоугольных ворот без створ, перед зрителем вдруг возникают две огромные группы всадников — военачальников древней Латвии, которые отдадут траурную честь своим потомкам, выполнившим долг перед Родиной. Они именно возникают внезапно, не подготовив взор увиденными издали силуэтами. Изваянные горельефами из светло-серого туфа, они вдвинуты в углы двух перпендикулярных участков стены, сложенной из такого же камня, как и скульптуры. Поставленные как бы в открытые с двух сторон полуниши, они появляются градациями легких вибрирующих теней и светов одного цвета, странно сочетая в себе эту призрачную невесомость видений с массивной монументальностью форм, четкой лаконичностью ограничивающих формы линий, суровой выразительностью обликов всадников и их коней. В них, как и во всех других скульптурах этого памятника, живет и дышит воздушная динамическая среда импрессионистического пленэра, в которой возникают, движутся, исчезают неотрывные от ее потока предметные формы.

И вот оказывается, что эти живописные впечатления, что это ощущение воздушной среды, так изощренно разработанное импрессионистами, принесшее нам столько новых радостей в их радостном искусстве, таили в себе и другие возможности и выступают здесь уже в иной роли, отвечающей теме монументальной скульптуры. Здесь связь материальных объемов с воздушной стихией воспринимается как космическая связь материи с пространством. Материальная форма вступает в новые соотношения с движением, потоками света; между ними устанавливается какое-то новое равновесие, при котором реальные изображения получают как бы проекцию в космос.

Каким же средствами достигает этого впечатления Зале? Не отказом от цельности объема, не разрушением его контура, не дробной моделировкой поверхности, к чему обращаются иногда, чтобы отражения света под разными углами от поверхности скульптуры связывали бы ее с воздушной средой. Формы здесь лаконичны и цельны, контуры тверды и ясны. Но градации рельефности найдены в таких пропорциях, что именно благодаря им

изваяние держится в воздушном пространстве, как живопись на плоскости картины.

Очень сложной и цельной является композиция этих двух, симметричных по положению, но не противостоящих друг другу, а слитых в одном общем движении, групп. Каждая состоит из сходных симметричных частей: в правой — как и в левой — два коня, два всадника, два знамени в руках у всадников. Одна общая волна движения проходит через обе группы справа налево. Справа движение едущих фигур приостановилось; всадники, натянув узды, сдерживают ход коней. Инерция остановленного движения обратным толчком слегка откинула назад тела коней, откачнула торсы людей, древки и полотнища знамен. В левой группе, продолжением того же волнообразного ритма, коней и всадников склонило вперед; и движение замерло в скорбном склонении голов и опущенных знамен.

Сойдя по лестнице и вступив на территорию кладбища, внизу, в центральной его части, мы видим опять две парные группы, стоящие по сторонам спускающейся к ним лестницы. Эти скульптуры мертвых всадников, сидящих на мертвых конях, опять-таки связаны друг с другом общим током движения. Туловище и голова воина справа склонены вперед, прислонены к круто вздымающейся шее коня. На лице всадника отяготела печать физической смерти, как бы смявшая и расслабившая его мышцы, сплющивая их своей тяжестью. В лошади еще не вполне угасло напряжение борьбы со смертью; рот приоткрыт, широко разверст выпуклый, круглый, огромный глаз, нога согнута в колене, она еще пытается приподнять отяжелевшее тело. В левой группе этого напряжения уже нет. Почти горизонтально вытянуты передние ноги лошади, спокойно — прямо сидит мертвый воин, опираясь о вертикально стоящий щит, поникшая голова лежит горизонтально — щекой вдоль верхнего края щита, в спокойной, уравновешенной неподвижности. Складки знамени, скрывающие среднюю часть лошадиного торса, здесь прямо-треугольны и не имеют небольшого добавочного излома, как у правой группы. Движение приходит здесь к окончательному покою, растекаясь вдоль горизонталей пьедестала.

Замечательно использовано сочетание скульптуры с архитектурными формами:

Если группы у входа представляют собой горельефы, широко открытые зрителю с двух сторон, но вознесенные на высокие постаменты и этим удаленные от него, как бы символизируя этим расстояние времени, отделяющее легендарных предков от живых

потомков, — то здесь мы видим скульптуры на низких пьедесталах, открытые с трех сторон, почти не прислоненные к стене, дающей им фон. Но упавшие складки знамен на переднем плане, очень плоские, прямолинейные, сходные с гранями стен, создают здесь полную значительного смысла преграду между статуями и зрителем. Осевшие крупы коней, поникшие тела мертвых воинов как бы ускользают от нас, исчезают на наших глазах, погружаясь в эти призрачные, почти нематериальные тени знамен. И лица воинов, отмеченные каждое своим особым складом и характером, кажутся здесь нематериальными, хотя вполне реальными. Это достигается несколько более лаконичной и плоскостной трактовкой их, чем воинов у ворот. Статуи воинов сосредотачивают в себе огромную силу эмоционального воздействия. Они возникают на центральном пересечении конструктивных линий кладбища, на пересечении его спусков и дорог, и дают изображение основной трагической темы — людей, взятых смертью. После этой кульминации темы, ее продолжает и развивает в другом варианте группа двух павших братьев. Прислоненные друг к другу спиной, как бойцы, стоявшие в круговой обороне, убитые воины сливаются поникшими телами с выступами стены; выполненные очень плоскостно и нарочито смутно, скульптуры тем не менее с большой реальной выразительностью передают расслабленность мышц и полную безжизненность тел. Головы, наоборот, очень четки по форме, тяжело откинута и лежат параллельно верхнему краю щита, стоящего перед фигурами.

На высокой стене, противоположной воротам и замыкающей прямоугольник кладбища, стоит трехфигурная группа, рисующаяся издали и отовсюду силуэтом на фоне открытого неба, — статуя Латвии и у ног ее две могучие обнаженные фигуры павших бойцов.

Обращенная с высоты своего пьедестала лицом к изваяниям мертвых, вознесенная надо всем, величавая статуя Родины полна того гармонического покоя, который говорит о надежде, как бы подтверждает, что бойцы погибли не напрасно и не напрасно верили в нее. Вертикальные линии одежды, прямые линии плеч повторяют очертания стены и этим усиливают, укрепляют впечатление непоколебимой стойкости; руки, держащие знамя и венок, локтями прижаты к торсу и не нарушают монолитности и сосредоточенности образа.

Четыре фигуры в одеяниях древних латвийских воинов, преклонив колени и держа перед собою большие щиты с гербами четырех латвийских провинций, в глубоком безмолвном раз-

думье стоят у подножия этой стены, как охрана Родины и как память о павших братьях.

Стены опоясаны ярусами каменной резьбы, рельефы которой изображают головы воинов, оружие, гербы, щиты, движения войск и знамена.

На внешней стороне левой боковой стены кладбища (там, где предполагались ворота, ведущие к могилам стрелков) находится скульптурная горельефная группа: древнелатвийский стрелок, только что спустивший тетиву (он еще держит лук в напряженно вытянутой руке), и — рядом с ним — падающий раненый воин с запрокинувшейся назад головой.

По могучей выразительности и композиционной цельности эта группа представляет собой вершину зрелого мастерства Зале. Устремленная вперед движением головы, напряженным взглядом, рукою, держащею лук, фигура стоящего на одном колене стрелка гибкою линией лука (его обращенной назад дугой) связывается с движением падающего навзничь воина, чье тело выгнулось такой же гибкой дугообразной линией; продолжающая ее грива длинных, свисающих назад волос воина доводит до предельной силы выражение напряженности — стремления и бессилия противостоять падению.

Здесь уместно провести некоторое сравнение этих скульптур со скульптурами крупнейшего польского художника Ксаверия Дуниковского в его Памятнике Силезским повстанцам. Оба автора <...> разрешали задачи героической монументальной скульптуры — памятников. И темы работ, и время выполнения позволяют сравнить их произведения с точки зрения пользования стилями. При таком сравнении обнаруживаются разные возможности в общем близких между собою принципов стиля. Фигуры шахтеров, поставленные Дуниковским как кариатиды, в высокой степени архитектурны: они совершенно врезаны в плоскость стены, а некоторые части, выступающие над ее поверхностью, подчеркнуты плоски. Благодаря этому архитектура здания величаво монолитна. Здание расчленено на немногие части, и эти части плотно спаяны между собой; плотно впаяна в них и скульптура. Основное выражение темы здесь должна давать архитектура; роль скульптуры — поддержать архитектуру, не отвлекая на себя слишком большую долю внимания: выразительность самой скульптуры как таковой здесь, по-видимому, умышленно снижена. Фигуры шахтеров, схематичные, сведенные к основным элементам, выразительны и сильны как знаки, представляющие личность, но изображение самой личности здесь помещало бы вос-

приятию архитектуры. Но огромные головы, вернее маски, под карнизом стены даны как личности, как выражение особых характеров, притом в живом, преходящем моменте выражения. Их небольшое число и огромная, по отношению к размеру здания, величина делают их сочетание со стеной очень своеобразным. Грандиозность делает их как бы ирреальными, позволяя в то же время придать им реальную характерность. Эта ирреальность размеров внушает нам рассматривать их в первую очередь как конструктивные части здания и — уже во вторую очередь искать в них содержание характеров.

В обоих памятниках, как у Зале, так и у Дуниковского, мы видим прежде всего то единство композиции, при котором оба основных элемента ее — архитектурный и скульптурный — воспринимаются в их целостном и гармоничном звучании. Впечатление величия не нарушается ни здесь, ни там отвлечением на какие-нибудь мелкие подробности изображения: в этом сходство стиливого принципа, которым пользуются оба автора. Изобразительные средства, которыми они действуют на зрителя, лаконичны и обобщены, как лаконичен и обобщен язык эпоса, повествующий о больших событиях в жизни народов.

Но в пределах общего для обоих авторов эпического языка их стиля открываются различные возможности его применения. В Памятнике Силезским повстанцам архитектурная сторона целого доминирует над скульптурой. Гармония достигается здесь тем, что во всех скульптурных изображениях Памятника подчеркнута их роль как элементов архитектурно-скульптурного комплекса. Нельзя представить себе какое-нибудь из этих изображений вне последнего.

В Памятнике-кладбище скульптура Зале развивает свою симфонически-сложную и симфонически-слаженную систему эмоций, связанную со всем конструктивным комплексом, но не теряющую в нем своей самостоятельности. Его пластические средства более гибки и разнообразны, чем у Дуниковского, и направлены к тому, чтобы с наибольшей лирической выразительностью передать образ человека и величие человеческого духа. Это придает каждой его скульптуре, при всей слитности их с общей структурой замысла, самостоятельное значение и позволяет ощущать в них наряду с эпической величавостью глубочайшую человечность.

Таким образом, при общем сходстве ряда стиливых приемов в творческом подходе каждого автора к разрешению стоявшей перед ним задачи нашли отражение как специфика самих задач (в одном случае — памятника-здания, а в другом — памятника-

кладбища), так и особенности творческой индивидуальности авторов.

В памятнике-кладбище архитектурные части комплекса, стены, ворота, пьедестал сложены из крупных плит светло-серого пористого туфа. Формы, образуемые ими, прямолинейны, ясны; расчленяя, они в то же время связывают пространство кладбища в единый прямоугольник, замкнутый в ограду высоких стен, и этим дают возможность все время ощущать границы, масштабы и соотношения частей этого сложного и развивающегося в себе мира форм. Начинаясь от стены и ворот главного входа, движение ведет здесь уступами и маршами спусков, а также — участками ровного пути, вплоть до замыкающей высокой глухой стены. Однако преградой здесь ощущается не эта стена, а высящаяся над ней фигура Матери-Латвии. Обращенная к этому движению лицом, она не погашает его, но как бы дает ему возвратное направление. Таким образом, и эта архитектурно-планировочная система не статична, а насыщена динамикой.

Насаждения — небольшое количество деревьев, невысокие кустарники расположены так, что, вынося сюда легкую, подвижную жизнь светотеней, временно скрывая от идущего зрителя те или другие скульптурные и архитектурные части, повышая этим сложность и динамику впечатлений, они не разрушают ощущение цельности объединенного здесь мира. Вступив в него, мы сразу же чувствуем стройную слитность, соподчиненность всех частей этого грандиозного замысла. Широкая волна единого ритма несет в своем движении возникающие, исчезающие, сменяющие друг друга образы, которые развивают и углубляют неуклонно одну и ту же основную тему.

И эта тема встает перед нами как ощущение некоей скованной силы — огромной, напряженной, но сжатой в оковах. Вне них оков, цепей, которыми, например, опутаны пленники на одной из групп Памятника Свободы, тоже созданного Зале, здесь нет. Скованность здесь выражена не изобразительно-сюжетными, но только композиционными средствами. Почти все скульптурные группы заключены в охватывающую и сковывающую их фигуру треугольника. Внутри этих внешних — подразумеваемых — граней композиции действуют и развиваются частные формы, повторяющиеся в различных направлениях все те же очертания треугольника. Таковы каждый всадник со своим конем из групп, стоящих у главного входа, головы коней, знамена — треугольники приближаются здесь к равнобедренным. Мертвые всадники на мертвых конях включены в низкие, на широких основаниях трапеции —

усеченные треугольники и расшлясываются, растекаются по их широкой основе. Соответственно с этим и внутренние части повторяют формы треугольников — низких, с широкими основаниями. Здесь чувствуется особенное напряжение внутренней динамичности: вариации форм повторяют, усиливают друг друга; будучи поставлены в различных наклонах к основной оси композиции, они пересекают движение друг друга.

Полна равновесия, которое подчеркивается как общей треугольной формой композиции, так и завершающим ее сверху равнобедренным треугольником, группа двух павших братьев.

Две пары коленопреклоненных геральдических латников, вероятно, следует рассматривать как основание большого композиционного треугольника, верхнюю часть которого образует высокая фигура Латвии. Их треугольные абрисы, ярко выраженные в профилях статуй, смягчены с лицевой стороны формами четырехугольных щитов. Латвия держит древко знамени с остро-треугольными спадающими складками. У ног ее широкой опорой этой треугольной группы лежат два воина, включенные в треугольник.

Треугольник как композиционная фигура имеет здесь свое особое смысловое значение. В окружности предполагается непрерывность ничем не пересекаемого движения. В прямоугольнике это движение уравнивается и успокоено. В треугольнике движение присутствует как стремление вдаль каждой линии его сторон, но оно прервано, прекращено пересекающей каждую из этих линий встречной линией. Поэтому движение полно силы, напряженно, но оно сковано.

И Зале берет здесь треугольник как основу своих композиционных форм в связи с тем смыслом, какой он видит в содержании основной темы Памятника: человек, взятый смертью. Этот вечный вопрос предстает перед Зале с особыми, присущими нашему времени чертами.

Войны и общественные потрясения, массовая гибель людей, вызванная этими событиями, настойчиво привлекают наш взор к постоянному насильственному вторжению смерти в область жизни. Мы видим, что множество образов в современном искусстве, явно или подспудно, связаны с темами этого неистового разбоя смерти и так или иначе касаются значения человека перед ее лицом в борьбе с нею.

Трагическую тему памятника Зале разрешает в плане реальных земных соотношений. Он ничем не подменяет и не ослабляет знания о смертном конце. Ни утешения религии, ни надежда на

бессмертие земной славы не нарушают здесь печали о конце земного существования, о разрушении земного тела и выросшего в нем духа. Павшие воины — умирающие и мертвецы изображены им без всякого смягчения их гибели: ни апофеоз подвига, ни пафос героизма не прикрывают лаврами венков их человеческого смерти, переданной художником с потрясающей простотой и реальной достоверностью. Здесь нет ни судороги страдания, искажающей лица мертвецов, как у Грюневальда, ни тления плоти, „стука костей”, как на изображениях средневековых реалистов, но это смерть, в которой нельзя сомневаться, — это отсутствие жизни. Зале действительно предал смерти этих людей.

Но тема смерти имеет здесь особые черты: это не смерть человека как конец его существования. Перед нами кладбище сильных людей, которые бы могли побеждать врагов. Но вот смерть овладела ими. Их образы, полные духовной и физической мощи, даны здесь не в движении битвы, не в сопротивлении гибели; их жизнь уже оборвана, рука уронила оружие. Энергия их скована не успокоением, не изнеможением усталости, ничего этого нет и в помине: они как бы полны могучего здоровья, их силы в расцвете, они могли бы быть владыками жизни, — но вот они скованы пленом смерти. Это — конец.

И мы можем видеть, с каким своеобразием и внутренней обусловленностью Зале обращается здесь к некоторым абстрагирующим приемам. Та степень геометризации форм, которую он применяет, выполняет роль отключения образа от будничной житейской реальности и переносит его в сферу особых закономерностей ритма, созданных для него художником.

Геометризирующий метод, которым пользуется здесь Зале, в самом основе своей отличается от внешне лишь подобного ему геометрирования абстракционистов. Когда художник-абстракционист переводит ту или иную жизненно-реальную форму в состояние, далеко отстоящее от ее реального прототипа, для него важен именно отказ от последнего, разрыв всех связей с ним, уничтожение всего, что в этом прототипе связано с его гуманистической сущностью, с лирическим восприятием его художником, потому что именно эти гуманистические, лирические восприятия мира абстракционист стремится преодолеть, как невыносимые для него.

Зале, наоборот, дорожит реальным восприятием мира, он стремится сохранить его реальные, живые образы на всех ступенях абстрагирующей мысли. Это не мелочное жизнелюбие будничного реалиста, восторженно принимающего любой случайный

объект, попадающий в поле его зрения. Зале оценивает строгой оценкой, меряет большой мерой и то, что касается этического облика человека, и то, что представляет его эстетическую ценность. Но тому, что он принял такой оценкой, он отдает всю силу своего чувства. Для него настолько дороги все духовные и физические черты изображаемых людей, что он бережно охраняет их от деформации и ущербности. Геометризация здесь не только не разрушает индивидуальной выразительности, но наоборот — повышает ее. Происходит какое-то совершенно особое сочетание, слияние реально-типических образов людей с более геометризированными формами других частей композиции, что является особым характерным качеством скульптур Зале. Скульптор создает впечатление одухотворенности самого материала. Камень как бы живет затаенной жизнью, приняв в себя угасшую жизнь людей.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ	3
--------------------------	---

Тезисы докладов

Гаспаров М.Л. Научность и художественность в творчестве Тынянова	5
Эйдинова В.В. Идея конструктивности в работах Тынянова 20-х годов	6
Поляк Э.Н. На пути от источника к тексту (по материалам архива Тынянова)	9
Зоян С.Т. „Единство и теснота стихового ряда” (ЕТС) и поэтический синтаксис	10
Марков В.А. К анализу архетипов литературно-художественного сознания	12
Руднев В.П. Текст и реальность: направление времени в культуре	14
Осипов А.Л. Жуковский в биографии Тютчева	15
Зайцев А.Д., Тоддес Е.А. К истории архива Кюхельбекера	16
Равдин Б.Н. К проблеме „Горький и Ницше”	17
Иванов Вяч.Вс. Теоретическая поэтика Гумилева в литературном контексте 10-х годов	20
Левинтон Г.А. Мандельштам и Тынянов	21
Сажин В.Н. „Чинари” — литературное сближение 1920—1930-х годов	23
Ямпольский М.Б. К творческой истории „Подпоручика Кижэ”	24
Чудаков А.П. Мемуарные тексты об отечественных писателях-классиках как проблема исторической поэтики и издательской политики	25

Материалы для обсуждения

Георгиевский Г.П. Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров (Из личных воспоминаний). Вступительные статьи и примечания Г.И. Довгалло и А.П. Чудакова	27
Никольская Т.Л. К.К. Вагинов (Канва биографии и творчества)	67
Наппельблум И.М. Памятка о поэте	89
Из переписки Ю.Г. Оксмана. Вступительная статья и примечания М.О. Чудаковой и Е.А. Тоддеса	96
Баевский В. С. „Я не был лишним”. Из воспоминаний о Б.Я. Бухштабе	168
Чудакова М.О., Левин М.В., Тоддес Е.А. К вопросу о поколении 1890-х годов и его месте в современной отечественной культуре: биография и творчество М.Б. Вериго	87
Вериго М.Б. Из мемуарной книги	195
Вериго М.Б. Тема и стиль. Опыт анализа памятника: Братское кладбище в Риге	201

